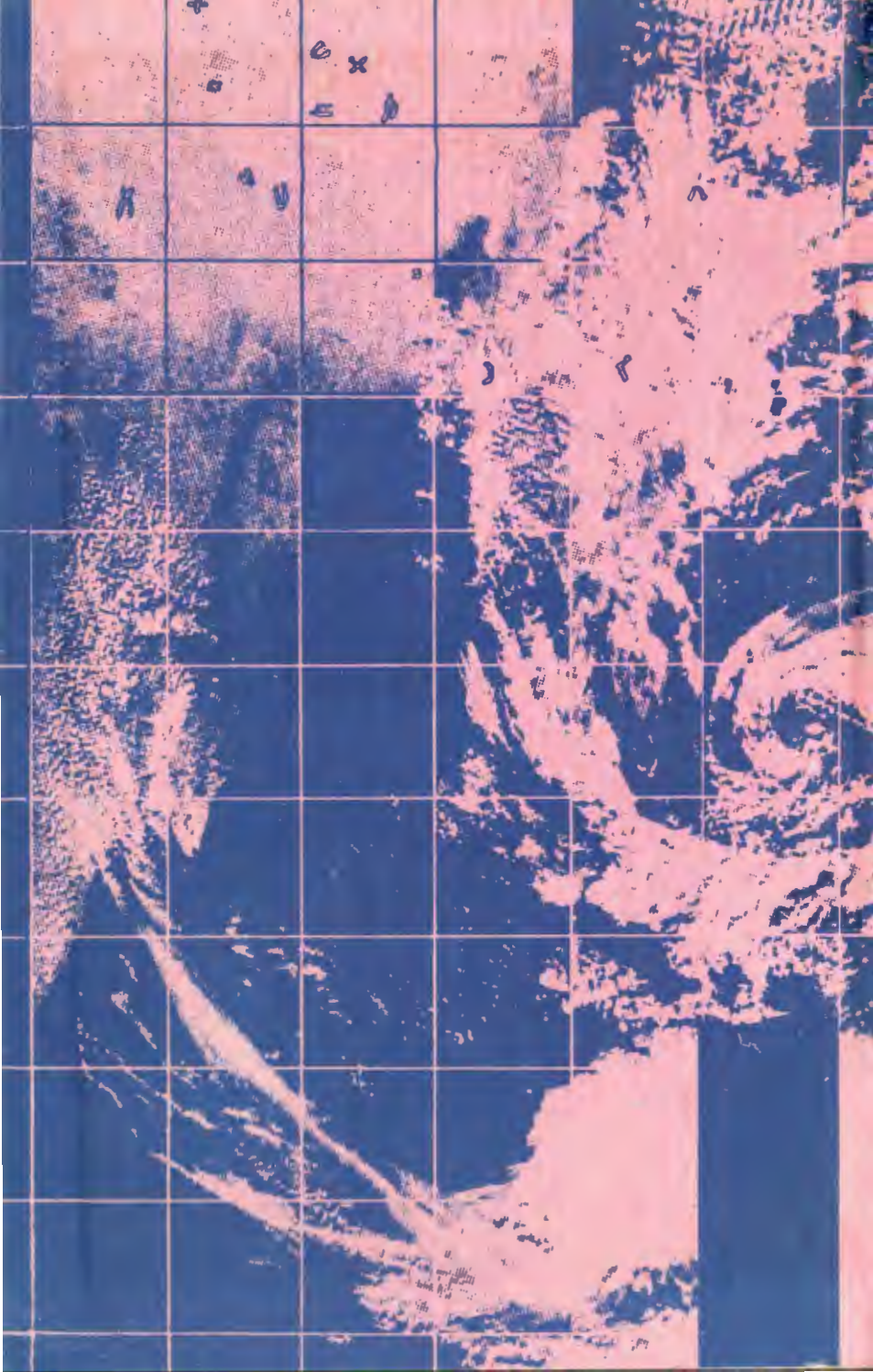
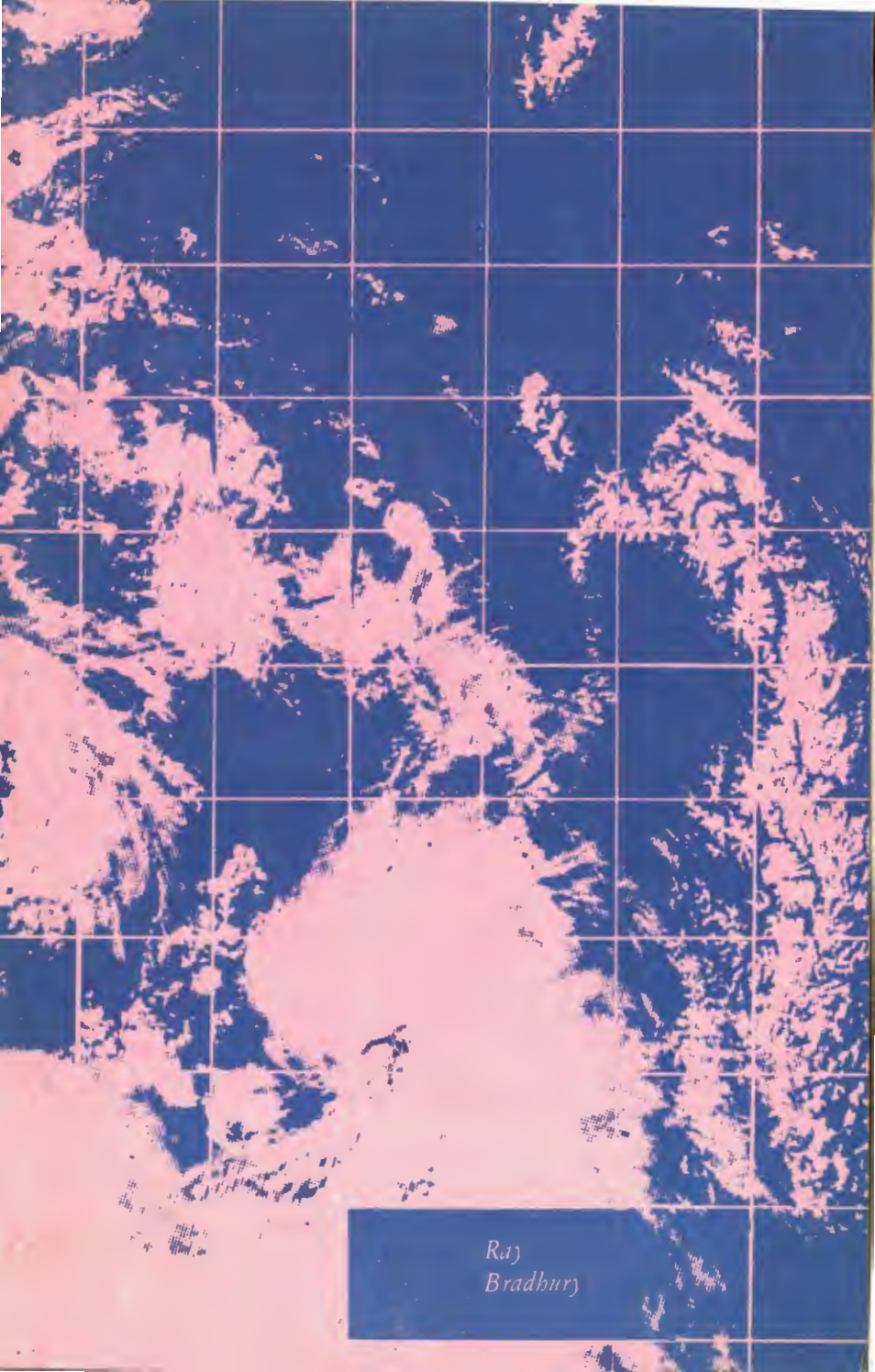




Рэй Бредбери
УЛЫБКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"





Rd)
Bradbury

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ФАНТАСТИКИ



ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ



СЕРИЯ ИЗДАЁТСЯ С 1936 ГОДА

РЭЙ БРЭДБЕРИ

УЛЫБКА

**РАССКАЗЫ
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ**



НОВОСИБИРСК «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1993

ББК 84 7 США
Б 87

Брэдбери Рэй

Б87 Улыбка: Рассказы/Пер. с англ.; Ил. Ю.А.Цветкова. — Новосибирск: Дет. лит., 1993. — 576 с., ил. — (Б-ка приключений и научной фантастики).

ISBN 5—08—007508—2

Книга лучших рассказов выдающегося американского писателя-фантаста.

Б $\frac{4804040100-104}{M101(03)-93}$ Без объявл.

ББК 84 7 США

УЛЫБКА





На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал чеповек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. — Просто подумал, чудно это — ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покотился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не

настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. — Говорят, она улыбается, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почему мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что

связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин, дороги от бомбежек — словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая управляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утешки, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я разбил переднее стекло — стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был, прелесть! Тррахх!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том?

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне!

— А вот я готов ее терпеть, — сказал один из очереди.

— Не все, конечно, но были в ней свои хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.

— Э, — упорствовал один из очереди, — не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого, — сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед — шли, изготавившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну, плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но, — медленно произнес Том, — она же красивая!

— Ладно, я плюну за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая

на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая, — повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал, как пень! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, *«Мона Лиза»*... Точно: *«Мона Лиза»*.

— Слушайте объявление, — сказал верховой. — Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, что же ты! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему,

что семья спит — спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец. — Погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царил тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажав глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.

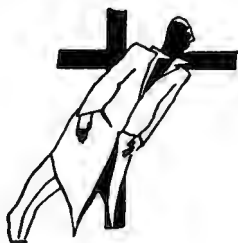
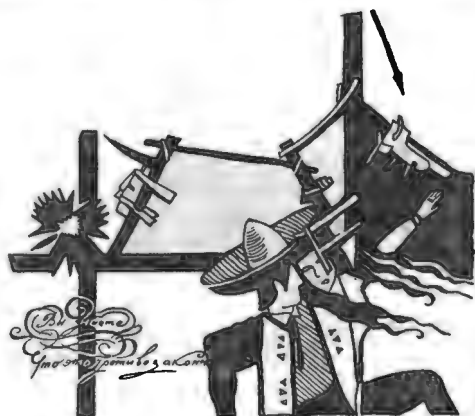
Мир спал, освещенный луной.

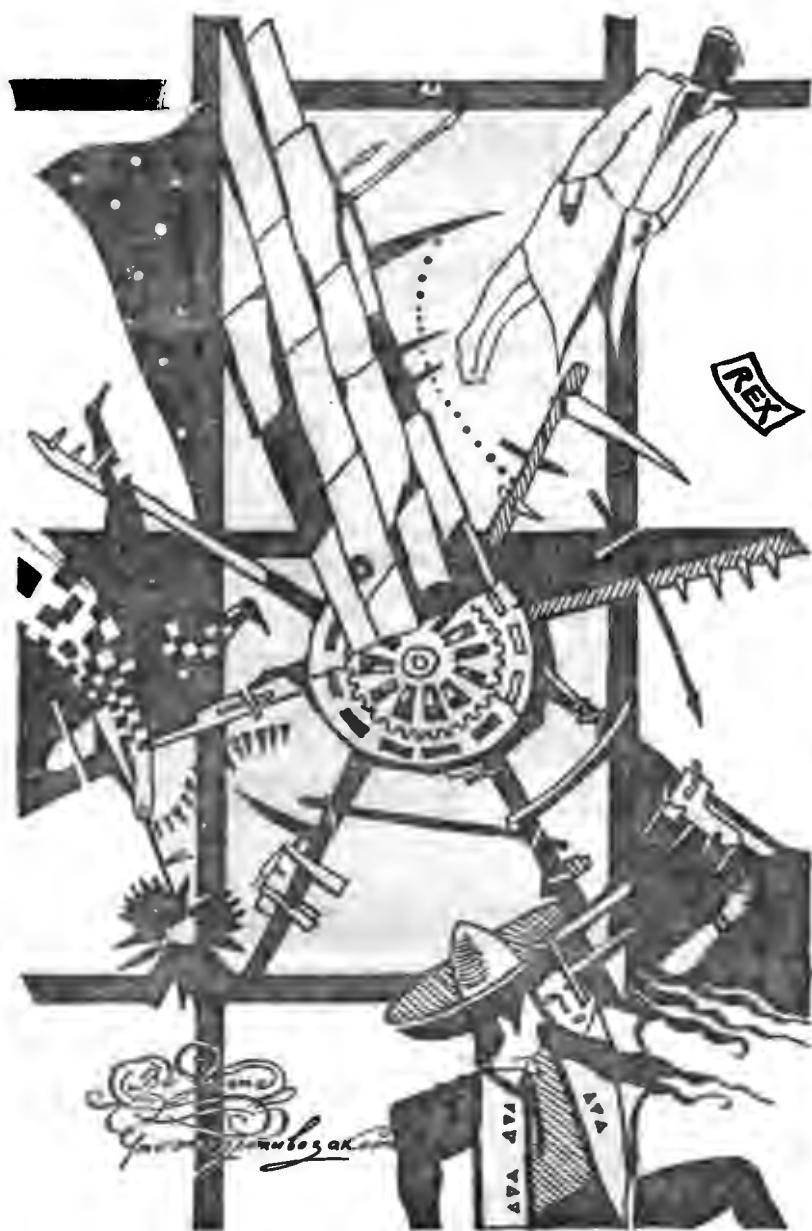
А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

И ГРЯНУЛ ГРОМ





МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ УЖЕ УХОДИМ

Это было что-то странное, и описать это было невозможно. Он уже просыпался, когда оно коснулось его волос на затылке. Не открывая глаз, он вдавил ладони в мягкую глину.

Может, это земля, переворачиваясь во сне, пересыпает непогасший жар под своей корой?

Может, это бизоны бьют по дерну копытами, как черная буря надвигаясь по пыльным прериям, через свистящую траву?

Нет.

Что же тогда? Что?

Он открыл глаза и снова стал мальчиком Хо-Ави из племени, называющегося именем птицы, в деревне около Холмов Совиных Теней, близ океана, в день, сулящий беду безо всякой на то причины.

Взгляд Хо-Ави остановился на нижних углах шкуры, закрывающей выход, — они дрожали, как огромный зверь, вспоминающий зимние холода.

«Скажите мне, — подумал он, — это страшное — откуда оно? Кого оно убьет?»

Он поднял нижний угол шкуры и вышел в деревню.

Мальчик не спеша огляделся — он, чьи темные скулы были похожи на треугольники летящих птиц. Карие глаза увидели небо, полное богов и туч, ухо с приставленной к нему ладонью услышало, как бьет в барабаны войны чертополох, но еще большая тайна по-прежнему влекла его на край деревни.

Отсюда, говорила легенда, начинается земля и катится волной до другого моря. Между двумя морями ее столько же, сколько звезд на ночном небе. Где-то на этой земле траву пожирают смерчи черных бизонов. И отсюда смотрит сейчас он, Хо-Ави, у которого внутри все сжалось в кулак; смотрит, удивляется, ищет, боится, ждет.

«Ты тоже?» — спросила тень ястреба.

Хо-Ави обернулся.

Это была тень руки его деда — это она писала на ветре.

Нет. Дед сделал знак, чтобы он молчал. Язык деда мягко двигался в беззубом рту. Глаза деда были как ручейки, бегущие по высохшим руслам плоти, потрескавшимся песчаным отмелям его лица.

Они стояли на краю дня, и неведомое притягивало их друг к другу.

И теперь старик сделал то же, что сделал мальчик. Повернулось сухое, как у мумии, ухо, вздрогнули ноздри. Старiku тоже хотелось услышать глухое ворчание, все равно откуда, которое сказало бы им, что ничего не случилось — просто непогода падает буреломом с далеких небес. Но ветер не давал ответа — разговаривал только с самим собой.

Старик сделал знак, который говорил: наступило время идти на Большую Охоту. Сегодня, как рот сказали его руки, день для молодых кроликов и для старых птиц, потерявших перья. Пусть не идут с ними воины. Заяц и умирающий орел должны промыслить вместе, ибо только совсем молодые видят жизнь впереди, и только совсем старые видят жизнь позади; остальные, те, что между ними, так заняты жизнью, что не видят ничего.

Старик, поворачиваясь, медленно посмотрел во все стороны.

Да! Он знает, он не сомневается, он уверен! Неведение новорожденных нужно, чтобы найти *это*, появившееся из мрака, и нужно неведение слепых, чтобы ясно все увидеть.

«Пойдем!» — сказали дрожащие пальцы.

И посапывающий кролик, и падающий на землю ястреб неслышно, как тени, вышли из деревни в меняющуюся погоду.

Они прошли по высоким холмам, чтобы увидеть, лежат ли камни по-прежнему один на другом; камни были на месте. Они глядели в прерии, но только ветры играли там, как дети, от зари до зари. И они увидели наконечники стрел от прежних войн.

Нет, начертили на небе пальцы старика, мужчины их племени и того, что живет дальше, за ними, курят сейчас у летних костров, а женщины около них колют дрова. То, что почти слышно, — это не свист летящих стрел.

Наконец, когда солнце опустилось в землю охотников за бизонами, старик посмотрел вверх.

«Птицы, — вдруг воскликнули его руки, — летят на юг! Лето кончилось!»

«Нет, — ответили руки мальчика, — лето только началось! Я не вижу никаких птиц!»

«Они так высоко, — сказали пальцы старика, — что только слепые могут почувствовать их лет. На сердце они бросают больше тени, чем на землю. Сквозь мою кровь пролетают они на юг. Лето уходит. Может быть, с ним уйдем и мы. Может быть, мы уже уходим».

«Нет! — испугавшись, крикнул вслух мальчик. — Куда мы уходим? Почему? Зачем?»

«Кто знает? — сказал старик. — Может быть, мы не двинемся с места. И все равно, даже не двигаясь, может быть, мы уже уходим».

«Нет! Вернитесь! — крикнул мальчик пустому небу, невидимым птицам, воздуху без теней. — Лето, оставайтесь!»

«Не поможет, — сказали пальцы старика. — Ни тебе, ни мне, никому другому из нашего племени не удержать этой погоды. Другое время приходит, и оно поселяется здесь навсегда».

«Но откуда оно?»

«Оттуда», — сказал наконец старик.

И в сумерках они посмотрели вниз, на великие воды востока, уходящие за край мира, где еще никогда никто не бывал.

Вон оно. Пальцы старика сжались в кулак, и рука вытянулась. Вон.

Вдали, на морском берегу, горел одинокий огонек.

Луна поднималась, а старик и похожий на кролика мальчик пошли, увязая в песке, прислушиваясь к странным голосам, доносящимся с моря, вдыхая едкий дымок костра, вдруг оказавшегося совсем близко.

Они поползли на животе. Не вставая, стали рассматривать то, что было у костра.

И чем дольше смотрел Хо-Ави, тем холодней ему становилось, и он понял: все, что сказал старик, правда.

Этот костер из щепок и мха, ярко полыхавший в вечернем ветерке, сейчас, в разгар лета, вдруг повеявшего прохладой, окружали существа, подобных которым он никогда не видел.

Это были мужчины с лицами цвета раскаленных добела углей, и глаза на некоторых из этих лиц были голубые как небо. На подбородках и на щеках у них росли блестящие волосы, сходящиеся внизу клином. Один стоял и в поднятой руке держал молнию, а на голове у него сияла большая луна, похожая на лицо рыбы. У остальных грудь облекало что-то сверкающее, звывавшее при движении. Хо-Ави увидел, как некоторые из этих людей снимают сверкающее и звонкое со своих голов, сдирают слепящие крабьи панцири, черепашины щиты с рук, ног, груди и бросают эти ставшие им ненужными оболочки на песок. Странные существа смеялись, а дальше, в бухте, на воде черной глыбой высилась огромная темная пирога, и на шестах над ней висело что-то похожее на разорванные облака.

Старик и мальчик долго глядели затаив дыхание, а потом поплелись прочь.

На одном из холмов они повернулись и снова стали смотреть на огонь — теперь он был не больше звезды. Мигни — и исчезнет. Закрой глаза — и его уже нет.

И все равно он был.

«Это и есть, — спросил мальчик, — то великое, что случилось?»

Лицо старика было лицом падающего орла, было наполнено страшными годами и нежеланной мудростью. Глаза ярко сверкали и переливались, будто из них была холодная, кристально чистая вода, и в этой воде можно было увидеть все — как в реке, которая пьет небо и землю и это знает, которая безмолвно принимает в себя, не отвергая ничего, пыль, время, форму, звук и судьбу.

Старик кивнул — только раз.

Это и была несущая ужас непогода. Это и был конец лета. От этого и мчались на юг птицы, не бросая теней на оплакивающую себя землю.

Изможденные руки замерли. Время вопросов кончилось.

Там, вдалеке, взметнулось пламя. Одно из существ зашевелилось. Черепаший панцирь на его теле блеснул — будто стрела вонзилась в ночь.

Мальчик исчез во тьме вслед за орлом и ястребом, жившими в каменном теле его деда.

Внизу море поднялось на дыбы и выплеснуло еще одну огромную соленую волну, разбившуюся на миллиарды осколков, которые градом свистящих ножей обрушились на берег континента.

И ГРЯНУЛ ГРОМ

Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

**А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЁ**

В глотке Экельса скопилась теплая слизь; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался

чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари¹ живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять» значит — не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф — еще десять тысяч, кроме того ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий орсеол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — Он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава богу, что победил Кейт В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись — шутя,

¹Сафари — охотничья экспедиция. — *Прим. перев.*

конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчсер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.

— *Tyrannosaurus Rex*. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения.

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о котором только может мечтать *настоящий* охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха, ни пера, — сказал человек за конторкой.

— Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокошущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день-ночь, день-ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019! 1999! 1957! Мимо! Машина редела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В Машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник — Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь, — ответил в наушниках Тревис. — У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи, — произнес Экельс. — Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на веру беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. *Помните об этом.* Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников Компании. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение изолировать вас от мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: *не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах!* Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство *не одобряет* наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну, так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — *миллиард* мышей!

— Хорошо, они сдохли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей *весь мир*, гонимый голодом выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, — не просто один человек, нет! *Это целый будущий народ*. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. *Никогда* не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша

теория ошибочна. Быть может, мы *не в состоянии* повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. И когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы *осторожны*?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложи-

ли ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну, все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш *Tyrannosaurus Rex*?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит бог: *это* совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотанья, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился *Tyrannosaurus Rex*.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скольльзящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной машины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытянется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глуходохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг-другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громо-вом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревушую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Tugannosaurus. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри

лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрал до Машины.

Подошел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам. — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицевящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машиной. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса.

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже *не это*. Нет, черт возьми, ты погляди на его *башмаки*! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на это сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем *знать*? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, горе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестили стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— Напрасно! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите, — скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис. — Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая, на стенах, мебели, в небе за окном — они... они... да: что с ними *случилось*? А тут еще это ощущение. По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который

слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не *тем* человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за *такой* малости... Нет!

На комке было отливающее зеленою, золотом и черною пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за *бабочки*! — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. *Не может быть*, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.

— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик, Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее *туда*, оживить ее? Нсужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул гром.

ВЕТЕР ГЕТТИСБЕРГА

Вчера, в половине девятого, с той стороны коридора, где был зрительный зал, донесся резкий короткий звук.

«Выхлоп автомобиля на соседней улице, — подумал он. — Нет. Выстрел».

Через мгновение — всплеск встревоженных голосов и внезапная тишина. словно волна, с разбега ударившись о песчаный берег, затихла в недоумении. Хлопнули двери. Чьи-то бегущие шаги.

В кабинет вбежал билетер и обвел комнату невидящим взглядом; лицо его было бледно, губы силились что-то сказать:

— Линкольн... Линкольн...

Бэйс поднял голову от бумаг.

— Что случилось с Линкольном?

— Его... Его убили.

— Прекрасная шутка. А теперь...

— Убили. Разве вы не понимаете? Застрелили. Во второй раз!..

И билетер, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел.

Бэйс почувствовал, как встает со стула.

— О господи...

Через секунду он уже бежал по коридору, обогнал билетера, и тот, словно очнувшись, побежал рядом.

— Нет, нет, — повторял Бэйс. — Этого не произошло. Не могло, не должно...

— Убит, — снова сказал билетер.

Едва они завернули за угол, как с треском распахнулись двери зрительного зала, и уже не зрители, а возбужденная толпа заполнила коридор. Она волновалась, шумела, слышались крики, визг, отдельные испуганные голоса:

— Где он? Кто стрелял? Этот? Он? Держите его! Осторожно! Остановитесь!

Из гущи людей безуспешно пытались выбраться двое охранников, но их толкали, теснили, отбрасывали то в

одну, то в другую сторону. В руках у них бился человек, он тщетно пытался увернуться от жадных рук толпы, мслькавших в воздухе кулаков. Но руки хватали его, тянули к себе, били, щипали, удары наносились чем попало — тяжелыми свертками и легкими дамскими зонтами, тут же разлетавшимися в щепки, как бумажный змей, подхваченный ураганом. Женщины, потерявшие спутников, жалобно причитали и испуганно озирались по сторонам, оружие мужчины грубо расталкивали толпу, стремясь протиснуться поближе к охранникам и человеку, который ладонями рук с широко растопыренными пальцами закрывал свое разбитое и исцарапанное лицо.

— О господи!

Бэйс застыл на месте, глядя на происходящее, начиная уже верить. Но замешательство было лишь мгновенным. Он бросился к толпе.

— Сюда, сюда! Потеснитесь назад! Вот в эти двери. Сюда, сюда!

И каким-то образом толпа подчинилась; наружные двери распахнулись и, пропустив плотную массу тел, тут же захлопнулись.

Внезапно очутившись на улице, толпа яростно заколотила в двери, разразилась руганью, проклятьями, какие еще не доводилось слышать ни одному смертному. Казалось, стены театра содрогаются от приглушенных выкриков, причитаний, угроз и зловещих предсказаний беды.

Бэйс еще какое-то время смотрел, как бешено вертятся ручки дверей, трясутся готовые сорваться замки и засовы и наконец перевел взгляд на охранников, поддерживавших обмякшее тело человека.

И тут новая, страшная догадка заставила Бэйса броситься в зал. Левая нога ударилась о что-то, бесшумно скользнувшее по ковру под кресла, вертясь, словно крыса, догоняющая собственный хвост. Он нагнулся, пошарил под креслами рукой и тотчас нашел то, что искал, — еще не остывший пистолет. Бэйс глядел на него, все еще не веря, а затем опустил в карман. Ему понадобилось целых полминуты, чтобы наконец заставить себя сделать то, что теперь уже представлялось неизбежным. Он посмотрел на сцену.

Авраам Линкольн сидел в своем кресле с высокой резной спинкой в самом центре сцены. Голова его была неестественно наклонена вперед, широко открытые глаза неподвижно глядели перед собой. Большие руки покоились на подлокотниках, и казалось, что вот он сейчас шевельнется, обопрется руками о подлокотники, поднимется во весь свой

рост и скажет, что, в сущности, ничего страшного не произошло.

С усилием передвигая ноги, словно переходя реку в брод, Бэйс поднялся на сцену.

— Свет! Дайте свет, черт побери!

За сценой невидимый механик-осветитель вдруг вспомнил о своих обязанностях, и мутный свет, словно слабые лучи рассвета, упал на сцену.

Бэйс обошел сидящую в кресле фигуру. Вот она, аккуратная дырочка на затылке у левого уха.

— *Sic semper tyrannis!*¹, — вдруг послышался голос.

Бэйс резко обернулся.

Убийца сидел в последнем ряду, опустив голову. Зная, что Бэйсу сейчас не до него, он произнес эти слова тихо, почти про себя, уставясь в пол:

— *Sic...*

Но, услышав, как угрожающе зашевелился за его спиной охранник, он тут же умолк. Рука охранника поднялась и застыла в воздухе, готовая опуститься на голову убийцы. Казалось, она действовала совершенно самостоятельно...

— Не надо! — крикнул Бэйс.

Охранник с трудом подавил разочарование и гнев. Рука неохотно подчинилась хозяину.

«Нет, я не верю, — думал Бэйс, — не верю. Здесь нет ни охранников, ни этого человека, и нет...» Глаза его снова отыскивали еле заметное отверстие от пули в голове убитого президента. Из него на пол медленно капало машинное масло. Еще одна темная струйка проложила след по подбородку и бороде президента, и капли масла медленно стекали на галстук и сорочку.

Бэйс опустился на колени и приложил ухо к груди Манскена.

Нелепое слышное гудение говорило о том, что схемы ключевого механизма не повреждены окончательно, но привычный его ход, увы, был нарушен.

Бэйс вскочил. Звук работающего механизма напомнил ему...

— Фиппс?!.

Охранники удивленно подняли головы.

Бэйс с досадой даже прищелкнул пальцами.

— Он собирался приехать сюда после спектакля, не так ли? Он не должен этого видеть! Надо направить его куда-нибудь. Сообщите ему, что он срочно нужен на заводе

¹Такова участь тиранов (лат.)

в Глендейле. Там обнаружили неполадки. Пусть немедленно выезжает туда. Действуйте!

Один из охранников поспешил к выходу.

Провожая его взглядом, Бэйс думал: «Господи, хотя бы Фиппс задержался, хотя бы не приезжал!..»

Странно, что в такую минуту перед его мысленным взором предстала не своя, а чужая жизнь...

Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс разложил на столе первые схемы, чертежи, рисунки и сообщил им о своем Великом Плане? Как все сначала глядели на чертежи, а потом на чудака Фиппса:

— Линкольн?

Да, именно! Фиппс смеялся так, как может смеяться от счастья будущий отец, поверивший в чудесное знамение: у него родится необыкновенный сын.

Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.

А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца — робота.

Разве не счастье... снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!

Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы...

Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.

— Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге... Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарою, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий, худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него, словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.

Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная

одежда измята. Скотоводы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, и отец торопит сына: «Ну же, ну говори, что он сказал...» Подставив востру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:

«Восемьдесят семь лет тому назад...»

— Да!

«...наши отцы создали...»

— Да, да!

«...на этом континенте...»

— Где? Где?

— На этом континенте!.. «новую нацию, рожденную свободой, верящую в то, что все люди...»

Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести — своя ноша плечи не тянет, — а мальчуган горячим шепотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывки фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца...

— «...пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно...»

Мальчик умолк.

Все.

Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Геттисберг становится историей.

Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю...

Бэйс не сводил глаз с Фиппса.

А тот, допив коктейль и внезапно погрузившись от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:

— Мне никогда не снять этот фильм. Но вот *это* я все-таки сделаю!

Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса «Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл» по изготовлению машины привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.

Фиппс и его творение — совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из дебрей технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, что так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой новой Америки. Фиппс и Линкольн!

Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, лишь сказал:

— На лугу у Геттисберга мы обязательно, да, да, обязательно, станем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.

Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил подобрать арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было немало, найти неповторимый цвет кожи, волос и отпечатки пальцев. Увы, прикосновение Линкольна приходилось заимствовать!

Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.

Эйб никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку — выброшенные деньги.

Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.

Бригада Линкольна росла, как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десятков их рылись в истлевших подшивках старых газет, выпрашивали, а то и не спросив попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.

Многие побывали на полях Гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Сэлема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, наострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, ловя эхо прошлого, доказывая, убеждая.

Разумеется, Фиппс волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчевые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А затем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук,

и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.

В последний час последнего дня Фиппс, выпроводив всех, остался наедине с расprostертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их — не буквально, а скорее символически, — поднять его на плечи в последний раз.

В наступившей тишине Фиппс, обращаясь к полям бывших сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!

И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь от сна, и поверил, что он жив.

Он встал.

Он заговорил

Зазвонил телефон...

Бэйс издрогнул.

Воспоминания исчезли.

В дальнем углу сцены звонил телефон.

«О господи», — подумал Бэйс и бросился к телефону.

— Бэйс, это Фиппс. Мне только что звонил Бак, сказал, чтобы я немедленно приехал! Сказал, что-то про Линкольна...

— Нет, не надо приезжать, — ответил Бэйс. — Ты же знаешь Бака, он звонил, должно быть, из соседней пивной. Я в театре, здесь все в порядке. Один из генераторов забарахлил, но мы его уже починили...

— Значит, с ним все в порядке?

— Да, все просто великолепно, — Бэйс не мог оторвать взгляда от склоненной фигуры. «О господи, какая нелепость!...»

— Я... я сейчас приеду.

— Не надо!

— Черт побери, почему ты кричишь?

Бэйс прикусил язык, сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, медленно произнес:

— Я не кричу, Фиппс. В зале только что зажегся свет, нельзя задерживать публику. Я должен идти. Клянусь тебе...

— Ты лжешь!

— Фиппс!

Но Фиппс уже повесил трубку.

«Десять минут, — лихорадочно думал Бэйс. — Господи, через десять минут он будет здесь». Через десять минут человек, поднявший Линкольна из гроба, встретится с человеком, который вновь уложил его туда..

Он сделал несколько шагов, и вдруг ему неудержимо захотелось броситься за кулисы, включить магнитофоны, проверить, как откликнется поникшая фигура, которая из рук поднимется, а которая останется неподвижной. Нет, это безумие. Это можно сделать завтра.

Сегодня же у него едва есть время разгадать загадку. А она в человеке, который сидел в третьем кресле последнего ряда.

Убийца... Разве он не убийца? Кто он? Как выглядит?

Он лишь мельком видел его лицо несколько минут назад, не так ли? Разве оно не напомнило ему старый, знакомый, но куда-то запропастившийся дагерротип? Пышные усы, темные надменные глаза...

Бэйс медленно спустился в зал, медленно прошел по проходу между рядами кресел и остановился, вглядываясь в человека, который сидел, обхватив руками склоненную голову.

Бэйс сделал глубокий вдох и на выдохе произнес:

— Мистер... Бут?

Странный незнакомец застыл, по телу его пробежала дрожь, и шепотом, полным ужаса, он ответил:

— Да...

Бэйс ждал. Наконец он снова решил.

— Мистер... Джон Уилкс Бут¹?

В ответ раздался тихий смешок и наконец сухие и отрывистые, как карканье, слова:

— Норман Лэвлин Бут. Всего лишь фамилия... совпадает...

«Слава богу, — подумал Бэйс. — Я бы не вынес, если бы совпало все».

Он резко повернулся и, быстро пройдясь по проходу, остановился и посмотрел на часы. Время на исходе. Фиппс едет сюда, он в любую минуту может постучать в запертую дверь зрительного зала.

— Почему? — жестко спросил Бэйс, обращаясь к стене, которая была перед глазами.

Вопрос прозвучал, как эхо трех сотен испуганных голосов зрителей, тех, кто десять минут назад заполнял

¹Актёр Джон Уилкс Бут, убийца президента Линкольна. — Прим. перев.

этот зал и в ужасе повскакивал со своих мест, когда раздался выстрел.

— Почему?

— Не знаю! — закричал Бут.

— Лжете! — почти одновременно с ним выкрикнул Бэйс.

— Такой шанс глупо было бы упустить.

— Что?.. — Бэйс круто повернулся и впился взглядом в Бута.

— Ничего.

— Нет смелости повторить еще раз, не так ли?

— Потому, — начал Бут, опустив голову, то различимый, то еле видимый в полутьме, раздраемый чувствами, в которых и сам не мог разобраться, которые подхватывали и несли его куда-то, чтобы так же внезапно покинуть, смениться судорожными спазмами смеха или внезапным оцепенением. — Потому что... это правда. — И в благоговейном страхе, поглаживая щеки, он прошептал: — Я сделал это. Я все-таки сделал это.

— Ублюдок!

Бэйс бежал по проходу между рядами кресел, боясь, что если он остановится, то бросится и ударит, и будет бить, бить этого идиотского умника, этого хвастливого убийцу... Бут понимал это.

— Чего вы ждете? Кончайте.

— Нет, меня не будут... — Бэйс с трудом остановился, заставил себя не кричать, а говорить совершенно спокойно, — не будут судить за убийство человека, который убил того, кто по сути не был живым существом, а всего лишь машиной. Достаточно того, что стреляли в робота, казавшегося живым существом. Я не допущу, чтобы какой-нибудь судья или суд присяжных создали прецедент и был осужден человек, убивший того, кто стрелял в гуманоида, в компьютер! Глупость не должна повториться.

— Жаль, — с тоской в голосе произнес человек по имени Бут, и глаза его погасли.

— Говорите, — сказал Бэйс, глядя на сцену и видя ночное шоссе, мчащегося в машине Фиппса и неумолимый бег минут. — В вашем распоряжении пять минут, может, чуть больше, может, чуть меньше. Говорите: зачем вы сделали это? Да начинайте же! Начните с того, что вы трус!

Он ждал. За спиной Бута поскрипывал ботинками охранник, неловко переступавший с ноги на ногу.

— Да, я трус, — согласился Бут. — Как вы догадались?

— Я это знал.

— Трус, — продолжал Бут. — Я трус. Всегда боялся. Вы правильно сказали. Боялся вещей, людей, мест, где можно побывать. Боялся людей, которых хотел ударить, но не смел. Вещей, которые хотел иметь, но не имел. Мест, где хотел побывать, но так и не побывал. Мечтал стать великим, знаменитым. Почему бы нет? Но не получилось. Тогда подумал: не находишь причин для радости, найди причину для горя. Столько возможностей для этого. Вот вы спрашиваете, почему. Кто знает? Мне надо было сотворить что-нибудь отвратительное, а затем терзаться всю жизнь, спрашивать себя, зачем я это сделал. По крайней мере знаешь, что хоть что-то сделал. Вот и задумал сотворить что-нибудь мерзкое.

— Вам это, бесспорно, удалось.

Бут смотрел на свои руки, опущенные между колен, будто видел, как они держат древнее, совсем простое оружие.

— Случалось вам когда-нибудь убить черепаху?

— Что?!

— Когда я был десятилетним мальчишкой, я впервые узнал о смерти. И тогда же я узнал, что черепаха, это глупое, похожее на камень животное, еще долго будет жить после того, как меня давно уже не будет на свете. Тогда я решил, раз мне не миновать смерти: пусть первой умрет черепаха. Я взял камень и бил по панцирю до тех пор, пока не проломил его и черепаха не подохла...

Бэйс чуть замедлил свои бесконечные шаги по проходу и сказал:

— По этой же причине я однажды не убил бабочку.

— Нет, — быстро ответил Бут, — не по этой. Мне тоже однажды на руку села бабочка. Она расправляла и складывала свои крылышки, отдыхая на моей руке. Я знаю, что в любую минуту могу прихлопнуть ее, но не сделал этого, потому что знал, что через несколько минут, самое большее, через час ее склюнет какая-нибудь птица. Поэтому я позволил ей улететь. А вот черепахи — это совсем другое. Они лежат во дворе, лежат десятки лет, целую вечность. Поэтому я вышел во двор и взял камень, а потом много месяцев мучился от того, что сделал. Может, мучаюсь по сей день. Вот, смотрите...

Бут протянул руки. Они дрожали.

— Какое это имеет отношение к тому, что сегодня вы оказались здесь? — спросил Бэйс.

— Какое? Вы что, серьезно? — Бут смотрел на Бэйса, как на сумасшедшего. — Разве вы не слышали, что я говорил? О господи, я завидую! Завидую всему, что хорошо

сделано, что работает, всему, что прекрасно само по себе, всему, что вечно... Мне все равно, что это! Я завидую!

— Нельзя завидовать машине.

— Почему нельзя, черт побери! — Бут ухватился за спинку переднего кресла, медленно наклонился вперед и впился глазами в печально склоненную фигуру в кресле с высокой спинкой в самом центре сцены. — Разве машины не совершенней людей в девяносто девяти случаях из ста? Вспомните ваших знакомых. Я это серьезно. Разве машины не выполняют все так, что не придерешься? А люди? Можете вы мне назвать таких, чтобы делали все, как надо, хоть на треть, хоть на половину? Вот эта проклятая штукавина там, на сцене, эта машина, разве она не только выглядит отлично, но и делает все отлично — говорит, действует? Болше того, если ее смазывать, заводить, беречь от поломок, она будет еще лучше, будет говорить и действовать без изъяна сто и двести лет, когда я давно сгнию в земле. Завидую? Да! Разве я не прав, черт побери?

— Но машина не знает, какая она.

— Зато я знаю! Я чувствую! — кричал Бут. — Я посторонний, заглядывающий в окна. В таких делах я всегда посторонний. Я не участник, мне это не дано. А машине дано. Она все может, а я нет. Она создана, чтобы выполнять одно или два действия, но как она выполняет их! Комар носа не подточит. Сколько бы я ни учился, сколько бы ни знал и ни старался, хоть всю жизнь, мне не быть совершенством, таким чудом, как это, которое так и просится, чтобы его сломали, как вот этот человек, эта вещь, это существо на сцене, этот ваш президент!..

Он уже стоял и кричал, обращаясь к сцене, до которой было шагов шестьдесят.

Линкольн молчал. Под креслом тускло поблескивала лужица машинного масла.

— Этот президент... — внезапно переходя на шепот, почти про себя пробормотал Бут, словно постиг наконец истину, которую искал. — Президент, да, Линкольн. Разве вам не понятно? Он давно умер. Он не может жить. Это несправедливо. Прошло сто лет, и он снова здесь. Его убили, похоронили, а он продолжает жить. Живет сегодня, будет жить завтра, и так день за днем, до бесконечности. Его зовут Линкольн, а меня Бут... Я должен был прийти сюда...

Голос его прервался. Глаза остекленели.

— Садитесь, — тихо сказал Бэйс.

Бут сел, а Бэйс, кивнув охраннику, сказал:

— Пожалуйста, подождите в коридоре.

Тот вышел. Теперь, когда Бэйс остался один с Бутом и с молчаливой фигурой на сцене, которая словно чего-то ждала, сидя в своем кресле, он медленно повернулся и внимательно посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Все это так, да не совсем.

— Что?

— Вы назвали не все причины, побудившие вас прийти сегодня сюда.

— Нет, все!

— Вы так думаете. Но вы обманываете самого себя. Все вы, романтики, таковы. В той или иной степени. Фиппс, который создал этого робота. Вы, который уничтожил его. Но все, в сущности, сводится к одному... К одной очень простой и понятной причине. Вам хочется увидеть свой портрет в газете, не так ли?

Бут не ответил, но его плечи еле заметно шевельнулись, словно распрямляясь.

— Хочется видеть себя на обложках всех журналов континента?

— Нет.

— Получить неограниченное время для выступлений по телевидению?

— Нет.

— Интервью по радио?

— Нет.

— Нравится, что адвокаты и судьи будут ломать копыя, споря, подсуден ли человек, стрелявший в чучело...

— Нет!

— ...то есть в гуманоида, в машину?..

— Нет!!!

Бут тяжело дышал, глаза его бегали как у безумного.

Бэйс продолжал.

— Нравится, что завтра двести миллионов человек заговорят о вас и будут говорить неделю, может, месяц, а то и целый год!

Молчание.

Но улыбка, словно капля слюны, оттянула уголок губ, и Бут, почувствовав это, поднес руку к губам.

— Нравится, что можно продать международным синдикатам собственную версию того, как все это было, и сорвать солидный куш.

По лицу Бута струился пот, ладони взмокли.

— Хотите, я сам отвечу на все эти вопросы? А? Итак, — начал Бэйс, — ответ здесь только один...

Стук в дверь прервал его. Бэйс вскочил, Бут тоже повернулся в сторону двери.

— Бэйс, это я, Фиппс, откройте! — слышался голос за дверью. И снова стук, уже настойчивый и громкий. Бэйс и Бут, словно заговорщики, молча посмотрели друг на друга.

— Да впустите же меня, черт побери!

В дверь снова забарабанили, потом наступила короткая пауза, и стук возобновился с новой силой — в дверь то глухо били кулаками, то барабанили пальцами. Временами стук прекращался, а затем слышалось тяжелое дыхание, словно человек успел обежать коридор в поисках других дверей.

— На чем я остановился? — спросил Бэйс. — Да, на ответах на мои вопросы. Вы, следовательно, рассчитываете на широкую рекламу — телевидение, радио, прессу и все такое прочее?..

Молчание.

— Этого не будет.

Губы Бута дрогнули, но он ничего не сказал.

— Н-Е-Т! — раздельно произнося каждую букву, выкрикнул Бэйс. — Не будет!

И, протянув руку, он выдернул у Бута из кармана бумажник. Вынув все документы, он вернул пустой бумажник.

— Нет? — повторил за ним потрясенный Бут.

— Нет, мистер Бут. Никаких портретов в газетах, никаких интервью по телевидению. Не будет статей в газетах и журналах, не будет рекламы, не будет славы — и удовлетворенного тщеславия. Не удастся жалеть себя, терзаться раскаянием, увековечить свое имя. Никто не будет слушать вздор о победе над машиной, якобы обесчеловечившей человека. Не будет ореола мученика и бегства от собственной посредственности, сладких терзаний совести и сентиментальных слез. Не удастся не думать о будущем. Не будет судебного процесса, адвокатов, комментаторов, анализирующих все через месяц, через год, через тридцать, шестьдесят, девяносто лет, не будет и денег, нет!..

Бут поднялся в кресле, словно его подтянули вверх канатом, стал выше, худее, еще больше побледнел.

— Я не понимаю... я...

— Ведь только ради этого вы все и затеяли, не так ли? Да, ради этого. А я испорчу вам всю игру. Ибо как только все будет сказано и сделано, мистер Бут, названы все причины и подведены итоги, вы превратитесь в ничто, в

пустое место. Таким вы и останетесь навсегда, испорченным и самовлюбленным, мелким, злобным и порочным. Роста вы незавидного, но я намерен сделать вас еще ниже, по крайней мере еще на один дюйм, пригнуть вас к самой земле, втоптать в нее. Вместо того чтобы возвысить и раздуть до непомерных размеров, как вам того хотелось бы.

— Вы не посмеете! — крикнул Бут.

— О, мистер Бут, — воскликнул Бэйс, испытывая почти радостное чувство, — еще как посмею. В данном случае я могу поступить с вами, как мне заблагорассудится. Так вот, я не собираюсь возбуждать против вас судебное дело. Более того, мистер Бут, ничего, в сущности, и не произошло.

Стук в дверь возобновился. Теперь стучали в дверь за сценой.

— Бэйс, ради бога, откройте! Это я, Фиппс! Бэйс, вы слышите?

Бут смотрел, не отрываясь, как содрогается от ударов дверь. А Бэйс с великолепным спокойствием и естественностью крикнул:

— Одну минуту!

Он понимал, что спокойствие вот-вот изменит ему и в нем что-то сломается, но пока он чувствует себя так уверенно, он обязан довести дело до конца. Вежливо, корректно обращаясь к убийце, он продолжал говорить и видел, как тот поник. Он продолжал говорить и видел, как тот съежился и стал меньше ростом.

— Этого никогда не будет, мистер Бут. Можете рассказывать все, что вам угодно, а мы все опровергнем. Вас не было здесь, не было, не было пистолета и не было выстрела, не было убийства робота, не было волнений, шока, паники, и не было толпы. Посмотрите на себя. Почему вы съежились, почему согнулись и дрожите? Разочарованы? Не вышло, я помешал вам? Прекрасно. — Он кивнул в сторону выхода. — А теперь, мистер Бут, убирайтесь!

— Вы не можете...

— Очень жаль, мистер Бут, что вы не послушались.

Бэйс сделал бесшумный шаг к убийце, протянул руку, схватил его за галстук и неловко потянул вверх, заставив того встать. Теперь он дышал прямо в лицо убийце.

— Если вы хоть словом обмолвитесь жене, другу, вашему хозяину, случайному встречному, мужчине, ребенку, дяде, тетке, кузену, даже проговоритесь самому себе

но сие, знаете, что я с вами сделаю; мистер Бут? Если произнесете хоть слово, шепотом или мысленно, я стану преследовать вас повсюду. Днем или ночью, где бы вы ни были, я найду вас, найду, когда вы меньше всего будете ждать меня, и знаете, мистер Бут, что я с вами сделаю? Нет, этого я не скажу вам, не могу сказать. Но это будет страшная, это будет ужасная расплата, и вы пожалеете, что родились на свет — так это будет страшно.

Бледное лицо Бута прыгало перед его глазами, голова моталась из стороны в сторону, глаза были выпучены, а рот открыт, словно он пытался поймать им капли дождя.

— Вы поняли, что я сказал, мистер Бут? Повторите.

— Вы убьете меня?

— Повторите еще раз!

Он тряс Бута до тех пор, пока слова сами не нашли дорогу сквозь стучащие зубы Бута.

— Убьете меня!

Он крепко держал его и тряс сильно и равномерно, словно массировал, ухватив за рубашу, за кожу под рубашкой, чувствуя, как в теле врага рождается ужас.

— Прощайте, мистер Никто. О вас не будут писать статьи в журналах, не будет передач по телевидению, не будет и славы, лишь безымянная могила и никаких упоминаний в учебниках истории, нет! А теперь вон отсюда! Вон, пока я не прикончил тебя на месте!

Он толкнул Бута, и тот побежал, упал, поднялся и снова побежал прямо к выходу, к той самой двери, которую трясли, в которую колотили кулаками, которую пробили почти насквозь.

За нею был Фиппс, кричавший из темноты.

— Не в эту дверь! — воскликнул Бэйс и указал Буту в противоположную сторону. Тот повернулся на всем бегу, споткнулся, чуть не упал и побежал к другой двери. Перед ним он остановился, шатаясь, и протянул руку...

— Стойте! — крикнул Бэйс и, приблизившись, наотмашь ударил Бута по лицу. Брызги пота, словно брызги дождя, разлетелись во все стороны. — Я... — промолвил Бэйс, — я должен был это сделать...

Посмотрев на свою руку, он отпер дверь.

Они увидели ночное небо, звезды и пустую улицу.

Бут отшатнулся назад, в его больших темных влажных глазах ребенка застыла обида и недоумение; это были глаза оленя, который сам себе нанес увечье, который будет постоянно ранить и калечить себя.

— Уходите, — сказал Бэйс.

Бут бросился в дверь, она захлопнулась, и Бэйс прислонился к ней, тяжело дыша.

В другом конце зала в другую дверь снова стучали, крича и умолая. Бэйс смотрел на эту трясущуюся, но, казалось, такую далекую дверь. За нею был Фиппс, но он подождет. Теперь же...

Пустой зрительный зал казался огромным, как луг у Геттисберга, когда многочисленная толпа покинула его и разъехалась по домам, а солнце опустилось за горизонтом. Там, где стояли люди, а потом разошлись, где стоял фермер с сынишкой на плечах, повторявшим каждое слово президента, было пусто...

На сцене не сразу, а после долгих колебаний он наконец протянул руку и коснулся плеча Линкольна.

«Безумец, — подумал он, стоя в полумраке сцены. — Не делай этого, не делай. Остановись! Зачем? Это глупо. Остановись».

То, что надо было найти, он нашел. То, что надо было сделать, он сделал.

Слезы текли по его лицу.

Он рыдал. Он задыхался от рыданий. Он не мог остановить слез, и они лились неудержимо.

Мистер Линкольн мертв. Мистер Линкольн мертв!

А он отпустил убийцу.

ЧЕПУШИНКА

К магазинчику было не протолкнуться.

Кроуэлл ввинтился в толпу; длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул что-то себе под нос и заработал локтями.

Он увидел, как ярдах в ста позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная, черная, блестящая машина-жук. Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидели двое телохранителей.

«А вообще-то стоило ли убегать?» — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. Ведь он устал. Не было больше сил выступать каждый вечер в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, зная, что из-за какого-то упоминания вскользь о том, что в последнее время некий толстяк в «Пластикс инкорпорейтед» занимается темными делишками, за тобой по пятам ходят

гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился, собственной персоной. Притащился за ним из самой Пасадены.

Теперь наконец Кроуэлла со всех сторон окружала толпа. «Интересно, — подумал он, — отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну а что, вообще говоря, увидишь обычного в Южной Калифорнии?»

Он протиснулся вперед и уставился на большие алые буквы на окнах из голубого стекла; выражение его худого грустного лица не изменилось.

Слова на голубом стекле были такие:

**ШТУКОВИНЫ, ФИНТИФЛЮШКИ, ПУСТЯКОВИНКИ,
БАРАХЛИНКИ, ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ, ЧЕПУШИНКИ,
ЕРУНДОВИНЫ И ПР.**

Кроуэлла это не удивило. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор, когда давал ему задание? Ерунда какая-то и чепуха.

Но тут он вспомнил про Стива Бишоп, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт хорош.

Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал два-три названия — ерундовины, штучки-дрючки; все равно Бишопу в этой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишоп, по совести говоря, право есть: как-никак он, Плут, пугает Бишоп разоблачением — трехмерными цветными изображениями...

Кроуэлл боком пролез к полупрозрачной двери; будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных — белом и голубом — тонах помещения. Кроуэллу стало нмного зябко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы (их оказалось семнадцать) и мертвенно-серыми, ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит.

Из-за шкафчика голубого стекла появился вдруг лысый человечек, худой как скелет. Он был такой маленький, что Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана для того, чтобы по ней хлопать.

Квадратное лицо человечка было блекло-желтым, того особого оттенка желтизны, который приобретают выцветшие газеты.

— Слушаю вас, — сказал человечек.

— Привет, — негромко поздоровался Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. Теперь, когда он в магазине, что-то нужно говорить. — Я хотел бы купить... штуковину

В голосе Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице.

— Великолепно, великолепно! — отозвался человечек и потер руки. — Не знаю почему, но по-настоящему заинтересовались вы первый. Другие просто стоят там, снаружи, и смеются. Так к делу: какого года штуковина вам нужна? И какой модели?

Ни того, ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что испытывает замешательство, однако никто другой, глядя на его лицо, этого бы не заметил. Войдя, он сразу повел себя так, будто собаку съел на этих делах. И теперь признаваться в своем невежестве ему было совсем ни к чему. Он сделал вид, будто обдумывает ответ, и наконец сказал:

— Пожалуй, в самый раз подошла бы модель 1993 года. Не надо ничего сверхсовременного.

Владелец магазина заморгал.

— Ага! Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста.

И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которым лежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но одновременно напоминало кухонную полку; с металлического края свисало несколько сережек, и на том же краю были жестко закреплены три похожих на рога стержня и шесть диковинных механизмов, а наверху, из самой середины, торчал большой пучок чего-то, что более всего напоминало шнурки от ботинок.

Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел еще раз. Ну что тут скажешь? Только одно: малыш совсем ненормальный. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать.

Что же касается крохотного хозяина лавки, то он был на вершине счастья: его глаза сняли, губы растянулись в самую приветливую улыбку, руки со сплетенными пальцами были прижаты к груди, и он стоял, наклонившись вперед, полный ожидания.

— Вам нравится?

Кроуэлл мрачно кивнул:

— Да, пожалуй. Годится. Я, правда, видел и получше.

— Получше?! — изумленно воскликнул человечек и вытянулся во весь свой маленький рост. — Где видели? — потребовал он ответа. — Где?

Другой бы занервничал. Другой, но только не Кроуэлл. Он просто вытащил блокнот, начал в нем быстро писать и, не поднимая головы, ответил многозначительно:

— Кто-кто, а уж вы-то знаете где...

Он надеялся, что этого будет достаточно. И не ошибся.

— О! — крохотный человечек захлебнулся от восторга.

— Значит, вы тоже?... Как приятно иметь дело со сведущим человеком! Как приятно!

Кроуэлл бросил взгляд в окно — посмотреть, что там, за толпой хихикающих зевак. И толстяк, и телохранители, и черная машина исчезли. Охота приостановилась — пока.

Кроуэлл сунул блокнот в карман, положил руку на шкафчик, в котором была выставлена штукавина.

— Я очень спешу. Могу я взять это с собой? Деньги у меня дома, но вместо первого взноса я могу вам дать кое-что в обмен. Согласны?

— Безусловно согласен!

— Замечательно.

Набравшись духу, Кроуэлл полез в карман своей серой блузы и извлек оттуда маленькое металлическое устройство для чистки курительных трубок. Поломанное, погнутое, оно выглядело довольно необычно.

— Пожалуйста. Барахлинка. Модель 1944 года.

Человек с ужасом уставился на Кроуэлла.

— Какая же это барахлинка?

— Э-э... разве, нет?

— Разумеется, нет!

— Разумеется, — осторожно повторил Кроуэлл.

— Это пустяковинка, — сказал, моргая, человечек. — И не целая, а только часть. Ну и шутник же вы, мистер...

— Кроуэлл. Мда... шутник. Мда. Надеюсь, моя шутка не очень вас покорила. Так меняемся? Я очень спешу.

— Конечно, конечно! Я поставлю вашу покупку на тележку, и мы подвезем ее прямо к вашей машине.

Крохотный человек мгновенно выкатил откуда-то ручную тележку на маленьких колесиках, и Кроуэлл оглянуться не успел, как штукавина оказалась на ней. Хозяин помог докатить тележку до двери. У двери Кроуэлл остановил его:

— Минутку.

Черной машины нигде не было видно.

— Все в порядке.

Понизив голос, человечек сказал:

— Помните только, мистер Кроуэлл: ни в коем случае не следует убивать этой штуковиной кого ни попадя. Убивайте... с разбором. Да, только так — с разбором, взвесив хорошенько все «за» и «против». Не забудете, мистер Кроуэлл?

Кроуэлл проглотил непомерной величины ком, откуда-то взявшийся у него в горле.

— Не забуду,— ответил он.

Съехав на машине в туннель, он покатил по подземной магистрали из района Уилшира домой, в Брентвуд. Никто за ним не увязался. На этот счет сомнений не было. Но какие планы у Бишопа на ближайшие часы, он не знал. Не знал. И даже думать об этом не хотел. Сейчас у него был очередной приступ хандры. В этом мерзком мире всё шиворот-навыворот — честному человеку в нем не выжить. Что же до Бишопа, этого жирного слизняка, то... Взгляд Кроуэлла упал на покупку рядом на сиденье, и его сотряс короткий и сухой, похожий на кашель смех.

— Значит, ты штуковина? — сказал он. — Ха! Каждый зарабатывает на жизнь чем может. Бишоп пластиками, я — шантажом, а этот маленький придурок — своими ерундовинами и штучками-дрячками. И пожалуй, малышка этот ловчей нас всех.

Он свернул из ответвления подземной магистрали, по которому ехал, в боковой туннель, выходивший на поверхность у самого его дома. Поставив белого «жука» в гараж и оглядев парк вокруг, он со штуковиной в руках поднялся на свой этаж, набрал известное только ему сочетание цифр, открыл дверь, внес штуковину, захлопнул дверь и поставил свою покупку на стол. Потом он налил себе бренди.

В дверь постучали, негромко и с расстановкой. Оттягивать бесполезно. Он пошел к двери и открыл.

— Привет.

На пороге стоял толстяк. Лицо — как большой кусок вареного свиного сала, холодного и дряблого. Зеленых, в красных прожилках глаз почти не видно под тяжелыми веками. Сигара во рту двигалась в такт словам.

— Рад, что застал тебя, Кроуэлл. Давно хотел с тобой встретиться.

Кроуэлл отступил, и толстяк вошел в комнату. Сел, сложил на круглом животе руки и спросил:

— Ну так как?

Кроуэлл сглотнул слюну.

— Снимков у меня здесь нет, Бишоп.

Толстяк ничего на это не сказал. Медленно разомкнул руки, не спеша, словно за носовым платком, полез в карман, но вместо платка в руке у него оказался небольшой пистолет-парализатор. От голубой стали веяло холодом.

— Может, все-таки подумаешь, Кроуэлл?

На печальном, бледном лице Кроуэлла проступил холодный пот, от этого оно стало еще печальней. Шея будто налилась свинцом. Он попытался было включить свой мозг, но мозгу стало вдруг невыносимо жарко, мозг был скован цементом страха, безжалостного и внезапного. Внешне это никак не проявилось, однако в глазах у Кроуэлла Бишоп, пистолет, комната запрыгали вверх-вниз.

И тут в поле его зрения попала... штуковина.

Бишоп передвинул на пистолете штифт предохранителя.

— Ну так куда стрелять? Могу в грудь, могу в голову. Говорят, если парализует мозг, умираешь скорее. Лично я предпочитаю целиться в сердце. Так куда?

— Не торопись, — небрежно сказал Кроуэлл. Медленно-медленно он отступил назад. Сел, не забывая ни на миг о том, что палец Бишоп дрожит на спусковом крючке: стоит чуть нажать, и все кончено. — Меня убивать ты не станешь, а, наоборот, будешь благодарить за то, что получил доступ к величайшему изобретению нашего времени.

Огромное лицо Бишоп оставалось неподвижным. Только двигалась из стороны в сторону сигара.

— Брось, Кроуэлл. Нет времени болтать.

— Наоборот, куча времени, — спокойно возразил Кроуэлл. — У меня есть для тебя идеальное оружие. Хочешь верь, хочешь нет. Взгляни вон на ту машину на столе.

Голубея сталью, пистолет неподвижно на него смотрел. Бишоп скосил глаза на стол, снова вперил взгляд в Кроуэлла.

— Ну и что? — процедил он сквозь зубы.

— А то, что, если меня выслушаешь, ты станешь самым крупным воротилой в пластиковом бизнесе на всем Тихоокеанском побережье. Ведь тебе этого хочется, правда?

Глаза Бишоп открылись немного шире, сузились снова.

— Тянешь время?

— Послушай, Бишоп, я и сам понимаю, что деваться мне некуда. Потому и беру тебя в долю... в смысле этой моей проклятой штуковины. Все никак не придумаю для нее названия.

Как перегревшаяся центрифуга отчаяния, работал мозг Кроуэлла, отбрасывая одну легковесную идею за другой. Но одна мысль упорствовала: *тяни время, пока не появится возможность вырвать пистолет. Морочь ему голову. Морочь, сколько сможешь.* Ну, а теперь...

Кроуэлл откашлялся.

— Она... она убивает радиоволнами, — начал придумывать он. — Достаточно отдать ей приказ, и она убьет, кого я только захочу. Никаких неприятностей. Никаких улик. Ничего вообще. Идеальное убийство, Бишоп. Тебе нравится?

Бишоп покачал головой.

— Ты налакался. Ну ладно, дело уж к вечеру, так что...

— Подожди, — перебил Кроуэлл, вдруг подавшись вперед; в его серых глазах зажегся огонек. — Не шевелись, Бишоп. Ты под прицелом. Машина держит тебя на мушке. Прежде чем выпустить тебя, я настроил ее на определенную волну. Только пикни — и тебе конец!

Сигара выпала изо рта Бишопа на пол. Рука, державшая пистолет, дрогнула.

Наконец-то! Мускулы Кроуэлла свернулись в одну тугую пружину. Как стрелы полетели слова:

— Берегись, Бишоп! Машина, действуй! Убей Бишоп!

И Кроуэлл швырнул свое тело в сторону. Почувствовал, как отделяется от стула, увидел ошеломленное лицо Бишопа. Отвлекающий маневр удался. Пистолет выстрелил. Серебристый луч едва миновал ухо Кроуэлла и, шипя, расплескался по стене. Кроуэлл вытянул руки, чтобы схватить Бишопа, вырвать пистолет.

Но опоздал.

Бишоп был мертв.

Штуковина опередила Кроуэлла.

У себя в спальне Кроуэлл выпил стаканчик. Потом еще один. Теперь казалось, что желудок плавает в алкоголе. Но все равно не удавалось забыть, как выглядел мертвый Бишоп.

Надо еще стаканчик пропустить. Он глянул на дверь и подумал: «Очень скоро, в ближайшие несколько минут, телохранители будут ломиться в квартиру, будут искать своего босса. Но... выйти в гостиную, снова увидеть Бишопа на полу, штукловину?» По спине Кроуэлла пробежала дрожь.

Еще стаканчик, за ним другой, но по-прежнему ни в одном глазу, будто не выпил ни капли; и он начал собирать чемодан, складывать туда одежду. Он не знал, куда отправится, но знал, что отправится обязательно. Уже собрался выходить, когда звуком похожим на удар гонга, прозвучал сигнал аудиофона.

— Да?

— Мистер Кроуэлл?

— Он самый.

— С вами говорят из «Лавки Чепуховин».

— А-а... как же, помню. Здравствуйте.

— Вы не заглянете в лавку еще раз? И не захватите с собой шутовину? Боюсь, что вы понесли убыток в этой сделке. У меня появилась шутовина другой модели, гораздо лучшая.

Кроуэлл сглотнул слюну:

— Спасибо, эта работает прекрасно.

Он дал отбой и схватился за голову: ему показалось, что его мозг вот-вот соскользнет к нему в ботинки. Он и не думал убивать. Все в нем восставало против одной только мысли об убийстве.. И от этого положение его еще труднее. Эти вооруженные люди, телохранители, не остановятся даже перед тем, чтобы...

Его нижняя челюсть немного выпятилась. Пусть приходит! На сей раз он не побежит. Нет, он останется в городе, будет себе спокойно передавать последние известия, словно ничего не произошло. Как ему все это надоело! Пусть его убьют, ему все равно. Он будет просто счастлив, когда они нацелят на него пистолеты.

А вообще-то, зачем ему лишние осложнения? Лучше отнести Бишопу... в гараж, положить на заднее сиденье машины и увезти в безлюдное место, а телохранителей он собьет со следа — скажет, что похитил и спрятал Бишопу. Неплохая мысль, черт возьми. Все-таки он, Кроуэлл, умница!

Он попытался поднять тяжелое тело Бишопы. Не смог. Но в конце концов переправить тело вниз на заднее сиденье машины удалось — это за него сделала шутовина.

Кроуэлл, пока она этим занималась, оставался в своей спальне. Ему не хотелось смотреть, как шутовина это делает.

— О, мистер Кроуэлл? — крошечный хозяин лавки широко открыл сверкающую стеклянную дверь. На окна магазина и сейчас глазели зеваки. — Я вижу, вы привезли шутовину? Превосходно.

Лихорадочно соображая, Кроуэлл поставил устройство на прилавок. Мм... быть может, теперь ему что-нибудь объяснят? Спрашивать нужно деликатно, не впрямую. Спрашивать так, чтобы...

— Послушайте, мистер, не знаю как вас зовут, я не говорил вам, но я репортер. Мне бы хотелось сделать передачу для «Последних новостей» о вас и вашей лавке. Но чтобы рассказали вы сами.

— Вы знаете о пустяковинах и ерундовинах ничуть не меньше меня, — сказал человек.

— Не меньше?..

— Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— О, конечно. Конечно, знаю. Но всегда лучше на кого-то сослаться. Понимаете?

— Ваша логика мне неясна, но я сделаю то, чего вы от меня хотите. Слушатели захотят, по-видимому, узнать подробно о моей «Лавке Чепуховин», не так ли? Ну что ж... Чтобы мое торговое дело выросло до нынешних масштабов, потребовались тысячи лет пути.

— Тысячи *миль* пути, — поправил Кроуэлл.

— Тысячи *лет*, — повторил человечек.

— Разумеется, — сказал Кроуэлл.

— Мою лавку, пожалуй, можно назвать энергетическим результатом неадекватного семантизирования. Устройства, которые вы здесь видите, вполне справедливо было бы назвать изобретениями, делающими не конкретно что-то, а все вообще.

— Разумеется, — бесстрастно сказал Кроуэлл.

— Теперь вот что: если один человек показывает другому деталь автомобиля и не может вспомнить ее названия, что он говорит в таких случаях?

Кроуэлла осенило:

— Он называет ее штуковиной, или загогулиной, или ерундовиной...

— Верно. А если женщина говорит с другой женщиной о своей стиральной машине, или о взбивалке для яиц, или о вышивании тамбуром, или о вязанье и у нее вдруг затмение в голове и она не может вспомнить точное слово — что она тогда говорит?

— Она говорит: «Эту висюльку надень на загогулину. Придержи финтифлюшку и насади ее на рогульку», — сказал Кроуэлл, радуясь, как школьник, понявший вдруг математическое правило.

— Совершенно верно! — воскликнул человечек. — Хорошо. Таким образом, мы здесь имеем дело с появлением семантически неточных обозначений, пригодных для описания любого предмета — от куриного гнезда до автомобильного картера. «Штуковиной» могут назвать и парик, и половую тряпку. Штуковина — это не один определенный предмет. Это тысяча разных предметов. Да... так вот что я сделал: проникал в сознание цивилизованных людей, извлекал представление каждого о том, как выглядит штуковина, о том, как выглядят штучки-дрючки, и

непосредственно из энергии атомов создавал материальные эквиваленты этих несовершенных обозначений. Иными словами, мои изобретения суть трехмерные репрезентации определенных сгустков смысла. Поскольку в сознании человека «штуковиной» может быть что угодно — от щетки до стального болта девятого размера, — это свойство повторено и в моих изобретениях. Штуковине, которую вы сегодня брали домой, под силу почти все, чего вы от нее захотите. Многие из моих изобретений благодаря вложенным в них способностям мыслить, самостоятельно передвигаться и выполнять самые разнообразные действия, по существу, сходны с роботами.

— Они могут все?

— Не все, но очень многое... Что же касается функционирования большинства из них, то оно возможно благодаря примерно шестидесяти протекающим в любом из них одновременно процессам, необычным, взаимодействующим, разнообразным по объему и интенсивности. У каждого из моих творений свой набор полезных функций. Одни устройства большие. Другие маленькие. У больших множество разнообразных применений. На долю маленьких выпадают всего одна или две простые функции. Ни одно изделие не повторяет другое в точности. Прикиньте сами, сколько времени, места и денег вы сэкономите, купив какую-нибудь из моих штуквин!

— Ага, — отозвался Кроуэлл. Ему вспомнилось тело Бишопы. — Использовать вашу штуковину можно очень многообразно, тут уж ничего не скажешь.

— Хорошо, что вы напомнили. Я хочу спросить вас о пустяковинке модели 1944 года, которую вы дали в счет стоимости моей штуковины. Где вы ее раздобыли?

— Где раздобыл? Вы про эту, для чистки... то есть, про пустяковинку? Я... э-э... я...

— Вам не следует ничего опасаться, вы можете быть со мной откровенным. Ведь у нас общие профессиональные тайны. Вы сделали ее сами?

— Я... я купил ее, а потом над ней работал. Вкладывал... вкладывал энергию мысли — ну вы знаете как.

— Значит, вам известен этот секрет? Подумать только! А я-то считал, что, кроме меня, о возможности превращать мысль в энергию не знает никто. Какой блестящий ум! Вы учились в Рругре?

— Нет. До сих пор жалую, что не попал туда. Не было возможности. Всего достиг собственными силами. Ну а теперь вот что: я бы хотел вернуть эту штуковину и взять что-нибудь другое. Штуковина мне не нравится.

— Не нравится? Но почему?

— Да просто не нравится — и все. Слишком много возни. Мне бы хотелось что-нибудь попроще.

«Да, — подумал он про себя, — попроще, чтобы видно было, как работает».

— Какого рода устройство, мистер Кроуэлл, желаете вы взять в этот раз?

— Дайте мне... штучку-дрючку.

— Штучку-дрючку какого года?

— А не все равно какого?

— О, вы опять шутите!

Кроуэлл сделал глотательное движение.

— Разумеется, шучу.

— Вы ведь, конечно, знаете, что год от года свойства штучки-дрючки, как и само ее название, меняются, и меняются они уже на протяжении тысяч лет.

— А сами вы не шутите? — спросил Кроуэлл. — Нет, не шутите. Не обращайтесь внимания на мои слова. Дайте мне штучку-дрючку, и я поеду домой.

Что это он говорит — «домой»? Не очень-то умно было бы отправиться туда сейчас. Лучше затаиться где-нибудь в укромном местечке и довести до сведения телохранителей: он держит Бишопа заложником. Да. Только так. Это надежней всего. А пока не плохо бы разузнать побольше об этой лавке... Но держать около себя что-нибудь подобное той штуковине? Нет уж, увольте!

Маленький владелец магазина между тем продолжал:

— У меня целый ящик штучек-дрючек из всех исторических эпох, я вам его отдам. Просто не знаю, куда мне девать это добро, и пока только вы принимаете меня всерьез. За весь сегодняшний день у меня не было ни одного покупателя. Меня это очень огорчило.

«Да, мозги у этого малышки здорово набекрень», — подумал Кроуэлл и сказал:

— Знаете что? У меня дома пустой чулан. Как-нибудь на днях доставьте ко мне всю эту мелочь, и я посмотрю ее и выберу, что мне понравится.

— А не могли бы вы сделать мне одолжение и взять часть товара прямо сейчас?

— Не знаю, смогу ли я...

— О, немного! Совсем немного. Серьезно. Вот они. Сейчас увидите сами. Несколько коробочек побрякушек и финтифлюшек. Вот они. Вот.

Владелец магазинчика наклонился и вытащил из-под прилавка шесть коробок.

Кроуэлл открыл одну.

— Эти я возьму, тут и говорить не о чем. Одни только шумовки, ножи для чистки овощей, дверные ручки и старые голландские пеньковые трубки — больше тут ничего нет. Эти я, конечно, возьму.

Совсем не страшные. Маленькие, простые. Вряд ли можно ждать от них неприятных сюрпризов.

— О, благодарю вас! Очень вам признателен. Положите все на заднее сиденье своей машины, я за них не возьму с вас ничего. Я рад, что освобождаю у себя место. За последние годы я столько насоздавал, что не знаю куда все это девать. Меня тошнит от одного вида моих изделий.

Обхватив коробки обеими руками, придерживая верхнюю подбородком, Кроуэлл вышел на улицу, к своему белому «жуку», и свалил все на заднее сиденье. Потом махнул человечку рукой, сказал, что на днях они обязательно встретятся, и поехал.

Час, проведенный в лавке, захлебывающаяся радость человечка, яркий свет в помещении привели к тому, что Кроуэлл впервые за все это время забыл о телохранителях Бишопе и о самом Бишопе.

Мотор ровно жужжал у него под ногами. Он ехал к центру, к студиям, и пытался решить, что делать дальше. Почувствовав вдруг любопытство, протянул руку к коробкам на заднем сиденье и вытащил первое, что попало. Курительная трубка, всего-навсего. От одного ее вида ему захотелось курить, и он достал из вшитого в блузу кисета табак, набил трубку и с опаской, осторожно ее закурил. С шумом выпустил дым. Просто блеск. Трубка что надо!

Он курил, позабыв обо всем на свете, когда увидел что-то в зеркале заднего обзора. За ним следовали два черных «жука». Точно, те самые — черные как ночь, с мощными двигателями.

Кроуэлл мысленно выругался и прибавил скорость. Черные машины приближались. Двое убийц в одной, двое — в другой.

Не остановиться ли и не сказать ли им, что он их босса держит заложником?

В руках убийц в низких машинах поблескивали пистолеты. Такие типы сперва стреляют, а уж потом разговаривают. Нет, к этому он готов не был. Он-то рассчитывал укрыться в надежном месте, позвонить им и предъявить ультиматум. Но чтобы... такое?

Машины неотвратно приближались.

Кроуэлл нажал на педали. На лбу выступили и наперегонки побежали вниз капельки пота. Ну и влип же он!

Зря он, пожалуй, поторопился вернуть штуковину. Очень пригодилась бы сейчас, как пригодилась неожиданно с Бишопом.

— Штуковина... А штучки-дрючки?!

У него вырвался ликующий крик.

Протянув руку назад, он начал судорожно рыться в штучках-дрючках, пустяковинках, срундовинках, барахлинках. Похоже, ничего стоящего нет, но он попробует.

— Валяйте, штуковинки, делайте свое дело! Защищайте меня, черт вас побери!

На заднем сиденье что-то забрякало, зазвенело, и что-то металлическое, просвистев у самого уха Кроуэлла, вылетело на прозрачных крыльях наружу, повернуло к преследующему «жуку» и ударилось в ветровое стекло.

Взрыв — зеленое пламя и серый дым.

Трррышка сделала свое дело. Она была сочетанием игрушечного самолетика и артиллерийского снаряда.

Кроуэлл нажал на педаль, и его «жук» снова вырвался вперед. Вторая машина по-прежнему шла за ним. Нет, по доброй воле они от него не отстанут.

— Убейте и этих! — закричал Кроуэлл. — Убейте! Как хотите, но убейте!

Схватив коробку, он вышвырнул все, что в ней было, за окошко, потом продделал тоже с содержимым другой коробки. Что-то сразу поднялось в воздух. Остальное безбидно запрыгало по асфальту.

Два предмета сверкали в воздухе. Две пары ножниц, острых и блестящих — только можно было подумать, будто в каждую пару вставлено по маленькому антигравитационному двигателю. Со свистом разрезая воздух, они понеслись назад, к преследующему черному «жуку».

Блеснув, ножницы влетели в открытые окошки машины.

Черный «жук» вдруг потерял управление, свернул с мостовой на тротуар, ударился на полной скорости в стену, перевернулся один раз, другой, и внезапно его охватило буйное пламя.

Кроуэлл бессильно откинулся на спинку сиденья. Его машина, замедлив ход, повернула за угол и остановилась у тротуара. Он дышал часто-часто. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди.

Теперь, если захочет, может возвращаться домой. Теперь никто не ждет его там, не подстергает в засаде, не

будет останавливать и допрашивать, не будет ему угрожать.

Да, теперь можно возвращаться домой. Странно, но от этой мысли ему не становится ни легче, ни радостней. Наоборот, на душе было темно, уныло, неуютно. До чего же гнусное место этот мир! Во рту у него было противно и горько.

Он поехал домой. Может быть, теперь все будет хорошо? Может быть...

Взяв оставшиеся коробки, он вылез из машины и на лифте поднялся на свой этаж. Открыл дверь, поставил коробки на стол и начал разбирать то, что в них было.

Новая трубка снова была у него в зубах. Некоторое время назад он машинально взял ее в рот. Нервы. Нужно закурить, тогда успокоишься.

Он набил трубку свежим табаком и раскурил ее. А вообще, только псих мог отдать незнакомому человеку все это добро. Опасно, когда такое попадает неизвестно в чьи руки. Всякая сомнительная публика может получить свободный доступ к этим вещам, может использовать их в своих целях.

Рассмеявшись, он затанулся снова.

Теперь он кум королю. Эти матерые дельцы из «Пластикс инкорпорейтед» будут ходить перед ним на задних лапках, будут платить ему деньги, будут, черт бы их побрал, выполнять каждое его желание — добиться этого ему помогут маленький хозяин и его товар.

А вообще-то, со всеми этими делами будет уйма хлопот. Он сел и задумался, и душу его снова заполнил мрак, как повторялось уже многие годы. Опять приступ хандры.

Чего можно добиться в этом мире? Чего ради он живет? Ох, и устал же он!

Иногда, вот как сегодня ночью и столькими другими ночами за все прошедшие долгие годы, мелькала мысль: а неплохо было бы, если бы люди с пистолетами догнали его и по самую макушку начинили параличом. Иногда, будь у него в руке пистолет, *он бы и сам себе разнес череп.*

Внезапный взрыв. Кроуэлл поднялся. Замер. Упал на колени.

Он совсем забыл о трубке у себя во рту — забыл о том, что у него во рту чепушинка.

Способ, каким она ему об этом напомнила, привел, как это ни прискорбно, к фатальным последствиям.

TYRANNOSAURUS REX

Он открыл дверь в тьму. Чей-то голос крикнул:

— Ну, закрывай же!

Его словно ударили по лицу. Он рванулся внутрь. Дверь за ним хлопнула. Он тихо выругался. Тот же голос полупроговорил-полупропел страдальчески:

— О, боже! Ты и есть Тервиллиджер?

— Да, — ответил Тервиллиджер.

Справа от него, на стене погруженного во мрак зала, смутным призраком маячил экран. Слева плясало в воздухе маленькое красноватое пятнышко — это двигалась зажата в губах сигарета.

— Ты на пять минут опоздал!

«А сказал ты это так, будто я опоздал не на пять минут, а на пять лет», — подумал Тервиллиджер.

— Сунь свою пленку в аппаратную. Ну, пошевеливайся! Тервиллиджер прищурился.

Он разглядел пять глубоких кресел, четыре из них заполняла администраторская плоть, и она, тяжело дыша и отдуваясь, переливалась через подлокотники к пятому креслу, посередине, где, почти в полной темноте, сидел и курил мальчик.

«Нет, — подумал Тервиллиджер, — не мальчик. А сам Джо Кларенс. Кларенс Великий.»

Крошечный рот, выдувая дым, дернулся, как у марионетки:

— Ну?

Неуверенно ступая, Тервиллиджер двинулся к кинемеханику и отдал ему коробку с пленкой; кинемеханик, сделав в сторону кресел непристойный жест, подмигнул Тервиллиджеру и захлопнул за ним дверь.

— Господи! — вздохнул тонкий голос. Зазвенел звонок. — Аппаратная, начинай!

Тервиллиджер протянул руку к ближайшему креслу, ткнулся в мягкое и живое, отпрянул и, кусая губы, остался стоять.

С экрана в зал прыгнула музыка. Под громовые раскаты начался фильм:

TYRANNOSAURUS REX: ГРОЗНЫЙ ЯЩЕР
ОБЪЕМНО-МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
КУКЛЫ И СЪЕМКА ДЖОНА ТЕРВИЛЛИДЖЕРА
ПОПЫТКА ВОСПРОИЗВЕСТИ ФОРМЫ ЖИЗНИ, СУЩЕСТВОВАВ-
ШИЕ НА ЗЕМЛЕ ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Детские ручки в среднем кресле чуть слышно, иронически зааплодировали.

Тервиллиджер закрыл глаза. Новая музыка с экрана вырвала его из забытья. Титры растаяли в мире первобытного солнца, ядовитого дождя и буйной, девственной растительности. Ключья утреннего тумана лежали по берегам всчнных морей, и огромные летающие кошмары снова и снова, как коса, срезали ветер. Громадные треугольники из морщинистой кожи и костей, с алмазами глаз и неровными желтыми зубами, птеродактили, эти воздушные змеи, запущенные в небо самим злом, падали на добычу, хватали ее и, почти не поднимаясь над землей, уносили в ножницах ртов свои жертвы и их предсмертные крики.

Тервиллиджер смотрел как зачарованный.

В густых зарослях что-то вздрагивало, трепыхалось, ползло, дергало усиками, и одна лоснящаяся слизь внутри другой, под роговой броней вторая броня; в тени и на полянах двигались рептилии, населявшие безумное, пришедшее к Тервиллиджеру от далеких предков воспоминание о мести, обретшей плоть, и о паническом бегстве в воздух.

Бронтозавр, стегозавр, трицератопс. Как легко падают с губ тяжеловесные тонны этих названий!

Уродливыми машинами войны и разрушения гигантские чудовища шли через овраги с поросшими мхом склонами, каждым шагом своим растаптывали тысячу цветов, рыли мордами туман, пронзительными криками раздирали пополам небо.

«Красавцы мои, — думал Тервиллиджер, — маленькие мои красавчики! Все из жидкого латекса, губчатой резины, стальных костей на подшипниках; все приснившиеся, из глины вылепленные, гнутые и паяные, склепанные, шлепком ладони в жизнь посланные! Половина их величиной с мой кулак, остальные не крупнее этой вот головы, из которой они появились».

— О боже! — сказал кто-то, тихо и восторженно, в темноте.

Часы, дни, месяцы подряд, шаг за шагом, кадр за кадром, он, Тервиллиджер, проводил созданных им животных через последовательности поз, двигал каждое на крошечную долю дюйма, снимал, передвигал еще на волосок, снимал снова — и теперь диковинные образы, на каких-нибудь восьмистах футах пленки, проносились через проектор.

«Какое чудо! — думал Тервиллиджер. — Это будет новым для меня всегда. Посмотрите только! Ведь они ж и в ы е! Резина, сталь, каучук, глина, чешуя из латекса, стеклянный глаз, клык из фарфора, прыг-скок, топ-топ —

и, шагом гордым, по материкам, еще ноги не знавшим человечей, по берегам морей, еще солеными не ставших, как будто не прошло с тех пор миллиарда лет. Они в правду дышат! Они в правду мечут громы и молнии! Как жутко! Такое чувство, будто это собственный мой Сад, и в нем сотворенные мной животные, которых я возлюбил в этот День Шестой, а завтра, в День Седьмой, я отдохну».

— О боже! — снова произнес тихий голос.

Тервиллиджер едва не отозвался: «Да, я слышу».

— Это великолепная лента, мистер Кларенс, — продолжал голос.

— Возможно, — сказал человек с голосом мальчика.

— Правдоподобно до невероятности.

— Я видел лучшие, — сказал Кларенс Великий.

Все в Тервиллиджере напряглось. Он отвернулся от экрана, где его друзья скатывались в небытие, где гибли одно за другим, как на скотобойне, существа высотой с двухэтажный дом. Впервые он оглядел своих возможных работодателей.

— Материал великолепный.

Похвала исходила от старика, сидевшего в стороне, отдельно; подавшись вперед, он изумленно, во все глаза, глядел на эту древнюю жизнь.

— Идет рывками. Вон, посмотрите! — Странный мальчик в среднем кресле привстал, показывая на экран зажатой во рту сигаретой. — Уж это кадр хуже некуда. Вы что, не видите?

— Да, — ответил, внезапно устало, старик, откидываясь назад и сливаясь снова с креслом, на котором сидел. — Вижу.

Тервиллиджера задушил жаркий гнев, потом утопил его в быстрине своей крови.

— Идет рывками, — повторил Джо Кларенс.

Белый экран, мельканье цифр, темнота; музыка оборвалась, чудовища исчезли.

— Наконец-то! — Джо Кларенс выдохнул дым. — Уже обед скоро. Следующую, Уолтер! Все, Тервиллиджер. — Молчание. — А, Тервиллиджер? — Молчание. — Этот кретин все еще здесь?

— Здесь. — Тервиллиджер изо всех сил вдавил кулаки себе в поясницу.

— О, — сказал Джо Кларенс. — Вообще неплохо. Но не воображай, что деньги потекут рекой. Вчера приходило больше десятка парней, так они показывали материал не хуже, а то и лучше твоего — все пробы для нашего нового

фильма «Доисторическое чудовище». Оставь заявку в конверте у секретаря. Выходи в ту же дверь, в какую вошел. Уолтер, какого дьявола ты ждешь? Крути новую!

В темноте Тервиллиджер ободрал ноги о кресло, с трудом нащупал ручку двери, сжал ее крепко.

За спиной у него взорвался экран: потоками мелких камней падала лавина, целые города из гранита, огромные мраморные здания вставали, рассыпались, стекали вниз. В громе падающих камней он расслышал голоса, которые прозвучат через неделю: «Мы заплатим тебе тысячу долларов, Тервиллиджер». — «Но мне нужна тысяча только на одно оборудование!» — «Подумай хорошенько, это для тебя шанс. Хочешь — воспользуйся им, не хочешь — твое дело!»

И слушая, как гром замирает, он уже знал, что воспользуется, и знал, что сделает это с отвращением.

Только когда молчание у него за спиной поглотило лавину всю без остатка и замедлила ход в сердце, домчавшись до неизбежного решения, собственная его кровь, только тогда потянул на себя Тервиллиджер невероятно тяжелую дверь и шагнул в ужасающий, безжалостный свет дня.

Припаяй гибкий позвоночник к извивающейся длинной шее, насади на нее самодельный маленький череп, закрепи на шарнирах нижнюю челюсть, оклей губчатой резиной смазанный в суставах скелет, обтяни пестрой кожей, которую не отличить от настоящей змеиной, заделай тщательно швы, и потом в мире, где безумие, пробудившись от сна, видит перед собой другое безумие, еще более немыслимое, он встанет торжествуя на дыбы.

Из света электрического солнца вниз скользнули руки Творца. Они опустили чудовище с пятнистой змеиной кожей в сделанную зеленую чашу, повели через кишашщее бактериями варево. Механический ящер среди всего этого безмолвного ужаса чувствовал себя великолепно. Со слепых небес доносился голос Творца, сад вибрировал от старого монотонного напева: стопу... к голени, голень... к колену, колено... к бедру, бедро...

Дверь распахнулась.

Словно отряд бойскаутов ворвался в комнату — это вбежал Джо Кларенс. С таким видом, будто в комнате никого нет, он дико огляделся вокруг.

— О господи! — завопил он. — Так у тебя, оказывается, еще не все готово? Это стоит мне денег!

— Не стоит ничего, — сухо сказал Тервиллиджер. — Мне заплатят те же деньги, сколько бы я времени ни потратил.

Шаг, остановка, шаг, остановка: так, дергаясь, Джо Кларенс к нему приблизился.

— В общем, поторапливайся. И сделай пострашней, чтоб дрожь пробирала.

Тервиллиджер стоял на коленях возле своих миниатюрных джунглей. Глаза его были вровень с глазами продюсера, и Тервиллиджер спросил:

— Сколько футов крови и предсмертных мук вы хотите?

— Две тысячи футов одного и столько же другого! — Кларенс рассмеялся прерывисто, будто всхлипывая. — Дай-ка я посмотрю.

Он схватил ящера.

— Осторожней!

— Осторожней? — Кларенс небрежно и равнодушно вертел страшилище в руках. — Разве чудовище не мое? В контракте...

— В контракте сказано, что вы используете эту куклу для рекламы фильма, но вернете мне, когда фильм будет выпущен.

— Черт-те что написали! — Кларенс махнул рукой, в которой держал чудовище. — Это неправильно. Всего четыре дня как мы подписали контракты, и...

— Кажется, будто прошло уже четыре года. — Тервиллиджер потер глаза. — Я две ночи не ложился, доделывал эту тварь, чтобы можно было скорее начать съемки.

Кларенс не снизошел до ответа.

— К черту такой контракт! Какая гнусность! Чудовище мое. От тебя и твоего агента у меня сердечные приступы. Приступы из-за денег, приступы из-за оборудования, приступы из-за...

— Кинокамера, которую вы мне дали, старая-престарая.

— Ну так чини ее, если она ломается, ведь руки у тебя есть? Пошевели мозгами — в том-то весь и фокус, чтобы обойтись без денег. Возвращайся к делу: тварь — и это должно было быть оговорено в условиях — моя и только моя.

— Я никогда не отдаю свои изделия во владение другим, — отрезал Тервиллиджер. — Слишком много времени и чувств в них вложено.

— Ладно, черт побери, мы накидываем тебе за зверюгу еще пятьдесят долларов и оставляем тебе — бесплатно! — когда фильм будет готов, камеру и прочее оборудование, договорились? Открывай тогда собственное дело. Конкури-

руй со мной, сведи со мной счеты при помощи моего же оборудования! — Кларенс рассмеялся.

— Если оно до этого не развалится, — сказал Тервиллиджер.

— И еще. — Кларенс поставил куклу на пол и обошел вокруг нее. — Мне это чудовище не нравится.

— Не нравится?! Чем? — взвыл Тервиллиджер.

— Физиономией. Больше огня нужно, больше... свирепости. Больше злости!

— Злости?

— Да, люто! Пусть выпучит сильнее глаза. Круче вырез ноздрей. Острее зубы. Язык вперед, оба конца. Ты сумсешь! Э-э... так, значит, чудовище не мое, а?

— Нет, оно мое.

Тервиллиджер поднялся на ноги.

Теперь вровень с глазами Джо Кларенса была пряжка его ремня. Несколько мгновений продюсер смотрел на блестящую пряжку как загнипнотизированный.

— Будь прокляты эти чертовы юристы!

Он бросился к двери.

— Работай!

Чудовище ударилось в дверь через долю секунды после того, как она захлопнулась.

Рука Тервиллиджера на несколько мгновений застыла в воздухе. Потом плечи его осели. Он пошел к своему красавчику и его поднял. Открутил голову, содрал с нее латексовую плоть, положил череп на подставку и кропотливо начал лепить из глины заново доисторическую морду ящера.

— Побольше свирепости, — бормотал он сквозь зубы. — И злости.

Фильм с переделанным чудовищем просматривали через неделю.

Когда кончилось, Кларенс в темноте чуть заметно кивнул.

— Лучше. Но... пострашнее надо, чтобы кровь стыла в жилах. Чтобы тетя Джейн напугалась до смерти. Новый эскиз, и переделать заново!

— Я уж и так опаздываю на неделю, — запротестовал Тервиллиджер. — Вы все приходите и требуете, меняй то, меняй это, и я меняю, один день хвост никуда не годится, другой — когти...

— Уж ты-то сумеешь порадовать, — сказал Кларенс. — В бой, художник!

В конце месяца просмотрели новый вариант.

— Почти в точку! Чуть-чуть промазал! — сказал Кларенс. — Лицо почти такое, как нужно. Постарайся еще.

Тервиллиджер отправился к себе в мастерскую. Он принялся за эскиз и изобразил пасть динозавра так, как если бы она произносила непристойность, только понять эту непристойность мог тот, кто умеет читать по губам. Потом, взяв глину, Тервиллиджер принялся за работу и оторвался от страшной головы только в час ночи.

— Наконец то, что надо! — закричал Кларенс в просмотровом зале на следующей неделе. — Идеально! Вот это настоящее чудовище!

Он наклонился к старику, своему юристу, мистеру Глассу, и к Мори Пулу, своему помощнику.

— Вам нравится мое чудовище?

Он сиял.

Такой же длинный, как чудовища, которых он делал, Тервиллиджер, бессильно обмякнув и ссутулившись в заднем ряду, хоть и не увидел, но почувствовал, как старый юрист пожал плечами.

— Да они все одинаковые.

— Да, да, но это все же какое-то особенное! — захлебывался Кларенс. — Даже я готов признать: Тервиллиджер гений!

Все повернулись и снова, уставившись на экран, стали смотреть, как исполинская тварь, словно вальсируя, широко размахнулась своим острым как бритва хвостом и сняла им зловещий урожай травы и цветов. Потом остановилась и, обглаживая красную кость, устремила задумчивый взгляд в туман.

— Это чудовище... — сказал наконец, прищурившись, мистер Гласс. — Кого-то оно напоминает.

— Напоминает? — Тервиллиджер повернулся, весь внимание.

— У него такой вид... — протянул в темноте мистер Гласс. — Похоже, я его где-то встречал.

— Среди экспонатов Музея естествознания?

— Нет, не там.

— Может, — рассмеялся Кларенс, — когда-то случилось чудо и ты осилил какую-то книгу, Гласс?

— Удивительно... — Гласс, ничуть не задетый, наклонил набок голову, закрыл один глаз. — Я, как сыщик, никогда не забываю лиц. Но этот *Tyrannosaurus Rex*... где же я его видел?

— Да не все ли равно? — Кларенс сорвался с места. — Он потрясающий! И только потому, что я, добиваясь

результата, пинал Тервиллиджера ботинком в зад. Мори, пошли!

Когда дверь закрылась, мистер Гласс повернулся к Тервиллиджеру и на него посмотрел. Не отводя от Тервиллиджера взгляда, он окликнул негромко киномеханика:

— Уолт! Уолтер! Будь добр, покажи нам зверюгу снова!

— О чем разговор!

Тервиллиджер заерзал, чувствуя, что какая-то невидимая сила становится одинаково зримой в темноте и в резком свете, выстрелившем снова для того, чтобы от экрана в зал рикошетом отлетел ужас.

— Д-да. Точно, — размышлял вслух мистер Гласс. — Еще немного, и вспомню. Еще немного, и узнаю. — Но... кто?

Словно услышав его голос, чудовище повернулось, и на какой-то миг презрительный взгляд его, пройдя сквозь сто тысяч миллионов лет, остановился на двух человечках, прячущихся в темной комнате. Машина смерти прогрохотала свое имя.

Словно для того, чтобы расслышать, мистер Гласс подался вперед.

Все поглотила тьма.

Месяца через два с половиной после начала работы над фильмом, когда картина была уже наполовину готова, Кларенс позвал кое-кого из своих служащих и несколько друзей, всего человек тридцать, посмотреть черновой вариант фильма.

Фильм шел уже пятнадцать минут, когда по рядам небольшого зала пробежал приглушенный возглас удивления.

Обернувшись, Кларенс окинул всех молниеносным взглядом.

Мистер Гласс, в соседнем кресле, окаменел.

Сам не зная почему, Тервиллиджер с самого начала остался около выхода; он не понимал, откуда его тревога, но ничего не мог с собой поделать. Не снимая руки с ручки двери, он следил за тем, что происходит в публике.

Еще одно приглушенное восклицание пробежало по рядам.

Кто-то негромко рассмеялся. Хихикнула какая-то секретарша. Потом воцарилось молчание.

Ибо Джо Кларенс вскочил с места.

Его маленькая фигурка рассекла экран. Несколько мгновений в темноте жестикулировали два образа: тираннозавр, отрывающий ногу у птеранодона, и Кларенс,

вопящий, бросающийся на экран, как будто он хотел схватиться с этими неправдоподобными тварями.

— Стой! Остановись на этом кадре!

Лента остановилась. Изображение застыло.

— Что случилось? — спросил мистер Гласс.

— Случилось? — Казалось, будто Кларенс хочет закрыть собой экран. Он вытянул свою детскую ручку насколько мог вверх, ткнул в грозную челюсть, в глаз, в клыки, в лоб, потом повернулся лицом к ослепляющему свету проектора и его пышущие яростью щеки покрылись чешуей пресмыкающегося. — Что здесь происходит? Ч то это такое?

— Чудовище, шеф, что же еще?

— Как же, чудовище! — Кларенс застучал по экрану кулачком. — Это я!

Половина присутствующих наклонилась вперед, половина откинулась назад, двое вскочили на ноги, и один из двоих, мистер Гласс, жмурясь и судорожно нащупывая в кармане вторую пару очков, простонал:

— Так вот где я его видел раньше!

— Что-что вы раньше?

Не разжимая век, мистер Гласс потрянул головой.

— Это лицо... я так и знал, что оно знакомое.

В зале подул ветер.

Все обернулись. Дверь была распахнута настежь.

Тервиллиджер исчез.

Они нашли Тервиллиджера в мастерской — он очищал рабочий стол, сбрасывая все в большую картонную коробку, и под мышкой у него была зажата кукла тираннозавра. В комнату ворвалась небольшая толпа во главе с Кларенсом, и Тервиллиджер поднял голову и посмотрел на них.

— Чем я заслужил это? — взвизгнул Кларенс.

— Простите меня, мистер Кларенс.

— «Простите»! Разве я мало тебе платил?

— По правде говоря, мало.

— Водил тебя обедать...

— Один раз. Счет оплатил я.

— Приглашал тебя к себе ужинать, ты купался в моем бассейне, и за все это... Ты уволен!

— Я и так уволен, мистер Кларенс. Последнюю неделю я работал бесплатно и сверхурочно, вы забыли выписать мне чек...

— Все равно ты уволен, да, уволен, по-настоящему! И никто в Голливуде тебя больше не возьмет. Мистер

Гласс! — Кларенс повернулся на пятках, ища глазами старика. — Подайте на него в суд!

— Нечего, — сказал Тервиллиджер, и больше он уже не поднимал на них глаз, а смотрел вниз, на вещи, которые укладывал, — нечего вам у меня высуживать. Деньги? Того, что вы мне платили, и на жизнь-то едва хватало — куда уж там откладывать! Дом? Я никогда не мог купить сго. Жenu? Всю жизнь я работаю на таких, как вы. Так что жены исключаются. Я человек ничем не обремененный. Мне вы ничего не сделаете. Наложите арест на моих динозавров — заруюсь в каком-нибудь захолустье, куплю латекса, наберу речной глины, металлических трубок и сделаю новых чудовищ. Накуплю пленки. У меня есть старая цейтраферная кинокамера. Отнимите ее — собственными руками сделаю новую. Я умею делать все. Поэтому я вас не боюсь.

— Ты уволен! — завизжал Кларенс. — Смотри на меня. Не отводи глаза в сторону. Ты уволен! Ты уволен!

— Мистер Кларенс, — сказал мистер Гласс, незаметно подвигаясь ближе. — Позвольте мне поговорить с ним минутку.

— Еще с ним говорить! — фыркнул Кларенс. — А какой толк? Вот, смотрите, стоит с чудовищем под мышкой, и проклятая тварь похожа на меня как две капли воды — так пропустите меня!

Кларенс пулей вылетел в коридор. За ним последовала свита.

Мистер Гласс затворил дверь, подошел к окну и посмотрел на чистое, но уже темнеющее небо.

— Хоть бы дождь пошел, — сказал он. — Вот с чем я никак не могу примириться в Калифорнии. Хоть бы прослезилась, поплакала. Вот прямо сейчас, чего бы я не дал за что-нибудь, хотя бы самое пустячное, с этого неба? Ну, за вспышку молнии, на худой конец.

Он замолчал, продолжая стоять, а Тервиллиджер стал укладывать вещи медленней. Мистер Гласс опустил в кресло и, водя карандашом в блокноте, заговорил печально, вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

— Шесть частей фильма, совсем неплохие шесть частей, готовая половина картины, трехсот тысяч долларов как не бывало, здравствуй и прощай. Все, кто был занят в фильме, теперь на улице. Кто накормит голодные рты, накормит мальчиков и девочек? Кто объяснит все акционерам? Кто уместит «Американский банк»? Есть желающие сыграть в русскую рулетку?

Он повернулся и стал смотреть, как Тервиллиджер защелкивает замки портфеля.

— Что содеял Господь?

Внимательно разглядывая свои руки, поворачивая их, словно хотел увидеть, из чего они сделаны, Тервиллиджер сказал:

— Я не знал, что у меня так получилось, клянусь. Пальцы как-то сами по себе... Бессознательно от начала до конца. Мои пальцы все делают сами. Сделали и на этот раз.

— Лучше бы эти пальцы явились ко мне в кабинет и взяли меня за горло, — сказал Гласс. — Ничего напоминающего замедленную съемку я никогда не любил. Жизнь, да и смерть тоже, я всегда представлял себе как игровой автомат «Пенсильванская полиция», когда полицейские мчатся на третьей скорости. Это подумать только: на нас наступило резиновое чудовище! Мы теперь как зрелые томаты — дави и запаивай сок в банки!

— Перестаньте, я и так уже чувствую себя виноватым дальше некуда, — сказал Тервиллиджер.

— А чего вы хотите? Чтобы я пригласил вас с собой на танцы?

— Вообще получилось справедливо! — вырвалось у Тервиллиджера. — Ведь он мне не давал покоя. Сделай так. Сделай этак. Выверни наизнанку, говорит он, переверни вверх тормашками. Я проглатывал свою желчь. Все время злился. И, наверно, сам того не замечая, изменил лицо чудовища. Но понял я это только пять минут назад, когда поднял крик мистер Кларенс. Во всем виноват я один.

— Нет, — вздохнул мистер Гласс, — странно, как этого не видели мы все. А может, и видели, но не хотели в этом себе признаться. Может, видели и смеялись во сне всю ночь напролет, тогда, когда нам самих себя не слышно. Ну и в каком мы теперь положении? Если говорить о мистере Кларенсе, то он вложил деньги, а ими не бросаются. Вам надо подумать о своей будущей карьере — хорошо ли она сложится, плохо ли, но этим тоже не бросаются. Сейчас, в эту самую секунду, мистер Кларенс жаждет одного: поверить, что все это лишь страшный сон и ничего более. Жажда эта, девяносто девять ее процентов, терзает прежде всего его бумажник. И если вы сможете в ближайший час потратить всего один процент своего времени и убедить его в том, о чем я вам сейчас скажу, умоляющие глаза не будут завтра утром смотреть на нас из объявлений «ищу работу» в «Голливудском репортере» и «Варьете». Если бы вы пошли и сказали ему...

— Сказали мне что? — Джо Кларенс, вернувшийся, стоял в дверях, и щеки его по-прежнему пылали.

— Да то, что он только что сказал мне, — спокойно повернулся к нему мистер Гласс. — Очень трогательная история.

— Я слушаю!

— Мистер Кларенс. — Старый юрист тщательно взвешивал каждое слово. — Фильмом, который вы только что видели, мистер Тервиллиджер выразил уважение и восхищение, которые вы в нем вызываете.

— Выразил что?! — крикнул Кларенс.

У обоих, и у Кларенса и у Тервиллиджера, отвисла челюсть.

Устремив взгляд в стену и, если судить по голосу, робея, старый юрист спросил:

— Я... могу продолжать?

Рот Тервиллиджера закрылся.

— Как хотите.

— Этот фильм, — юрист встал и взмахом руки показал в сторону просмотрового зала, — родился из чувства глубокого уважения и дружбы к вам, Джо Кларенс. За своим письменным столом, невоспетый герой кинопромышленности, невидимый, никому не известный, вы влачите свою незаметную одинокую жизнь, а кому достается слава? Звездам. Часто ли бывает, что где-нибудь в Атаванда Спрингс, штат Айдахо, человек говорит жене: «Знаешь, вчера вечером я думал о Джо Кларенсе — замечательный все-таки он продюсер»? Скажите, часто? Хотите, чтобы я сам сказал? Да никогда вообще! И Тервиллиджер стал думать: как представить миру настоящего Кларенса? Он посмотрел на динозавра, и — бах! — Тервиллиджера озаарило! «Да вот же оно, то, что надо, — подумал он, — у мира поджилки затрясутся от ужаса, вот одинокий, гордый, удивительный, страшный символ независимости, могущества, силы, животной хватки, истинный демократ, индивидуальность на вершине своего развития», — сверкает молния, гремит гром. Динозавр: Джо Кларенс. Джо Кларенс: динозавр. Человек, воплотившийся в Ящера-Тирана!

Дыша тихо и прерывисто, мистер Гласс сел.

Тервиллиджер хранил молчание.

Наконец Кларенс двинулся с места, пересек мастерскую, медленно обошел вокруг Гласса, потом бледный, остановился перед Тервиллиджером. По высокой, худой как скелет фигуре взгляд его пополз вверх, и глаза говорили о неловкости, которую он испытывает.

— Ты так сказал? — спросил он чуть слышно.

Казалось, что Тервиллиджер попытается что-то проглотить.

— Сказал мне. Он страшно застенчивый, — бойко заговорил мистер Гласс. — Слышали вы когда-нибудь, чтобы он много разговаривал, огрызался, ругался? Или что-нибудь подобное? Он не утверждает, что очень любит людей. Но увековечить? Это пожалуйста!

— Увековечить? — переспросил Кларенс.

— А что еще? — сказал старик. — Воздвигнуть памятник, только движущийся. Пройдет много лет, а люди будут говорить: «Помните тот фильм, «Чудовище из плейстоцена»?» И другие ответят: «Ну конечно! А что?» — «А то, — скажут первые, — что только это чудовище, только этот зверь, один за всю историю Голливуда, был по-настоящему крепок духом, по-настоящему мужествен». Почему? Да потому, что у одного гения хватило гениальности взять прообразом этой твари подлинного, хваткого, умного бизнесмена самого крупного калибра. Вы войдете в историю, мистер Кларенс. Будете широко представлены во всех фильмотеках. Киноклубы будут заказывать вас без конца. Чей успех мог бы сравниться с вашим? Иммануэлю Глассу, юристу, такого не дожидаться. Каждый день в ближайшие двести, пятьсот лет где-то на земле будет идти фильм, в котором главная роль — ваша!

— Каждый день? — тихо переспросил Кларенс. — в ближайшие...

— Может, даже восемьсот, почему бы и нет?

— Я никогда об этом не думал.

— Так подумайте!

Кларенс подошел к окну и устремил взгляд на холмы Голливуда; наконец он кивнул.

— Боже, Тервиллиджер, — сказал он. — Я и в самом деле так вам нравлюсь?

— Трудно выразить словами, — ответил, запинаясь, Тервиллиджер.

— Ну, так создадим мы или нет это потрясающее зрелище? — спросил Гласс. — Зрелище, где в главной роли, шагая по земле и повергая всех в дрожь, выступает Его Величество Ужас — сам мистер Джозеф Дж.Кларенс!

— Да. Конечно. — Кларенс побрел, ошеломленный, к двери, около нес заговорил снова: — Знаете что? Я всегда хотел быть актером!

Он вышел в коридор и неслышно закрыл за собой дверь.

Тервиллиджер и Гласс стукнулись друг о друга, когда, кинувшись к письменному столу, вцепились жадными пальцами в один и тот же ящик.

— Уступи дорогу старшему, — сказал юрист и сам извлек из стола бутылку виски.

В полночь, после того как кончился закрытый просмотр «Чудовища из каменного века», мистер Гласс вернулся в студию, где все должны были собраться, чтобы отпраздновать выпуск фильма, и обнаружил Тервиллиджера в его мастерской — он сидел один, и динозавр лежал у него на коленях.

— Вас там не было? — изумился мистер Гласс.

— Я не решился. Скандал был грандиозный?

— Скандал?! В восторге, все до единого! Чудовища прелестней не видел никто и никогда! Уже говорилось о новых сериях. Джо Кларенс — Ящер-Тиран в «Возвращении чудовища каменного века», Джо Кларенс — тираннозавр в... ну, скажем, «Звере давно минувших веков» и...

Зазвонил телефон. Тервиллиджер взял трубку.

— Тервиллиджер, это Кларенс! Буду через пять минут! Замечательно! Твой зверюга великолепен! Потрясающий! Теперь он мой? То есть к черту контракты, просто как любезность с твоей стороны, могу я получить его и поставить к себе на камин?

— Мистер Кларенс, чудовище ваше.

— Награда лучше «Оскара»! Пока!

Тервиллиджер смотрел на умерший телефон.

— «Благослови нас всех, Господь, — сказал малютка Тим». Он смеется, он в истерике от радости.

— Возможно, я знаю почему, — сказал мистер Гласс.

— После просмотра у него попросила автограф девочка.

— Автограф?

— Сразу как он вышел, прямо на улице. Заставила его подписать свое имя. Первый автограф в его жизни. Он смеялся, когда писал. Его узнали! Вот он, перед кинотеатром, Рех собственной персоной, в натуральную величину, так пусть подписывается! Он и подписал.

— Подождите, — медленно проговорил Тервиллиджер, наливая виски себе и Глассу. — Эта девочка...

— Моя младшая дочь, — сказал Гласс. — Так что кто узнает? И кто расскажет?

Они выпили.

— Не я, — сказал Тервиллиджер.

Потом один из них взял динозавра за правую переднюю лапу, другой за левую, и, прихватив с собой виски, они вышли к воротам студии ждать, когда появятся лимузины — в фейерверке огней, гудков и радостных вестей.

УБИЙЦА

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Поцелуй еще разок!» Он повернул за угол, «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только вас не хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр.

И нахмурился. Что-то в комнате не так. Он ощутил это еще с порога. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? Просто я кокнул радио. «Буйный», — подумал врач.

Арестант прочел его мысли, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые тавкают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде чем мы начнем... — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверно, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке, «Мне плевать, что станется со мною!», — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой, одной из первых был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

— М-мм, — промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажется уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага.

И потом телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует: позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет; жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штук, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старине Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом кто-то орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуete в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так: вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я и поступил, как надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! То-то была потеха! Стенографистки забежали, как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило, я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Друзьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-Хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас

выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». — «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы выбрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт побери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

— И что же дальше? — помолчав, спросил врач.

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь, и чувствую — в ушах мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался, это была Свобода!

— Продолжайте!

— Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую... А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А

репродуктор орст «Сказки венского леса» — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. *Ти-ши-на!* Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома, — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия!

— А я так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край! Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не смогла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стихи, пересказывает романы, звякает, брякает,

напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» — или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с сигареты — мигом всосет. О боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать!» Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую середку механической яичницы, и плите пришел конец. Ох, как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Потом зазвонил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно: я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление, и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил коварную бестию телевизор. Это Медуза: каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, это сирена — поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять бы это проделал, верное слово.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, оттого, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мос имя войдет в историю!

— Гм-м... — психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось, и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению, и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пасакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно

раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка, и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

— Вы хотите убить свою жену? — спросил темноволосый человек, сидевший за письменным столом.

— Да. То есть нет... не совсем так. Я хотел бы...

— Фамилия, имя?

— Ее или мои?

— Ваши.

— Джордж Хилл.

— Адрес?

— 11, Саут Сент-Джеймс, Гленвью.

Человек бесстрастно записывал.

— Имя вашей жены?

- Кэтрин.
- Возраст?
- Тридцать один.

Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, любимые духи, какая она на ощупь, размер одежды...

— У вас есть ее стереофотоснимок? А пленка с записью голоса? Ага, я вижу, вы принесли. Хорошо. Теперь...

Прошел целый час. Джорджа Хилла уже давно прошиб пот.

— Все, — темноволосый человек встал и строго посмотрел на Джорджа. — Вы не передумали?

— Нет.

— Вы знаете, что это противозаконно?

— Да.

— И что мы не несем никакой ответственности за возможные последствия?

— Ради бога, кончайте скорей! — крикнул Джорж. — Вон уже сколько вы меня держите. Делайте скорее!

Человек еле заметно улыбнулся.

— На изготовление куклы-копии вашей жены потребуются три часа. А вы пока вздремните — это вас немного успокоит. Третья зеркальная комната, слева по коридору, свободна.

Джордж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться зеркала на потолке. Нежный голос запел: «Спи... спи... спи...»

— Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты заставила меня... Господи, я не хочу тут оставаться. Хочу домой... Не хочу убивать тебя... — сонно бормотал Джордж.

Зеркала бесшумно вращались и сверкали.

Он уснул.

Он видел во сне, что ему снова сорок один год, он и Кэти бегают по зеленому склону холма, они прилетели на пикник, и их вертолет стоит неподалеку. Ветер развеивает золотые волосы Кэти, она смеется. Они с Кэти целуются и держат друг друга за руки и ничего не едят. Они читают стихи; только и делают, что читают стихи.

Потом другие картины. Полет, быстрая смена красок. Они летят над Грецией, Италией, Швейцарией — той часной, долгой осенью 1997 года! Летят и летят без остановок!

И вдруг — кошмар. Кэти и Леонард Фелпс. Джордж вскрикнул во сне. Как это случилось? Откуда вдруг взялся

Фелпс? Почему он вторгся в их мир? Почему жизнь не может быть простой и доброй? Неужели все это из-за разницы в возрасте? Джорджу под пятьдесят, а Кэти молода, так молода! Почему? Почему?..

Эта сцена навсегда осталась в его памяти. Леонард Фелпс и Кэти в парке, за городом. Джордж появился из-за поворота дорожки как раз в тот момент, когда они целовались.

Ярость. Драка. Попытка убить Фелпса.

А потом еще дни и еще кошмары... Джордж проснулся в слезах.

— Мистер Хилл, для вас все приготовлено.

Неуклюже он поднялся с кушетки. Увидел себя в высоких и неподвижных теперь зеркалах. Да, выглядит он на все пятьдесят. Это была ужасная ошибка. Люди более привлекательные, чем он, брали себе в жены молодых женщин и потом убеждались, что они неизбежно ускользают из их объятий, растворяются, словно кристаллики сахара в воде. Он злобно разглядывал себя. Чуть-чуть много живота. Чуть-чуть много подбородка. Многовато соли с перцем в волосах и мало в теле...

Темноволосый человек ввел его в другую комнату.

У Джорджа перехватило дыхание.

— Но это же комната Кэти!

— Фирма старается максимально удовлетворить запросы клиентов.

— Ее комната! До мельчайших деталей!

Джордж Хилл подписал чек на десять тысяч долларов. Человек взял чек и ушел.

В комнате было тихо и тепло.

Джордж сел и потрогал пистолет в кармане. Да, куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь «очищающего убийства». Насилие без насилия. Смерть без смерти. Ему стало легче. Внезапно он успокоился. Он смотрел на дверь. Наконец-то приближается момент, которого он ждал целых полгода. Сейчас все будет кончено. Через мгновение в комнату войдет прекрасный робот, марионетка, управляемая невидимыми нитями. И...

— Здравствуй, Джордж.

— Кэти!

Он стремительно повернулся.

— Кэти! — вырвалось у него.

Она стояла в дверях за его спиной. На ней было мягкое как пух зеленое платье, на ногах — золотые плетеные

сандалии. Волосы светлыми волнами облежали шею, глаза сияли ясной голубизной.

От потрясения он долго не мог выговорить ни слова. Наконец сказал:

— Ты прекрасна.

— Разве я когда-нибудь была иной?

— Дай мне взглянуть на тебя, — сказал он медленно чужим голосом.

Он простер к ней руки, неуверенно, как лунатик. Сердце его глухо колотилось. Он двигался тяжело, будто придавленный огромной толщей воды. Он все ходил, ходил вокруг нее, бережно прикасаясь к ее телу.

— Ты что, не нагляделся на меня за все эти годы?

— И никогда не нагляжусь... — сказал он, и глаза его налились слезами.

— О чем ты хотел говорить со мной?

— Подожди, пожалуйста, немного подожди.

Он сел, внезапно ослабев, на кушетку, прижал дрожащие руки к груди. Зажмурился.

— Это просто непостижимо. Это тоже кошмар. Как они сумели сделать тебя?

— Нам запрещено говорить об этом. Нарушается иллюзия.

— Какое-то колдовство.

— Нет, наука.

Руки у нее были теплые. Ногти совершенны, как морские раковины. И нигде ни малейшего изъяна, ни единого шва. Он глядел на нее и ему вспомнились слова, которые они так часто читали вместе в те счастливые дни: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими... Как лента алая губы твои, а уста твои любезны... Два сосца твоих как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе».¹

— Джордж!

— Что? — Глаза у него были ледяные.

Ему захотелось поцеловать ее.

«...Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана».

— Джордж!

Оглушительный шум в ушах. Комната перед глазами пошла ходуном.

— Да, да, сейчас, одну минуту... — он затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее шум.

¹Здесь и дальше цитаты из Библии («Песнь песней»). — Прим. перев.

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь княжеская! Округление бедер твоих, как ожерелье, творение искусного художника...»

— Как им это удалось? — вскричал он.

Так быстро! За три часа, пока он спал. Как это они расплавили золото, укрепили тончайшие часовые пружинки, алмазы, блески, конфетти, драгоценные рубины, жидкое серебро, медные проволоочки? А ее волосы? Их спряли металлические насекомые? Нет, наверно, золотисто-желтое пламя залили в форму и дали ему затвердеть...

— Если ты будешь говорить об этом, я сейчас же уйду, — сказала она.

— Нет-нет, не уходи!

— Тогда ближе к делу, — холодно сказала она. — Ты хотел говорить со мной о Леонарде.

— Подожди, об этом немного позже.

— Нет, сейчас, — настаивала она.

В нем уже не было гнева. Все как будто смыло волной, когда он ее увидел. Он чувствовал себя гадким мальчишкой.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросила она без улыбки.

— Прошу тебя...

— Нет, отвечай. Если насчет Леонарда, то ты же знаешь, что я люблю его.

— Замолчи! — Он зажал уши руками.

Она не унималась.

— Тебе отлично известно, что я сейчас все время с ним. Я теперь бываю с Леонардом там, где бывали мы с тобой. Помнишь лужайку на Монте-Верде? Мы с ним были там на прошлой неделе. Месяц назад мы летали в Афины, взяв с собой ящик шампанского.

Он облизал пересохшие губы:

— Ты не виновата, не виновата! — Он вскочил и схватил ее за руки. — Ты только что появилась на свет, ты не она. Виновата она, не ты. Ты совсем другая.

— Неправда, — сказала женщина. — Я и есть она. Я могу поступать только так, как она. Во мне нет ни грамма того, чего нет в ней. Практически мы с ней одно и то же.

— Но ты же не вела себя так, как она?

— Я вела себя именно так. Я целовала его.

— Ты не могла, ты только что родилась!

— Да, но из ее прошлого и из твоей памяти.

— Послушай, — умолял он, трясая ее, пытаясь заставить себя слушать, — может быть, можно... может быть,

можно... ну, заплатить больше денег? И увезти тебя отсюда? Мы улетим в Париж, в Стокгольм, куда хочешь!

Она рассмеялась.

— Куклы не продаются. Их дают только напрокат.

— Но у меня есть деньги!

— Это уже пробовали, давным-давно. Нельзя. От этого люди сходят с ума. Даже то, что делается, — незаконно, ты же знаешь. Мы существуем потому, что власти смотрят на нас сквозь пальцы.

— Кэти, я хочу одного — быть с тобой.

— Это невозможно — ведь я та же самая Кэти, вся до последней клетки. А потом, мы остерегаемся конкуренции. Куклы не разрешается вывозить из здания фирмы: при вскрытии могут разгадать наши секреты. И хватит об этом. Я же предупреждала тебя: об этом говорить не надо. Уничтожишь иллюзию. Уходя, будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты ведь заплатил — так делай то, за чем пришел сюда.

— Но я не хочу убивать тебя.

— Часть твоего существа хочет. Ты просто подавляешь в себе это желание, не даешь ему прорваться.

Он вынул пистолет из кармана:

— Я старый дурак. Мне не надо было приходить сюда... Ты так прекрасна!

— Сегодня вечером я снова встречаюсь с Леонардом.

— Замолчи.

— Завтра утром мы улетаем в Париж.

— Ты слышала, что я сказал?

— А оттуда в Стокгольм, — она весело рассмеялась и потрепала его по подбородку. — Так-то, мой толстячок.

Что-то зашевелилось в нем. Он побледнел. Он ясно понимал, что происходит: скрытый гнев, отвращение, ненависть пульсировали в нем, а тончайшие телепатические паутинки в феноменальном механизме ее головы улавливали эти сигналы смерти. Марионетка! Он сам и управлял ее телом с помощью невидимых нитей.

— Пухленький чудачок. А ведь когда-то был красив.

— Перестань!

— Ты старый, старый, а мне ведь только тридцать один год. Ах, Джордж, как же слеп ты был — работал, а я тем временем опять влюбилась... А Леонард просто прелесть, правда?

Он поднял пистолет, не глядя на нее.

— Кэти.

«Голова его — чистое золото...» — прошептала она.

— Кэти, не надо! — крикнул он.

«...Кудри его волнистые и черные, как вороново крыло...
Руки его — золото, украшенное топазами!»

Откуда у нее эти слова «Песни песней»? Они звучат в его мозгу — как же получается, что она их произносит?

— Кэти, не заставляй меня это делать!

«Щеки его — цветник ароматный... — бормотала она, закрыв глаза и неслышно ступая по комнате. — Живот его изваян из слоновой кости... Ноги его — мраморные столпы...»

— Кэти! — взвизгнул он.

Выстрел.

«Уста его — сладость...»

«...Вот кто мой возлюбленный...»

Еще выстрел.

Она упала.

— Кэти, Кэти, Кэти!!!

Он всадил в нее еще четыре пули.

Она лежала и дергалась. Ее бесчувственный рот широко раскрылся, и какой-то механизм, уже зверски изуродованный, заставлял ее повторять вновь и вновь: «Возлюбленный, возлюбленный...»

Джордж Хилл потерял сознание.

Он очнулся от прикосновения прохладной влажной ткани к его лбу.

— Все кончено, — сказал темноволосый человек.

— Кончено? — шепотом переспросил Джордж.

Темноволосый кивнул.

Джордж бессильно глянул на свои руки. Он помнил, что они были в крови. Он упал на пол, когда потерял сознание, но и сейчас в нем еще жило воспоминание о том, что по его рукам потоком льется настоящая кровь.

Сейчас руки его были чисто вымыты.

— Мне нужно уйти, — сказал Джордж Хилл.

— Если вы чувствуете, что можете...

— Вполне. — Он встал. — Уеду в Париж. Начну все сначала. Звонить Кэти и вообще ничего такого делать, наверно, не следует.

— Кэти мертва.

— Ах да, конечно, я же убил ее! Господи, кровь была совсем как настоящая...

— Мы очень гордимся этой деталью.

Хилл спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Лил дождь. Но ему хотелось часами бродить по городу. Он очистился от гнева и жажды убийства. Воспоминание было так ужасно, что он понимал: ему уже

никогда не захочется убить. Даже если настоящая Кэти появилась бы сейчас перед ним, он возблагодарил бы Бога и упал, позабыв обо всем на свете, к ее ногам. Но она была мертва. Он сделал, что собирался. Он поправил закон, и никто об этом не узнает.

Прохладные капли дождя освежали лицо. Он должен немедленно уехать, пока не прошло это чувство очищения. В конце концов, какой смысл в этих «очистительных» процедурах, если снова браться за старое? Главное назначение кукол в том и заключается, чтобы предупреждать реальные преступления. Захотелось тебе избить, убить или помучить кого-нибудь, вот и отведи душу на марионетке... Возвращаться домой нет решительно никакого смысла. Возможно, Кэти сейчас там, а ему хотелось думать о ней только как о мертвой — он ведь об этом должным образом позаботился.

Он остановился у края тротуара и смотрел на проносящиеся мимо машины. Он глубоко вдыхал свежий воздух и ощущал, как постепенно спадает напряжение.

— Мистер Хилл? — проговорил голос рядом с ним.

— Да. В чем дело?

На его руке щелкнули наручники.

— Вы арестованы.

— Но...

— Следуйте за мной. Смит, арестуйте остальных наверху.

— Вы не имеете права...

— За убийство — имеем.

Гром грянул с неба.

Без десяти девять вечера. Вот уже десять дней как льет, не переставая, дождь. Он и сейчас поливает стены тюрьмы. Джордж высунул руки через решетку окна, и капли дождя собирались в маленькие лужицы на его дрожащих ладонях.

Дверь лязгнула, но он не пошевелился, руки его по-прежнему мокры под дождем. Адвокат глянул на спину Хилла, стоявшего на стуле у окна, и сказал:

— Все кончено. Сегодня ночью вас казнят.

— Я не убийца. Это была просто кукла, — сказал Хилл, прислушиваясь к шуму дождя.

— Таков закон, и ничего тут не поделасшь. Вы знаете. Других ведь тоже приговаривали. Президент компании «Марионетки, инкорпорейтед» умрет в полночь, три его помощника — в час ночи. Ваша очередь — половина второго.

— Благодарю, — сказал Хилл. — Вы сделали все, что могли. Видимо, это все-таки было убийство, даже если убил я не живого человека. Намерение было, умысел и план тоже. Не хватало только живой Кэти.

— Вы попали в неудачный момент, — сказал адвокат. — Десять лет назад вам бы не вынесли смертного приговора. Через десять лет вас бы тоже не тронули. А сейчас им нужен предметный урок — мальчик для битья. Ажиотаж вокруг кукол принял за последний год просто фантастические размеры. Надо припугнуть публику, и припугнуть всерьез. Иначе бог знает до чего мы можем докатиться. У этой проблемы есть ведь и религиозно-этический аспект: где начинается — или кончается — жизнь, что такое роботы — живые существа или машины? В чем-то они очень близки к живым: они реагируют на внешние импульсы, они даже мыслят. Вы же знаете: два месяца назад был издан закон «О живых роботах». Под действие этого закона вы и попали. Просто неудачный момент, только и всего...

— Правительство поступает правильно, теперь мне стало ясно, — сказал Хилл.

— Я рад, что вы понимаете позицию правосудия.

— Да. Не могут же они легализовать убийство. Даже такое условное — с применением телепатии, механизмов и воска. С их стороны было бы лицемерием отпустить меня безнаказанным. Я совершил преступление. И все время с того часа чувствовал себя преступником. Чувствовал, что заслуживаю наказания. Странно, правда? Вот как общество властвует над сознанием человека. Оно заставляет человека чувствовать себя виновным даже тогда, когда вроде бы и нет оснований для этого...

— Мне пора. Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения?

— Нет, спасибо, мне ничего не нужно.

— Прощайте, мистер Хилл.

Дверь захлопнулась.

Джордж Хилл продолжал стоять на стуле у окна, сплетя мокрые от дождя руки за решеткой. На стене вспыхнула красная лампочка, и голос из репродуктора сказал:

— Мистер Хилл, здесь ваша жена. Она просит свидания с вами.

Он стиснул решетку руками.

«Она мертва», — подумал он.

— Мистер Хилл, — снова окликнул его голос.

— Она мертва. Я убил ее.

— Ваша жена ожидает здесь. Вы хотите ее видеть?

— Я видел, как она упала, я застрелил ее, я видел, как она упала мертвой!

— Мистер Хилл, вы меня слышите?

— Да-да, — закричал он, колотя о стену кулаками. — Слышу! Слышу вас! Она мертва, и пусть оставит меня в покое! Я убил ее, я не хочу ее видеть, она мертва!

Пауза.

— Хорошо, мистер Хилл, — пробормотал голос.

Красный свет погас.

В небе вспыхнула молния, озарила его лицо. Он прижался разгоряченной щекой к прутьям решетки и долго стоял так, а дождь лил и лил. Наконец где-то внизу открылась дверь, и из тюремной канцелярии вышли две фигуры в плащах. Они остановились под ярким дугowym фонарем и подняли головы.

Это была Кэти. И рядом с ней Леонард Фелпс.

— Кэти!

Она отвернулась. Мужчина взял ее под руку. Они побежали под черным дождем через дорогу и сели в приземистую машину.

— Кэти! — крича, он дергал прутья решетки, колотил кулаками по бетонному подоконнику. — Она жива! Эй, надзиратель! Я видел ее. Она жива! Я не убил ее, меня можно отпустить на свободу! Я никого не убивал, это все шутка, ошибка, я видел, видел ее! Кэти, вернись, скажи им, что ты жива! Кэти!

В камеру вбежали надзиратели.

— Вы не смеете казнить меня! Я не совершил никакого преступления! Кэти жива, я сейчас видел ее!

— Мы тоже видели ее, сэр.

— Тогда освободите меня! Освободите!

«Этого не может быть, они просто сошли с ума!» Он задохнулся и едва не упал.

— Суд уже вынес свой приговор, сэр.

— Но это несправедливо!

Он подпрыгнул и вцепился в решетку, дико крича.

Машина тронулась с места, увозя Кэти и Леонарда. Увозя их в Париж, и в Афины, и в Венецию, а весной — в Лондон, летом — в Стокгольм, осенью — в Вену.

— Кэти, вернись! Кэти, ты не можешь так со мной поступить!

Красные задние фары машины удалялись, подмигивая сквозь завесу холодного дождя. Надзиратели надвинулись сзади и схватили его, а он все продолжал кричать.

КОШКИ-МЫШКИ

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, он мог бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище, огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выводившего медлительную трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери распахнуты настежь, и, казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишеские ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без усталости раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследовал смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжащее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Здесь изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману.

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на гремящую звоном колокольню, пускал огромные шутихи, они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками, так что текли слюнки; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела: на них смотрит человек, белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые. Он в упор смотрит на них с Уильямом.

Она бы его не заметила, если бы у его локтя не выстроилась батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще семь штук разных напитков, и под рукой десяток неполных рюмок. Неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка два пачек турецких сигарет, шесть ящичков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Билл... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись, — он улыбнулся, — нельзя привлекать внимание. Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот и я говорю Дэвиду: что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

«Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия».

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слыхала? Про Бюро путешествий во времени слышала? Можно ехать куда хочешь — в Рим за двести лет до рождения Христа, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай: увидеть своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана, и Моисея, и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламу.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги:

**РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА!
БРАТЯ РАЙТ НА «КИТТИ ХОК»!**

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно

году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала: вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...»

Они в Мексике, в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска рассеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, походили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменяли одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, смакуя разные напитки, наслаждались непривычными яствами, накопили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в

Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бежали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее — так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям.

— Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох, уж это истинно солдатское щелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сажались.

Уильям похолодел. Опустил глаза, руки его лежали на коленях как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват, — незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы не подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочуствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обсрнулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость, — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, ну почему я их не подтянул, когда садился. Для этой эпохи самый обычный жест, их все подтягивают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, во всем виновата моя походка... эти высокие каблуки... И наши прически, стрижка... сразу видно, мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедem в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины, — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как, по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведem кучу

друзей и знакомых, станем ходить по базарам и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтобы нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса, — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре слышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлиывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомо-

бильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa! — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

«Отвлекись попробуй», — подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетные сигареты и ждет. Глядя сверху на веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошное нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует беречь от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же — яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось, что рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, вошел мистер Симс. Он издал кивнул им, и

¹Что происходит? (исп.)

Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине; выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я режиссер. Ну не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут, как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порауйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен под села к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще на ходу, — мы, кажется, собирались позавтракать вдвоем.

— Прощу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил полголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удается себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс.
— Бесполезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон опять что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях, — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс.
— Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы.

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам удрасть. Тогда найдутся и еще охотники улигнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — бежать от своего прямого долга!

— Это не долг, а крошечный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада ему объяснить. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят напрямик черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение

знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил:

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика, досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен: — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы выехал из гаража Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят, Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму, и тут он увидел машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбежался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora¹.

Они остановились на площади, толпа все еще гладела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержать слезы. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не погонятся? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы.

Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмурая брови, поспешил навстречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

¹До свиданья, сеньор и сеньора. (исп.)

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегающую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловатой глины, и повсюду пламенели цветы бугенвиллеи, смотрела и думала: «Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинице, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запирались на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: «Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!» И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам».

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверное, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти чтыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел он оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они осмотрелись — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик, согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Все оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

«Время, — подумала Сьюзен. — Если бы у нас было время! Как бы хорошо в октябре долгий погожий день сидеть на площади, закрыв глаза, улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...»

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд?

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком глянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя и путешествовать в компании; восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я бы создал повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене, они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в

Прошрое, а за ними по пятам следует человек, который им кажется воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательный фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — и он допил вино.

Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд. Один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь:

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Трейвисы переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрее!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрее!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие,

алые стены; струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; на площади в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «сгèте де сасао», абсент, вермут, текилья, а кроме того 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука..

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС

Однажды в апреле две тысячи двадцать второго тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула. Грянул гром.

«Ну вот», — подумал я.

У подножья лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного легиона (мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как двадцать лет назад) возник Джонатан Барнс.

Хоть он и храбрился, но мгновение помешкал, и я вспомнил десять тысяч речей, которые он извергал, как фонтан, на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком — обеды, которые он поистине сам стряпал, — все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан.

И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью.

Но, должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия, ибо, подойдя к моему столу и жарко дохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом:

— Я пришел за книгами, Том.

Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку.

— Когда они будут готовы, мы вас известим.

— Погоди, — сказал он. — Постой...

— Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в Фонд ветеранов для раздачи в госпитале?

— Нет, нет! — крикнул он. — Я заберу *все* книги.

Я посмотрел на него в упор.

— Ну, *почти все*, — поправился он.

— Почти все? — Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. — В одни руки за один раз выдается не больше десяти. Сейчас посмотрим. А, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонеента истек тридцать лет назад, ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло двадцать. Видишь? — Я поднял карточку и показал ему.

Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.

— Я вижу, ты оказываешь сопротивление! — Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым. — Мне для *моей* работы никакие карточки не нужны!

Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепстать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись.

Читатели подняли головы, обратили к нам отрешенные лица. Таково было время и самый здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит, а здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все сорок лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней и хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а быть может, — вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя и лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются

светлые нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся ясней и отчетливей, тело раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной суете, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытаться. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я знал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам, и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина.

— Да, — сказал я наконец. — Но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку. Найди двух надежных поручителей...

— Чтоб жечь книги, мне поручители ни к чему! — сказал Барнс.

— Напротив, — сказал я, — для этого тебе еще много чего нужно.

— Мои люди — вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны.

— Такие люди всегда опасны.

— Да нет же, болван, я про книги. Книги — вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разноречие, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопля-вопля. Нет, мы это все обстрогаем. Чтоб все просто и ясно и никаких загогулин. Нам надо...

— Надо это обсудить, — сказал я и прихватил подмышку томик Демосфена. — Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию...

Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытарашил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул.

Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громяющим потоком хлынули люди в угольно-черной форме.

Я негромко их окликнул.

Они удивленно остановились.

— Тише, — сказал я.

Барнс схватил меня за плечо.

— Ты что, сопротивляешься закону?

— Нет, — сказал я. — Я даже не стану спрашивать у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину.

Услышав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять уселись и уже не поднимали

глаз, зато люди, втиснутые в черную, перепачканную сажей форму, палили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько, на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз, в вечеряющий двор. То и дело злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки.

— Хорошо, — сказал я.

— Хорошо? — переспросил Барнс.

— Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку.

И я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнсу, которого распирало от незадаанных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку, здесь уже разинула жадную пасть огромная походная Адская топка — приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно синие языки огня; а из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц, наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали наземь с перебитыми крыльями; люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в алчное жерло. Мы прошли мимо этой разрушительной, хоть и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил:

— Забавно. Такое дело, должен бы собраться народ... А народу нет. Отчего это, по-твоему?

Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом.

В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик. И Джонатан Барнс (он и сам не мог бы объяснить, почему злится) закричал:

— Поживей там! Меня ждет работа!

Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках. Поглядел на меня. Я ему подмигнул.

Уолтер поглядел на Барнса.

— «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы», — сказал Уолтер

Барнс захлопал глазами:

— Что такое?

— «Зови меня Измаилом», — сказал Уолтер.

— Для начала дай нам кофе, Измаил, — сказал я.

Уолтер пошел и принес нам кофе.

— «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чаши!» — сказал он и преспокойно пошел прочь.

Барнс круглыми глазами посмотрел ему вслед.

— Чего это он? Чокнутый, что ли?

— Нет, — сказал я. — Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни.

— Объяснить? — повторил Барнс. — До чего же вы все обожаете рассуждать. Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно сорок девять процентов и две десятых. И потом доложим о наших успехах Высшей правительственной комиссии...

— Великолечно, — сказал я.

Барнс уставился на меня:

— С чего это ты радуешься?

— Для всякой библиотеки головоломная задача — где разместить книги, — сказал я. — А ты мне помог ее решить.

— Я думал, ты... испугаешься.

— Я весь век прожил среди Мусорщиков.

— Как ты сказал?!

— Жечь — значит жечь. Кто этим занимается, тот Мусорщик.

— Я Главный Блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!

Появилось новое лицо — официант с дымящимся кофейником.

— Привет, Китс, — сказал я.

— «Пора туманов, зрелости полей», — отозвался официант.

— Китс? — переспросил Главный Блюститель. — Его фамилия не Китс.

— Как глупо с моей стороны, — сказал я. — Это же греческий ресторан. Верно, Платон?

Официант налил мне еще кофе.

— «У народов всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собою и возводят в великие... Таков единственный корень, из коего произрастает тиран; вначале же он предстает как защитник».

Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе.

— Я так считаю, наш план прост, как дважды два, — сказал он.

— Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво, — промолвил официант.

— К чертям! — Со стуком Барнс отставил чашку. — Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, ты, как тебя — Китс, Платон, Холдридж... Ага, вспомнил! Холдридж, вот как твоя фамилия!.. А что еще он тут болтал?

— Так, — сказал я. — Фантазия. Просто выдумки.

— К чертям фантазию, к дьяволу выдумки, можешь есть один, я уйду, хватит с меня этого сумасшедшего дома!

И он залпом допил кофе, официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел, а напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки пылало неистовое пламя. Мы молчали, только смотрели, и под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке, по его подбородку стекали капли кофе.

— Ну, чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?

— А я дерусь, — сказал я и вытащил томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал: «Если даже человек избежал всех других опасностей, никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему».

Барнс с воплем вскочил, и вот в мгновение ока сигара выхвачена у меня изо рта и растоптана, и Главный Блюститель уже за дверью.

Мне оставалось только последовать за ним.

На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку.

— Здравствуйте, профессор Эйнштейн, — сказал я.

— Здравствуйте, мистер Шекспир, — отозвался он.

Барнс сбежал.

Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки; черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву: лужайку устилали подстреленные на лету книги-голуби, умирающие книги-фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но... их собирали без шума. И пока длилась

эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем; он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтобы никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках — дадут ли наконец разрядиться? — прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кофе, на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище, урча, пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс, не мигая, глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища.

— Послушайте, вы! — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. — По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в девять. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось бы нарушать закон... Добрый вечер, мистер Линкольн.

— «Восемьдесят семь лет...»¹, — сказал, проходя, тот, к кому я обращался.

— Линкольн? — Главный Блюститель медленно обернулся. — Это Боумен, Чарли Боумен. Я тебя знаю, Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!

Но тот уже скрылся из виду; в печи пылали все новые книги; мимо проезжали машины, порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался; и звучало ли «Мистер По!», или просто «Привет!», или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя «Фрейд», — всякий раз, как я весело окликал их, и они отвечали, Барнса передергивало, будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной яростью. А толпа так и не собралась, никого не привлекла необычная суматоха.

Внезапно, без всякой видимой причины, Барнс крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:

— Стойте!

Люди в черном перестали швырять книги из окна.

— Но ведь закрывать еще рано, — сказал я.

— Пора закрывать! Выходите все!

¹Из речи А. Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года: «Восемьдесят семь лет тому назад наши отцы основали на этом континенте новое государство, рожденное свободным и опирающимся на убеждение, что все люди созданы равными...»

Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух. Судорожно дернул ими книзу. И все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели.

Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки.

— Вот, Главный Блюститель, — сказал я и протянул ему ключ; он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руку. — Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело.

Глаза главного Блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.

— И давно... давно это тянется?

— Что *это*?

— Это... и все... и они...

Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки, и кивали мне на прощание, и скрывались в холодном вечернем сумерке, все до единого — друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окоченелый язык:

— Может, вы все надеетесь меня провести? Меня? Меня?!

Я не ответил.

— Почему ты знаешь, — продолжал он, — может, я и людей стану жечь, не одни книги?

Я не ответил.

Я ушел и оставил его в темноте.

В зале я стал принимать последние книги у читателей, они уже расходились, ведь наступил вечер и всюду ступили тени; огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а Главный Блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди. Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал вслед за походной печью, она уже тяжело катила прочь — призмистая черная погребальная урна, что тянула за собою длинные развевающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа.

Я сидел и слушал.

В дальних комнатах, налитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща, так славно, по-осеннему шуршат листья, пронесется еле слышный вздох, мелькнет еле

уловимая усмешка, слабое движение руки, блеснет кольцо, понимая, по-беличьему зорко глянет чей-то глаз. Меж наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин, в ночь — и эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться.

В девять я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мной вышел последний читатель, старый человек; пока я запираю дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:

— Могут они прийти опять?

— Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?

Старик взял меня за руку.

— «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе...»¹

Мы спустились с крыльца.

— Добрый вечер, Исая, — сказал я.

— Спокойной ночи, мистер Сократ, — сказал он.

И в темноте каждый пошел своей дорогой.

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

Идея была такая гениальная, такая немислимо восхитительная, что я, катя по Америке, от радости уже не соображал ничего.

Не знаю почему, но в голову мне она пришла на мой сорок восьмой день рождения. Почему на сорок восьмой, а не на тридцатый или сороковой, сказать трудно. Может, потому, что те годы были хорошими и я проплыл сквозь них, не замечая времени и часов, инея, оседавшего у меня на висках, и львиного взгляда знаменитости, который у меня появился...

Так или иначе, но в свой сорок восьмой день рождения, когда я рядом со спящей женой лежал ночью в постели, а наши дети спали в других, тихих, залитых лунным светом комнатах моего дома, я подумал: встану, поеду и убью Ральфа Андерхилла.

Ральфа Андерхилла?! Бог мой, да кто он такой есть?

Убить его спустя тридцать шесть лет? За что?

¹Ветхий Завет, кн. пророка Исая, гл. II, ст. 6.

Как за что? За то, что он со мной делал, когда мне было двенадцать лет.

Через час, услышав что-то, проснулась моя жена.

— Это ты, Дуг? — подала она голос. — Что ты делаешь?

— Собираюсь в дорогу, — ответил я. — Надо ехать.

— А-а, — пробормотала она, перевернулась на другой бок и уснула.

— Скорей! Посадка заканчивается! — громко закричал проводник.

Поезд дернулся и лягнул.

— Пока! — крикнул я, вскакивая на подножку.

— Хоть бы один раз полетел! — закричала жена.

Полетел? И лишил себя возможности всю долгую дорогу обдумывать убийство? Возможности смазывать не спеша пистолет, заряжать его и думать о том, какое лицо будет у Ральфа Андерхилла, когда через тридцать шесть лет я возникну перед ним, чтобы свести старые счеты? Полетел? Да лучше я пойду пешком через всю страну и, останавливаясь на ночлег, буду разжигать костры и поджаривать на них свою желчь и прокисшую слюну, и буду опять есть свои старые, высохшие как мумии, но все еще живые обиды и трогать синяки, которые не зажили до сих пор. Полетел!

Поезд тронулся. Жена исчезла.

Я ехал в Прошлое.

На вторую ночь, проезжая через Канзас, мы попали в потрясающую грозу. Я не ложился до четырех утра, слушал, как беснуются громы и ветры. Когда стихии разбушевались дальше некуда, я увидел свое лицо, негатив его, на холодном стекле окна и подумал: «Куда едет этот дурак?»

Убивать Ральфа Андерхилла.

За что? А за то!

Помнишь, как он бил меня? До синяков. Обе руки были в синяках от самого плеча; в синих синяках, черных в крапинку, каких-то странных желтых. Ударит и убежит, таков он был, этот Ральф, ударит и убежит...

И, однако, ты любил его?

Да, как мальчики любят мальчиков, когда мальчикам восемь, десять, двенадцать и мир невинен, а мальчики злее злого, ибо не ведают, что творят, но творят все равно. И, видно, где-то в потаенных глубинах души мне было обязательно нужно, чтобы мне причиняли боль. Мы, закадычные друзья, нуждались друг в друге. Ему нужно

было бить. Мне — быть битым. Мои шрамы были эмблемой нашей любви.

За что еще хочешь ты убить Ральфа через столько лет?

Резко закричал паровозный гудок. Ночная страна бежала мимо.

И я вспомнил, как однажды весной пришел в школу в новом костюме-гольф из твида, и Ральф сбил меня с ног и вывалял в буром месиве грязи и снега. И смеялся, а я, готовый провалиться сквозь землю, перепачканный с головы до ног, напуганный предстоящей взбучкой, побрел домой переодеться в сухое.

Вот так! А еще что?

Помнишь глиняные фигурки персонажей из радиопьесы о Тарзане, которые тебе так хотелось иметь? Тарзан, обезьяна Кала, лев Нума — любая фигурка стоила всего двадцать пять центов! Да-да! Они были неописуемо прекрасны! О, вспомнить только, как где-то вдалеке, путешествуя по деревьям в зеленых джунглях, завывал обезьяночеловек! Но у кого в самый разгар Большой Депрессии нашлось бы двадцать пять центов? Ни у кого.

Кроме Ральфа Андерхилла.

И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты получить одну из этих фигурок.

«Хочу ли! — воскликнул ты. — Ну, конечно, конечно!»

Это было в ту самую неделю, когда твой брат в странном приступе любви, смешанной с презрением, отдал тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку.

«Ну что ж, — сказал Ральф, — я дам тебе лишнюю фигурку Тарзана, если ты дашь мне бейсбольную перчатку».

«Ну и дурак же ты, — сказал я себе. — Фигурка стоит двадцать пять центов. Перчатка — целых два доллара! Это нечестный обмен! Не меняйся!»

Но все равно я помчался с перчаткой назад к Ральфу и отдал ему, а он, улыбаясь еще презрительней, чем мой брат, протянул мне глиняного Тарзана, и я, преисполненный радостью, побежал домой.

Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного Тарзана только через две недели и, когда узнал, бросил меня одного за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку, — бросил за то, что я такой остопок. «Фигурки Тарзана ему понадобились, бейсбольные перчатки! — бушевал он. — Больше ты не получишь от меня ничего, никогда!»

И где-то на сельской дороге я упал на землю и разрыдался: мне хотелось умереть.

Снова забормотал гром.

На холодные окна пульмана падал дождь.

Что еще? Или список закончен?

Нет. Еще одно, последнее, страшной всего остального.

За все те годы, когда в шесть утра Четвертого Июля ты прибегал к дому Ральфа бросить горсть камешков в его окно, покрытое каплями росы, или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станции смотреть, как прибывает на рассвете цирк, за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому.

Ни разу он или кто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато от брошенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков.

И ты твердо знал, что в день, когда перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится.

Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер и никто не пришел к тебе на похороны.

Вы с Ральфом виделись в школе — и ни удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотело снять с твоего пиджака его любопытство. Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить! Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было щипать!

Сложи все эти грехи вместе. Но особенно задумайся над тем, последним: он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели, не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия¹, вызывая меня на улицу, в радость летнего дня.

И вот за это, Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в четыре часа утра, когда гроза стихла, а у меня выступили слезы, за эту каплю, переполнившую чашу, я завтра вечером тебя уничтожу.

«Убью, — подумал я, — через тридцать шесть лет. О господи, да я безумней Ахава!»².

Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине как механическая, на колесах, греческая Судьба, увлекаемая черной металлической Фурией.

¹Имеется в виду старинный обычай, пришедший в США из Англии: новобрачных, желая им богатства и счастья, осыпают рисом. — *Прим. перев.*

²Ахав — библейский персонаж, царь, совершивший много злодеяний. — *Прим. перев.*

Говорят, что вернуться в Прошлое невозможно.

Это ложь.

Если тебе посчастливилось и ты рассчитал правильно, ты прибудешь на закате, когда старый городок полон золотого света.

Я сошел с поезда и зашагал по Гринтауну, потом остановился перед административным зданием; оно полыхало пламенем заката. Деревья были увешаны дублонами. Крыши, карнизы и лепка были чистейшая медь и старое золото.

Я сел на скамейку в сквере перед этим зданием, среди собак и стариков, и сидел там, пока не зашло солнце и в Гринтауне не стало темно. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла сполна.

Такого преступления не совершал еще никто.

Я побуду здесь, совершу убийство и уеду, чужой среди чужих.

Кто, увидев тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, посмеет предположить, что какой-то двенадцатилетний мальчик, которого послало в дорогу немыслимое презрение к себе, прибыл сюда не то на поезде, не то на Машине Времени и выстрелил в прошлое? Такое представить себе невозможно! Само безумие было мне наилучшей защитой.

Наконец в восемь часов тридцать минут этого прохладного октябрьского вечера я встал и отправился на другой конец городка через овраг.

Я не сомневался в том, что Ральф по-прежнему здесь.

Ведь вообще случается, что люди и пересезжают...

Я свернул на Парковую улицу, прошел двести ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел напротив, на другую сторону. Белый двухэтажный викторианский дом Ральфа Андерхилла ждал меня.

И я чувствовал, что Ральф Андерхилл в этом доме.

Он был там, сорокавосемилетний, точно так же, как здесь был я, сорокавосемилетний и полный старой, усталой и самое себя пожирающей отваги.

Я шагнул в тень, открыл чемодан, переложил пистолет в правый карман пальто, запер чемодан и спрятал в кустах, чтобы потом, позднее, подхватить его, спуститься в овраг и через городок вернуться на станцию.

Я перешел улицу и остановился перед домом, это был тот же самый дом, перед которым я много раз стоял тридцать шесть лет тому назад. Вот окна, в которые, самоотреченно любя, я, как букеты весенних цветов, швырял камешки. Вот тротуары с пятнами от шутих,

сгоревших в незапамятно древние Четвертые Июля, когда мы с Ральфом, ликующе визжа, взрывали к черту весь этот проклятый мир.

Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике надпись мелкими буквами: А н д е р х и л л.

А что, если ответит его жена?

Нет, подумал я, он сам, собственной персоной, неотвратимо, как в греческой трагедии, откроет дверь, примет выстрел и, почти благодарный, умрет за старые преступления и меньшие грехи, каким-то образом тоже ставшие преступлениями.

Я позвонил.

Узнает ли он меня, через столько лет? За миг до первого выстрела назови, обязательно назови ему свое имя. Нужно, чтобы он знал.

Молчание.

Я позвонил снова.

Дверная ручка закрипела.

Я дотронулся до пистолета в кармане, но его не вынул; сердце мое билось гулко-гулко.

Дверь отворилась.

За ней стоял Ральф Андерхилл.

Он заморгал, глядя на меня.

— Ральф? — сказал я.

— Да?... — сказал он.

Мы постояли друг против друга не больше пяти секунд. Но, боже мой, за эти пять молниеносных секунд произошло очень многое.

Я увидел Ральфа Андерхилла.

Увидел его совсем ясно.

А не видал его с тех пор, как мне исполнилось двенадцать лет.

Тогда он высился надо мною башней, молотил меня кулаками, избивал меня и на меня орал.

Теперь это был маленький старичок.

Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов.

Но Ральф Андерхилл со своих двенадцати лет почти не вырос.

Человек, который стоял передо мной, был не выше пяти футов двух дюймов.

Теперь я возвышался башней над ним.

Я ахнул. Вгляделся. Я увидел больше.

Мне было сорок восемь.

Но у Ральфа Андерхилла тоже в сорок восемь половина волос выпала, а те, седые и черные, что оставались, были

совсем редкие. Выглядел он на все шестьдесят, а то и шестьдесят пять.

Я был здоров.

Ральф Андерхилл был бледен как воск. По его лицу было видно: уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Он будто побывал в какой-то стране, где никогда не светит солнце. Лицо у него было изможденное, глаза и щеки впалые. Дыхание отдавало запахом погребальных цветов.

Когда я это увидел, все молнии и громы прошедшей ночи будто слились в один слепящий удар. Мы с ним стояли посередине взрыва.

Так вот ради чего я пришел, подумал я. Вот, значит, какова истина. Ради этого страшного мгновения. Не ради того, чтобы вытащить оружие. Не ради того, чтобы убить. О, вовсе нет. А только чтобы...

Увидеть Ральфа Андерхилла таким, каким он теперь стал.

Вот и все.

Просто побыть здесь, постоять и посмотреть на него такого, какой он есть.

В немом удивлении Ральф Андерхилл поднял руку. Его губы задрожали. Взгляд заметался по мне вверх-вниз, вверх-вниз; разум мерил этого великана, чья тень легла на его дверь. Наконец послышался голос, тихий, надтреснутый:

— Это... Дуг?

Я отпрянул назад.

— Дуг? — От изумления он разинул рот. — Ты?

Этого я не ждал. Ведь люди не помнят! Не могут помнить! Через столько лет? К чему ему ломать себе голову, вспоминать, узнавать, называть по имени?

Мне вдруг пришла в голову безумная мысль: жизнь Ральфа Андерхилла пошла под откос с моим отъездом. Я был сердцевиной его мира, был словно создан для того, чтобы меня били, тузили, колошматили, награждали синяками. Вся жизнь расплзлась по швам просто оттого, что в один прекрасный день, тридцать шесть лет тому назад, я встал и ушел.

Чушь! И, однако, какая-то крохотная полоумная мышка мудрости носилась в моем мозгу и пищала: тебе Ральф был нужен, но еще больше ты был нужен ему! И ты совершил единственный непростительный, убийственно жестокий проступок! Ты исчез.

— Дуг! — сказал он снова, ибо я на крыльце безмолвствовал, и руки мои висели, как плети, вдоль тела.
— Это ты?

Ради этого мгновения я и приехал.

Своею кровью, где-то глубоко, я всегда знал, что не воспользуюсь оружием. Да, оно со мной, это верно, но Время опередило меня и прибыло раньше, и не только оно, но и возраст, и меньшие, более страшные смерти...

Бах.

Шесть выстрелов в сердце.

Но пистолетом я не воспользовался. Звук выстрелов прошептали только мои губы. И с каждым из них лицо Ральфа Андерхилла старело на десять лет. Когда мне оставалось выстрелить в последний раз, ему было уже сто десять.

— Бах, — шептал я. — Бах. Бах. Бах. Бах. Бах.

Каждый выстрел встряхивал его тело.

— Ты убит. О боже, Ральф, ты убит.

Я повернулся, сошел с крыльца и оказался на тротуаре, и только тогда он подал голос:

— Дуг, это ты?

Я уходил не отвечая.

— Ответь, а? — Голос его задребезжал. — Дуг! Дуг Сполдинг, это ты? Кто это? Кто вы?

Я отыскал в кустах чемодан, спустился в полные стрекота кузнечиков ночь и темноту оврага, а потом зашагал через мост, вверх по лестнице и дальше.

— Кто это? — донесся до меня в последний раз его рыдающий голос.

И только отойдя далеко, я оглянулся.

Все окна в доме Ральфа Андерхилла были ярко освещены. Видно, после моего ухода он обошел все комнаты и везде зажег свет.

По ту сторону оврага я остановился на лужайке перед домом, где родился.

А потом поднял несколько камешков и сделал то, чего не сделал никто, ни единого раза, за всю мою жизнь.

Я бросил эти камешки в окно, за которым встречал каждое утро первых моих двенадцати лет. Я прокричал свое имя. Голосом друга я позвал себя выйти играть в долгом лете, которое осталось в Прошлом.

Я простоял ровно столько времени, сколько другому, юному мне потребовалось, чтобы вылезти из окна и ко мне присоединиться.

Потом быстро, опережая зарю, мы выбежали из Грин-тауна и помчались, благодарение Господу, помчались назад, в Сегодня и Сейчас, чтобы пребыть там до последних дней моей жизни.

ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА

— Нет-нет, и слушать не хочу. Я уже все решила. Забирай свою плетенку — и скатертью дорога. И что это тебе взбрело в голову? Иди, иди отсюда, не мешай: мне еще надо вязать и кружева плести, какое мне дело до всяких черных людей и их дурацких затей!

Темноволосый молодой человек весь в черном стоял, не двигаясь, и слушал тетушку Тилди. А она не давала ему и рта раскрыть.

— Слышал, что я сказала! Уж если тебе невтерпеж со мной потолковать, что ж, изволь, только не обессудь, я покуда налью себе кофе. Вот так-то. Был бы ты повежливей, я бы и тебя угостила, а то ворвался с таким важным видом, даже и постучать не подумал. Будто это он тут хозяин.

Тетушка Тилди пошарила у себя на коленях.

— Ну вот, теперь со счету сбилась — которая же это была петля? А все из-за тебя. Я вяжу себе шаль. Зимы нынче пошли страх какие холодные, в доме сквозняки так и гуляют, а я старая стала и кости все высохли, надо одеваться потеплее.

Черный человек сел.

— Этот стул старинный, ты с ним поосторожней, — предупредила тетушка Тилди. — Ну, давай, что ты там хотел мне сказать, я слушаю со вниманием. Только не ори во всю глотку и не смей таращить на меня глаза, какие-то в них огоньки чудные горят. Господи помилуй, у меня от них прямо мурашки бегают.

Фарфоровые, расписанные цветами часы на камине пробили три. В прихожей ждали какие-то люди. Неподвижно, точно истуканы, стояли они вокруг плетеной корзины.

— Так вот, насчет этой плетенки, — сказала тетушка Тилди. — В ней добрых шесть футов, и, видать, корзина эта не бельевая. И нести ее вчетвером просто смешно, она же легкая, как пушинка.

Черный человек наклонился к тетушке Тилди. Он словно хотел сказать, что скоро корзина уже не будет такой легкой.

— Погоди, погоди, — задумчиво сказала тетушка Тилди. — Где ж это я видала такую корзину? И вроде бы не так уж давно, года два назад. Сдается мне... А, вспомнила. Да это же когда померла моя соседка. миссис Дуайр.

Тетушка Тилди в сердцах поставила чашку на стол.

— Так вот ты с чем пожаловал? А я-то думала, ты хочешь мне что-нибудь продать. Ну, погоди, к вечеру придет из колледжа моя Эмили, она тебе покажет, где раки зимуют! На прошлой неделе я послала ей письмо. Понятно, я не написала, что здоровье у меня уж не то и бойкости прежней тоже нет, только намекнула, что хочу ее повидать — соскучилась, мол. Нью-Йорк-то отсюда за тридевять земель. А ведь Эмили мне все равно как дочка. Вот погоди, она тебе покажет, любезный мой. Она тебя как шуганет из этой гостиной, и ахнуть не успеешь...

Черный человек посмотрел на тетушку Тилди с жалостью — мол, устала, бедняжка.

— А вот и нет! — огрызнулась она.

Полузакрыв глаза, расслабив все тело, гость покачивался на стуле взад-вперед, взад-вперед. Он отдыхал. Неужто и ей не хочется отдохнуть? — казалось, бормотал он. Отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть...

— Ах, чтоб тебе пусто было. Смотри, что выдумал! Этими самыми руками — не гляди, что они такие костлявые, — я связала сто шалей, двести свитеров и шестьсот грелок на чайники! Уходи-ка ты подобру-поздорову, а когда я сдамся, тогда вернешься, может, я с тобой и потолкую, — перевела разговор тетушка Тилди. — Давай-ка я лучше расскажу тебе про Эмили, про мое милое, дорогое дитя.

Она задумалась, покивала головой. Эмили...у нее волосы, точно золотой колос, и такие же шелковистые.

— Не забыть мне день, когда умерла ее мать; двадцать лет назад это было, и Эмили осталась со мной. Оттого-то я и злюсь на вас да на ваши плетенки. Где это слыхано, чтоб за доброе дело человека в гроб уложили? Нет, любезный, не на такую напал. Помню я...

Тетушка Тилди умолкла; воспоминание кольнуло ей сердце. Много-много лет назад, под вечер, она услышала слабый, прерывающийся голос отца.

— Тилди, — шепнул он, — как ты будешь жить? Ты такая неугомонная, вот никто рядом с тобой и не остается. Поцелуешь, да и бежишь прочь. Пора бы уговориться. Вышла бы замуж, растила бы детей.

— Я люблю смеяться, дурачиться и петь, папа! — крикнула в ответ Тилди. — Я не из тех, кто хочет замуж. Мне не найти жениха по себе, у меня ведь своя философия.

— Какая такая у тебя философия?

— А вот такая: у смерти ума ни на грош! Надо же — утащить у нас маму, когда мама была нам нужней всего! По-твоему, это разумно?

Глаза отца повлажнели, стали грустные, пасмурные.

— Ты права, Тилди, права, как всегда. Но что же делать? Смерти никому не миновать.

— Драться надо! — воскликнула Тилди. — Бить ее ниже пояса! Не верить в нее!

— Это невозможно, — печально возразил отец. — Каждый из нас встречается со смертью один на один.

— Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я кладу начало новой философии! Да ведь это просто дурость какая-то — живешь совсем недолго, а потом, оглянуться не успеешь, тебя зароят в землю, будто ты зерно; только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллион лет, а толку никакого. И люди-то какие — милые, славные, порядочные или уж, во всяком случае, старались быть получше.

Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться: ведь он сделался холодный и самым этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут, в старом доме, лавку древностей и жила одна-одинешенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите почему? Да потому, что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди, и Тилди обещала ей не оставить сироту.

— За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей, — рассказывала тетушка Тилди черному человеку. — Замуж я так и не вышла. Страшно подумать — проживешь с мужем двадцать, тридцать лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно карточный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел.

Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным, с холодным блеском, глазам видно было: он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время второй мировой войны, знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио, и отказалась от газет, и выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался: да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевым пластинкам. К песенке Гарри Лодера «Скитаясь в сумерках...», и к мадам Шуман-Хинк, и к колыбельным. В мире этих песенок все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о... о вечности.

Черному человеку все это было известно.

— И откуда ты все знаешь? — презрительно фыркнула тетушка Тилди. — Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся — не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй тронь, и я плюну тебе в лицо!

Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула.

— Нечего скалиться. Стара я, чтоб меня обхаживать. У меня душа будто старый тюбик с краской, в ней давным-давно все пересохло.

Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. Это еще что такое? Они ведь, кажется, уж только что били три? Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат, любила их бой, точно у соборных колоколов — мягкий и словно бы доносящийся издалека.

— Долго ты намерен тут сидеть, милейший?

— Да, долго.

— Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла. И не смей ко мне подкрадываться. Я закрою глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так. Вот так...

Славное, спокойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно...

— Ты не встаешь, сударь, нет? Смотри не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-хо-хо-хо-хо.

Как невесомо. Как сонно. Как глубоко. Прямо как под водой. Ах, как славно.

Кто там бродит в темноте?... Но ведь глаза у меня закрыты?

Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только... только все это во сне. Господи, так он и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит...

А? Что? Ох!

— Погодите-ка, только очки надену. Ну, вот!

Часы снова пробили три. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку.

Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула.

— Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдать-ся, а? Меня не уговоришь, где там, я упрямая. Из этого дома меня не выманить, так что и не трудись, не приходи понапрасну!

Черный человек неторопливо, с достоинством поклонился.

Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз.

— То-то, я всегда говорила папе, что будет по-моему! — провозгласила тетушка Тилди. — Я еще тысячу лет просижу с вязаньем у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь этот дом по досточке.

Черный человек сверкнул на нее глазами.

— Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку! — воскликнула тетушка Тилди. — Забирай отсюда свою дурацкую плетенку!

Четверо тяжелой поступью пошли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляют с пустой корзинкой — они пошатывались под ее тяжестью.

— Эй, вы! — она встала, дрожа от гнева. — Вы что, утащили мои древности? Или, может, книги? Или часы? Что вы напихали в свою плетенку?

Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

— Ты это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убирайся вон! — крикнула тетушка Тилди.

Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился.

— Прощай! — тетушка Тилди захлопнула дверь.

Вот так-то. Так-то оно лучше. Ушли. Будь они неладны, олухи, эка что выдумали. Пропади она пропадом, их плетенка. Если и утащили что, шут с ними, лишь бы ее самое оставили в покое.

«Смотри-ка! — тетушка Тилди заулыбалась. — Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время. А хороша! Одна походка чего стоит. Но что это она такая бледная, совсем на себя не похожа, и идет еле-еле. С чего бы это? И невеселая какая-то. Вот бедняжка. Принесу-ка поскорей кофе и печенье.»

Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги — девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха.

Дверь распахивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге.

— Эмили? — окликает тетушка Тилди.

Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную.

— Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное... Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее...

Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили глядит на нее во все глаза.

— Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!

...Да что ж ты от меня пятишься?

...А кричать-то зачем, детка? Перестань. Эмили, перестань! Успокойся! Разве можно, этак и ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу и в угол забиваться нечего. Ну, что же ты вся съежилась, девочка, я же не кусаюсь!

...Господи, не одно, так другое.

...Да что случилось, Эмили? Девочка...

Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет.

— Ну-ну, детка, — шепчет тетушка Тилди. — Ну, успокойся, выпей водички. Выпей водички, Эмили, вот так.

Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и, вся дрожа, пытается совладать с собой.

— Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...

— Ну, хватит! — Тилди шлепает ее по руке. — Что с тобой такое?

Эмили через силу открывает глаза. Протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди.

— Что это тебе взбрело в голову! — кричит Тилди. — Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь!

Эмили отпрянула, затрясла головой; золотая солнечная копна вся затрепетала.

— Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась. Ты умерла!

— Тс-с, малышка.

— Тебя просто не может тут быть.

— Бог с тобой, что ты болтаешь?...

Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой.

— Вон что, вон что! — сердито кричит она. — Ах ты, враль! Ах, ворюга! — Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. — Ах, злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок, да, да, это все он, он! Ну, я ж тебе!..

Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили:

— Вставай, девочка! Ты мне нужна!

Эмили лежит на полу, ее трясет.

— Они не всю меня утащили! — провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Поддай мне шляпку!

— Я боюсь, — признается Эмили.

— Кого, меня?!

— Да.

— Но я же не призрак! Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас не время нюни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь затрещину!

Всклипывая, Эмили поднимается на ноги; она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать.

— Где твоя машина, Эмили?

— Там, в гараже...

— Прекрасно! — Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. — Ну... — Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. — В какой стороне морг?

Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.

— Что ты задумала, тетушка?

— Что задумала? — переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом; бледные дряблые щеки ее дрожат от ярости. — Как что? Отберу у них свое тело — и вся недолга! Отберу свое тело! Пошли!

Мотор взревел, Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядываясь в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком.

— Быстрее, девочка, быстрее, не то эти привереды-прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье, и освежат, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться.

— Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет. Ну, никакого толку, — вздыхает девушка.

— Вот мы и приехали.

Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю, а тетушка Тилди выскочила из машины и засемена по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дроб сгружали плетеную корзину.

— Эй! — накинулась она на одного из четверых носильщиков. — Поставьте ее наземь!

Все четверо подняли головы.

— Посторонитесь, сударыня, — говорит один из них. — Не мешайте дело делать.

— В эту плетенку запахали мое тело! — Тилди воинственно взмахнула зонтиком.

— Ничего не знаю, — говорит второй носильщик. — Не стойте на дороге, сударыня. У нас тяжелый груз.

— Вот еще! — оскорбленно восклицает она. — Да будет вам известно, что я вешу всего сто десять фунтов.

Носильщик даже не смотрит на нее.

— Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет.

И четверо пошли своей дорогой — по коридору, в прозекторскую. Тетушка Тилди припустилась за ними.

Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо поджидал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела, жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли.

Мельком глянув на тетушку, человек в белом халате сказал:

— Сударыня, даме здесь не место.

— Очень приятно, что вы так думаете, — обрадовалась она. — Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку.

Прозектор удивился:

— Что еще за черный человек?

— А тот, который околачивался возле моего дома.

— Среди наших служащих такого нет.

— Неважно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, пора готовить ветчину для гостей, ведь пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитера, завести все часы в доме...

— У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам, но мне пора работать. Доставлено тело.

Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты.

Тилди свирепеет:

— Только дотроньтесь до этого тела, я вам...

Он отмахивается от нее, как от мухи.

— Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму, — вкрадчиво говорит он.

Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом.

— Пошел вон, дурак!

Джордж берет ее за руки.

— Пройдите, пожалуйста.

Тилди высвобождается. С легкостью. Ее плоть вроде бы... ускользнула. Чудны дела твои, Господи. В таком почтенном возрасте — и вдруг новый дар.

— Видали? — говорит она, гордая этим своим талантом. — Вам со мной не сладить. Отдайте мое тело!

Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова — в корзину, вглядывается внимательней... Это тело... кажется... возможно ли?... А все-таки... да... нет... да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается. Таращит глаза. Потом испытующе прищуривается.

— Сударыня, — осторожно начинает он. — Эта дама вот здесь... э... ваша... э... родственница?

— Очень близкая родственница. Обращайтесь с ней поосторожнее.

— Сестра, наверно? — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла.

— Да нет же. Вот непонятливый! Это я, слышите? Я!

Прозектор минуту подумал.

— Нет, так не бывает, — говорит он. И принимается перебирать инструменты. — Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная.

Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе скидывает голову.

— Не сладите! — кричит она, но ее, точно пешку на шахматной доске, переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и, наконец, в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами.

— Ну вот, сударыня, — говорит один из четверых. — Здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания.

— Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо.

Плотно сжав губы, она теребит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-либо ее тронуть — и она... ну да, она просто ускользает.

Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услышал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось.

— Тс-с, тс-с, — шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. — Имейте уважение, имейте уважение. Что тут у вас? Не могу ли я быть вам полезен, сударыня?

Тетушка Тилди смерила его взглядом.

— Можете.

— Чем могу служить?

— Подите в ту комнату в конце коридора, — распорядилась тетушка Тилди.

— Д-да-а?

— И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтоб оставил в покое мое тело. Я — девица. И не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочее, и что нога у меня подворачивается — тоже мое дело. Нечего ему во все совать нос, трогать, резать — еще, того гляди, что-нибудь повредит.

Мистер Кэррингтон не понимает, о чем идет речь, он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.

— Чего он уложил меня на свой стол, я ж не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать! — сказала Тилди.

Мистер Кэррингтон кинулся выяснить, в чем дело. Прошло пятнадцать минут; в вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской, шел отчаянный спор; наконец бледный и осунувшийся мистер Кэррингтон возвратился.

Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал:

— Вы нам очень осложняете дело.

— Я?! — рассвирепела тетушка Тилди. — Святые угодники, да что же это такое! Послушайте, мистер Кожа-да-кости или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?

— Мы уже выкачиваем кровь из... из этого...

— Что?!

— Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать. — Он нервно засмеялся. — Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти.

Тетушка Тилди вскочила, как ошпаренная.

— Да как он смеет! Это позволено только судебным экспертам!

— Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется...

— Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему Режь-не-жалей сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, и если он уже что-нибудь вытащил из него, пускай тут же приладит на место, да чтоб все работало как следует, и бодрое, здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала!

— Но я ничего не могу поделать. Ни-че-го.

— Ну, вот что. Я не сдвинусь с места хоть двести лет. Ясно? И распугаю всех ваших клиентов, буду пускать им прямо в нос эманацию!

Ошеломленный Кэррингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал.

— Но вы погубите нашу фирму! Неужели вы решитесь!

— Еще как решусь! — усмехнулась тетушка Тилди.

Кэррингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатила машина. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошеествовали в зал ожидания.

— Ну, в чем тут дело?

Переменяя свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала.

Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение... Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался.

Тетушка Тилди воззрилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхиваете? — в страхе спросила она.

Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся.

Наконец совет был окончен.

— Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?

Тетушка оглядела стервятников с головы до пят.

— Ну, это бы я с радостью.

Кэррингтона прошиб пот, он отер лицо платком.

— Можете забрать свое тело.

— Ха! — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила: — В целости-сохранности?

— В целости-сохранности.

— Безо всякого формальдегида?

— Безо всякого формальдегида.

— С кровью?

— Да, с кровью же, забирайте его ради бога и уходите!

Тетушка Тилди чопорно кивнула.

— Ладно. По рукам. Приведите его в порядок.

Кэррингтон обернулся к прозектору.

— Эй вы, бстолочь! Нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо!

— Да смотрите не сыпьте пепел, куда не надо! — прикрикнула тетушка Тилди.

— Осторожней, осторожней! — командовала тетушка Тилди. — Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть.

Она не стала особенно разглядывать тело. «Вид самый обыкновенный», — только и заметила она. И опустила в корзину.

И сразу словно вся заledenела; потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд. И тяжелый. Все равно что бабочке, которая уже вышла из куколки, сызнова втиснуться в старую жесткую оболочку.

Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Кэррингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал, да посмеивался, да пожимал плечами.

«Просачиваюсь в холодный, непроницаемый гранит. Просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую. Втискиваюсь, втискиваюсь...»

— Да оживай же, черт возьми! — прикрикнула тетушка Тилди. — Ну-ка, приподнимись!

Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины.

— Не ленись, согни ноги!

Тело слепо, ошупью поднялось.

— Увидь! — скомандовала тетушка Тилди.

В слепые, затянутые пленкой глаза проник свет.

— Чувствуй! — подгоняла тетушка Тилди.

Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жесткий лабораторный стол и, тяжело дыша, оперлось на него.

— Шагни!

Тело ступило вперед — медленно, тяжело.

— Услышь! — приказала она.

В оглохшие уши ворвались звуки: хриплое, нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хныканье мистера Каррингтона, ее собственный трескучий голос.

— Иди! — сказала тетушка Тилди.

Тело пошло.

— Думай!

Старый мозг заработал.

— Говори!

— Премного обязано. Благодарствую, — и тело отвесило поклон содержанию похоронного бюро.

— А теперь, — сказала наконец тетушка Тилди, — плачь!

И заплакала блаженно-счастливыми слезами.

И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в четыре подойти к ее лавке древностей и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайтесь внимания. Тетушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у нее нрав! Постучитесь. Дверь заперта на две задвижки и на три замка.

— Кто там? Черный человек? — послышится пронзительный голос.

Вы, смеясь, ответите: нет-нет, тетушка Тилди, это я.

И она, тоже смеясь, скажет: «Входите побыстрее!», распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас и нальет вам кофе, и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.

— Если будете вести себя примерно, — провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашечку кофе, — я вас кое-чем попотчую.

— Чем же? — спросит гость.

— А вот, — скажет тетушка, очень довольная, что ей есть чем похвастать, и шуткой своей довольная.

Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет.

И на миг вы увидите длинный синий шов — аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.

— Недурно шито, и не подумаешь, что мужская работа, — снисходительно скажет она. — Что? Еще чашечку кофе? Пейте на здоровье!

ПРЕВРАЩЕНИЕ

«Ну и запах тут», — подумал Рокуэл. От Макгайра несет пивом, от Хартли — усталой, давно немойтой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатухи.

Этот Смит — уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.

— Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскроют...

Он не договорил — Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита — на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.

— Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз. Пожалуйста.

Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и достал стетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому трупу, притворяешься, будто слушаешь...

Тесная полутемная комнатуха вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела.

Он услышал дрожь жизни.

В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будто отдалось эхо в морской пучине.

Смит мертв, не дышит, заостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.

Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцати пяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца.

Один удар за каждые тридцать пять секунд.

А дыхание Смита — как этому поверить? — один вздох за четыре минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну, а температура?

Шестьдесят¹.

Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало:

— Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Рокуэл. Он... это что-то противоестественное.

Да, это просто невозможно — и как раз потому Рокуэла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затащило кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа.

— И все-таки он дышит...

Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки.

Хартли встал над столом — высокий, тощий, измученный.

— Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.

Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.

— Как он мог предупредить? Он же недвижим.

Исхудалое лицо Хартли — заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза — болезненно передернулось.

— Смит... думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри. — Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер.

¹По Фаренгейту, т.е. около 16°C — *Прим. перев.*

— На, Мэрфи. Возьми. Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!

Тот попятился, на круглом красном лице — испуг.

— Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.

Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:

— Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает. — Он провел языком по пересохшим губам. — Что за болезнь подхватил Смит?

Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понял Рокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:

— Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой... неправильный. Помогите мне. Ты мне поможешь, а?

— Да, конечно, — Рокуэл улыбнулся. — У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит... это же самый невероятный случай за всю историю медицины! С человеческим организмом такого просто не бывает!

Хартли прицелился из револьвера ему в живот.

— Стоп. Стоп. Ты... ты не просто упрячешь Смита подальше, это не годится! Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен! Я знаю. Он опасен!

Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.

— Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно, и физически. Убери револьвер.

Они в упор смотрели друг на друга.

Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мэрфи — тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит.

— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории.

Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.

— А что мне делать с пистолетом?

Хартли стиснул зубы, процедил:

— Возьми его себе. Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.

Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках — невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория; Смит, безмолвный, лежал на столе, красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской.

Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленой груди. Получилось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука.

Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижимое тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом.

Рокуэл сосредоточенно вслушивался.

— Наверно, в машине скорой помощи его сильно потрясло. Не следовало рисковать...

Рокуэл вскрикнул.

Макгайр, волоча ноги, подошел к нему.

— Что случилось?

— Случилось? — Рокуэл с отчаяньем огляделся. Сжал кулак. — Смит умирает!

— С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит...

— Нет! — Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался впрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь.

А там, внутри, под зеленым панцирем тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан.

Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?

Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Рокуэл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.

— Макгайр! Опустить шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!

Макгайр повиновался.

Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.

— Солнечный свет Смицу вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего и почему, но это ему опасно... — Рокуэл вздыхает с облегчением. — Господи, только бы не потерять

его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, он создает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мэрфи?

— Ну?

— Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там не говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял: Смит у я по душе.

— Бр-р! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?

— Нет, нет, говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.

— Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.

Дверь одноместной палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый рост, стоял Хартли; после нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно.

— Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом, — негромко сказал он. — Ну?

— Ни с места, — сердито приказал Рокуэл, подходя к нему. — Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю: я тебе не доверяю. — Оружия у Хартли не оказалось. — Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света?

— Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ. — А... да. Я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не заостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтоб я три месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь, потом впал в оцепенение — и вот, полюбуйте... — Хартли невольно выругался. — Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь.

Макгайр всколыхнулся всей своей тушей — двести пятьдесят фунтов.

— Слушайте... А вдруг мы заразимся этой смитовой болезнью?

Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.

— Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заразишься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смику ни страха, ни ненависти, это пришло только неделю назад, тогда я убедился, что он дышит, и существует, и процветает, хотя и ноздри, и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть.

— А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые и эта чума охватит всю страну, тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр.

— Тогда, если я ошибаюсь — может быть, и ошибаюсь, — я умру, — сказал Рокуэл. — Только меня это ни капельки не волнует.

Он повернулся к Смику и продолжал делать свое дело.

Колокол звонит. Колокол. Два, три колокола. Десять колоколов, сто. Десять тысяч, миллион оглушительных, гремющих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в тишину, воют, режут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши!

Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопущие, в воздухе несмолкаемый грохот и треск!

Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть — веки замкнуты, знает, ничего ему не сказать — губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.

Видеть он не может. Но нет, все-таки может, и, кажется, перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает: язык пропал — там, где всегда был язык, пустота, щемящая пустота будто жаждет вновь его обрести, но сейчас — не может.

Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И они останавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит.

Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не поддается. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова — ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело — недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу.

И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайней мере, легкими.

— Потому что у меня больше нет легких! — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль закле-стнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смит стало спокойнее.

«Я не боюсь, — подумал он. — Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю.

Ни языка, ни ноздрей, ни легких.

Но потом они появятся. Да, появятся. Что-го... что-то происходить».

В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабер, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как — бьется еще или нет?

Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный багровый ропот возникает вокруг, поток, река, медлительная, еще медленней, еще. Так славно.

Так отдохновенно.

Дни сливаются в недели, и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Рокуэла секретарем. Не бог весть какая подмога, но славный товарищ.

Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но спокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, придумался — и сказал неторопливо:

— Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука!

Рокуэл расхохотался.

— А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри смитовой скорлупы.

Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэл сменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро:

— Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и

за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию — он любую бациллу уничтожит, он ими лакомится!

За считанные часы были сделаны и еще открытия. Рокуэл лишился сна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор, как Смит заболел, и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. Ни грамма этой пищи не использовано. Вся она сохраняется про запас — и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее!

Рокуэл ликовал — вот это открытие! В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне.

Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко.

— Вот бы и мне так...

Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное ему ничтожное количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы. Никаких отходов.

— И ко всему, — закончил Рокуэл, — в последнем счете Смит, пожалуй, вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!

— Тогда он умрет.

— Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть. А может, и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу: система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для других микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении!

Хартли принял сообщение с досадой. И твердил свое: Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен.

Макгайр еще подлил масла в огонь:

— Почем знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей

жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис; отчего бы новой неведомой бацилле не пожрать все остальные?

— Довод веский, — сказал Рокуэл. — Но мы-то не заболели?

— Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период.

— Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком ни случилось, раз он не помещается в привычные рамки, значит, болен, — возразил Рокуэл. — Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.

— Ты спятил, — сказал Макгайр.

— Возможно. Только Сми-ту, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это — вырождение. А по-моему, рост.

— Да ты посмотри на его кожу! — почти простонал Макгайр.

— Овца в волчьей шкуре. Снаружи — жесткий, ломкий покров. Внутри — упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно: боялся ты в детстве насекомых — пауков и всякой такой твари?

— Да.

— То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна эта перемена в нем.

В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей «болезни». Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией.

Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражем Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли.

Сми-ту двадцать три года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.

Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он

выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалась у него всё отчетливей.

А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в санаторий.

Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемешку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.

И Рокуэл заговорил:

— Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилле. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность — замедленную наследственную мутацию.

— Мутацию? — не своим голосом переспросил Макгайр.

Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.

— Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек, — он повертел в пальцах темный маленький предмет. — И я уверен. Это метаморфоза. Перерождение, видоизменение, мутация — не до, а после появления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.

И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.

— Это же куколка, — сказал Хартли. — Бывшая гусеница.

Рокуэл кивнул:

— Вот именно.

— Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже...ку-
колка?!

— Убежден, — сказал Рокуэл.

Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушиваясь. Рокуэл осторожно ощупывал тело.

— Предположим, жить — значит не только родиться, протянуть семьдесят лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень, — и Смит первый из всех нас совершает этот шаг.

Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое — в куколку, а из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница бабочкой... а чем станет Смит?

— Смит — куколка? — Макгайр невесело засмеялся.

— Да.

— С людьми такого не бывает.

— Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копил в организме некий икс-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. Жесткое излучение в смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.

— Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?...

— Личинка стрекозы не останется навсегда в болоте, кладка жука — в почве, а гусеница — на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, к чему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встанет вселенная, в этой вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл.

Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суедемся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна, слишком мало он знает.

Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте... сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный пронизательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты, — и тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, вселенной!

Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонился над Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра — всего лишь тени в полутьме палаты, при занавешенном окне.

Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.

— Не верю я в эту теорию.

А Макгайр сказал:

— Почему ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делал ты рентгеновский снимок?

— Нет, это рискованно — вдруг помешает его превращению, как мешал солнечный свет.

— Так, значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть?

— Поживем — увидим.

— По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?

— Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все о нем знали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает, если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.

Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Рокуэла. И вот он, Смит — уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем — неизвестно.

— Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, — заговорил Хартли. — Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю... тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас ненавидит за то, что мы проведали его секрет.

— Я не боюсь, — беспечно заявил Рокуэл.

Хартли промолчал. Шумное, хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэл обошел вокруг стола, махнул рукой:

— Пойдемте-ка все спать, пора, как, по-вашему?

Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Рокуэл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.

Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный...

Он улегся в постель.

Когда же? Когда Смит «вылупится» из своей скорлупы? Когда?

Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.

Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома, слышалось его шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.

Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.

В полутьме кто-то над ним наклонился.

Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра.

В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. Кто-то силится заговорить.

У Макгайра вырвался дикий вопль.

Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.

Зеленая.

— Смит!

Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору:

— Он ходит! Не может ходить, а ходит!

Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распахивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, бессвязно, бессмысленно бормочет.

А тот, в прихожей, недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестнице сбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась за спиной.

— Кто здесь? — остановясь на полпути, спрашивает Рокуэл.

Тот выходит на свет.

Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.

— Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?

— Кое-что случилось, — говорит Хартли. — А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный.

Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побежал дальше — по коридору, за дверь, под дождь.

— Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!

Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотне шагов от дома, тот бормочет:

— Смит... Смит там ходит...

— Чепуха. Просто это вернулся Хартли.

— Рука зеленая, я видел. Она двигалась.

— Тебе приснилось.

— Нет. Нет. — В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки: — Я видел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он...

При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем — опасность! — резнул отчаянный зов: на помощь!

— Хартли!

Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору...

Дверь в палату Смита взломана.

Посреди комнаты с револьвером в руке — Хартли. Услыхал бегущего Рокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкает выключателем.

Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже в прыжке, потрясенный, понимает, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли.

Пальцы, покрытые зеленой чешуей.

Потом схватка врукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхнул свет, на пороге мокрый насквозь Макгайр, выговаривает трясущимися губами:

— Смит... он убит?

Смит не пострадал. Пуля прошла выше.

— Болван, какой болван! — кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полу Хартли. — Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить!

Хартли пришел в себя, говорит медленно:

— Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.

— Ерунда, он... — Рокуэл запнулся, изумленный. — Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. — Он с яростью смотрит на Хартли: — Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай с него глаз.

Макгайр говорит хрипло:

— Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит — Хартли!

Хартли уставился на свои пальцы.

— Мило выглядит, а? — говорит он с горечью. — Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким... такой же тварью... Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал — больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить, он же меня погубил...

Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.

Три крохотные чешуйки взлетели над смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол.

Рокуэл вмиг очутился у стола, вгляделся.

— Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная — треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!

Дряблые щеки Макгайра затряслись:

— И что тогда?

— Будет у нас сверхчеловек, — резко, зло отозвался Хартли. — Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.

С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернуло.

— Ты попробуешь с ним заговорить?

— Разумеется.

— С каких это пор... бабочки... разговаривают?

— Поди к черту, Макгайр!

Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь — следить, вслушиваться, думать.

Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу Неведомое.

Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятся дополнительные глаза; изменится форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани, возможно несчетное множество перемен.

Рокуэл одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы — вроде медузы? Вдруг он — безумный, помешанный... или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помотал затуманенной головой. Смит — совершенство. Совершенство. В нем нет места ни единой злой мысли. Совершенство.

В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол...

Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр — бегаёт под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось...

Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял... Рокуэл вскочил, как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.

Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть головы, Рокуэл косится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.

Но его там нет.

На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то остатки опустелой куколки. Остатки.

Хрупкие скорлупки — расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки — разбитые остатки Смита!

А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел к столу. Точно маленький, стал копать в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь, как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице, закричал:

— Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?

Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих в комнате.

— Вы тут, — сказал растерянно. — Значит, вы туда не спускались. Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и... нет, нет.

— А что случилось?

— Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?

— За всю ночь ни разу не выходил.

— Тогда... есть только одно объяснение... Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть, черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!

— Ну, теперь все ясно! — закричал Хартли. — Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному Богу известно, во что он превратился.

— Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать! Быстрее, Хартли! Макгайр!

Макгайр тяжело опустился на стул.

— Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.

Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице, Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулся Макгайр.

Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и горы, озаренные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошиб пот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему, Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?

Медленно отворилась дверь кухни.

Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губы выпустили струюку сигаретного дыма.

— Я кому-то понадобился?

Ошеломленный Рокуэл обернулся. Увидел, как изменился в лице Хартли, услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлера:

— Смит!

Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажгло солнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинут старый халат Рокуэла.

— Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца — или уже четыре? Тут что, больница?

Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.

— Привет. Я... То есть... Вы что же... вы ничего не помните?

Смит выставил растопыренные пальцы:

— Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом — ничего.

И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы — быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.

Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спрятал лицо в ладонях, тряхнул головой. Потом, не веря своим глазам, спросил:

— Когда вы вышли из куколки?

— Когда я вышел... откуда?

Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.

— Не пойму, о чем вы, — просто, искренне сказал Смит. — Я очнулся в этой комнате полчаса назад, стою и смотрю — я совсем голый.

— И это все? — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе.

Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смит нахмурился.

— Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?

Рокуэл представил их друг другу.

Смит мрачно поглядел на Хартли.

— Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?

Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа.

— Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?

— Я очнулся с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылутился из куколки. Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты, я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить,

мистер Рокуэл. Я ведь не знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.

— Ну, это пустяки. — Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Все рушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитая скорлупа куколки. — А как вы себя чувствуете?

— Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания.

— Да, прямо замечательно, — сказал Хартли.

— Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Стольких месяцев — бац! — как не бывало! Я всё гадал, что же со мной делалось столько времени.

— Мы тоже гадали.

Макгайр засмеялся:

— Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты его ненавидел...

Смит недоуменно поднял брови:

— Ненавидел? Меня? За что?

— Вот. Вот за что! — Хартли растопырил пальцы. — Ваше проклятое облучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мне теперь с этим делать?

— Тише, Хартли, — вмешался Рокуэл. — Сядь. Успокойся.

— Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих дурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман, какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения, убейте этого Смита, пока он не улизнул!

Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:

— Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?

— Ты и сам знаешь! — в ярости заорал Хартли. — Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Рокуэла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждет, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас и уверяешь, будто ты просто человек.

— Он и есть просто человек, — жалобно вставил Макгайр.

— Вранье. Он думает не по-людски. Чересчур умен.
— Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации,
— предложил Макгайр.

— Он и для этого чересчур умен.

— Тогда все просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, вприснем сыворотки.

На лице Смита отразилось сомнение:

— Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо.

Хартли возмутился. Посмотрел на Рокуэла, сказал:

— Давай шприцы.

Рокуэл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, — думал он. — Его кровь — сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? А дыхание? Может быть, Смит — сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да, может быть...»

Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник, ссутулился. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробов — и они погибают в обычный срок. И неведомый икс-раствор исчез. Рокуэл горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная. Пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность — ни в чем никаких отклонений.

— Что ж, все в порядке, — негромко сказал Рокуэл.

Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски.

— Простите, — выдохнул он. — Что-то у меня... ум за разум... верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и свалил дурака. Простите. Простите. — И уставился на свои зеленые пальцы. — А что ж будет со мной?

— У меня все прошло, — сказал Смит. — Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую. Но это было не так уж скверно... В сущности, я ничего не помню.

Хартли явно отпустило.

— Но... да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот так закаменеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.

Рокуэлу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не шадить себя, так ждать и жаждать нового, неведомого, сгорать от любопытства — и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки? Тот же, что был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны.

Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мыслей. Смятение. Стоит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает... просто-напросто человек, который страдал какой-то накожной болезнью — временно отвердела кожа да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция, — но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Рокуэла, неистовая фантазия разыгралась — и все проявления странной болезни сложили в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуэл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован.

Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была — и прошла, миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру.

Но Рокуэла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгнуло. Сгнула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.

Смит обошел их всех, каждому пожал руку.

— Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступать к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше. Сами понимаете.

— Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, — сказал Рокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.

— Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор, обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?

— Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы.

— Я вас подвезу до Лос-Анджелеса, — весело предложил Макгайр.

— Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунгли, а там возьму такси. Хочется пройтись. Давненько не гулял, погляжу, что это за ощущение.

Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.

— Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорей вернуть вам все, что задолжал.

— Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно.

— Что ж, до свидания, доктор. Мистер Макгайр. Хартли.

— До свидания, Смит.

— До свидания.

Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело, по-свистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Рокуэл.

Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу.

Рокуэл провожал его глазами — так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение — замок из песка — подмывают и уносят волны моря.

— Не вернется, — твердил он снова и снова. — Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то оступел, и внутри пусто.

— А по-моему, все прекрасно! — Макгайр радостно ухмыльнулся.

Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.

— У меня все пройдет, — тихо сказал Хартли. — Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава богу. Слава богу. Я не сделаюсь чудовищем. Я останусь самим собой. — Он обернулся к Рокуэлу: — Только запомни, запомни, не дай, чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри не забудь.

Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагретом недвижимом воздухе пахло водой, пылью, цветущими апельсиновыми деревьями.

Встреппенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все дальше.

А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.

Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. Потом выпрямился во весь рост — стройный, ладный, — отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела.

Без малейшего усилия — только чуть вздохнул теплый воздух вокруг — Смит поднялся над землей.

Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали...

РАКЕТА

Ночь за ночью Фиорелло Бодони просыпался и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стряпни. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит вслед за ракетами.

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают огненные фонтаны. Это уносятся в дальний путь неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Ну и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

На самом берегу безмолвно струящейся реки на корзине из-под молочных бутылок сидел старик и тоже следил за взлетающими в полуночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Надо же воздухом подышать.

— Вон как? Ну а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь. Одни богачи делают что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: «МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ!» Как же! Восемь-

десять лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах! Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья... — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки, — оборвал старик. — Вот богачам, тем все можно — и мечтать, и в ракетах летать. Бодони помолчал.

— Послушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Для своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слушаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решился окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! — Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к Господу Богу. Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие, — и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь ~~разок~~, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего.

— Но...

— А, допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет, что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бодони, купи ты себе лучше новый резальный станок, без него тебе и впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижными глазами на реку — в глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не

сомкнул глаз. Беспокойно спали дети. Рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он всю ночь ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату вбежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна, — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по двенадцать пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Паоло.

— Она взлетала и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.

— Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.

Дети с недоумением посмотрели на отца. Он нечасто повышал голос.

Бодони поднялся.

— Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.

Дети восторженно завопили.

— Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас. Так кто полетит?

— Я, я, я! — наперебой кричали дети.

— Ты, — сказала Мария.

— Нет, ты, — сказал Бодони.

И все замолчали. Дети собирались с мыслями.

— Пускай летит Лоренцо, он самый старший.

— Пускай летит Мириамна, она девочка!

— Подумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария. Но ее глаза смотрели как-то странно, и голос дрожал. — Метеориты как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.

— Чепуха. Ты тоже умеешь.

Всех била дрожь.

— Ну так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.

Каждый по очереди сосредоточенно тащил прутик.

— Длинный.

— Длинный.

Следующий.

— Длинный.

Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.

Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.

— Теперь ты, Мария, — прошептал он.

Она вытянула прутик.

— Короткий, — сказала она.

— Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью и облегчением. — Мама полетит на Марс.

Бодони силился улыбнуться.

— Поздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.

— Обожди, Фиорелло.

— На той неделе и полетишь, — пробормотал он.

Дети смотрели на мать — у всех крупные прямые носы, и все губы улыбаются, а глаза были печальные. Медленно она протянула прутик мужу.

— Не могу я лететь.

— Да почему?!

— Я должна думать о будущем малыше.

— Что-о?

Мария отвела глаза.

— В моем положении путешествовать не годится.

Он сжал ее локоть.

— Это правда?

— Начните сначала. Тяните еще раз.

— Почему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.

— Да как-то к слову не пришлось.

— Ох, Мария, Мария, — прошептал он и погладил ее по щеке. Потом обернулся к детям. — Тяните еще раз.

И тотчас Паоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс! — Он запрыгал от радости. — Вот спасибо, папа!

Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Паоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь? — неуверенно спросил он.

— Правда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Паоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли.

— Никто не полетит, — сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее, — сказала Мария.

— Браманте прав, — сказал Бодони.

После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, не разъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься как рыба об лед, чтоб выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз? — рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо! — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Понятно, она ненастоящая, — сказал Мэтьюз. — Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал, шепну тебе по секрету. Ну что ж...

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Понятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела...

— Ясно.

— Если я куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Понимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий...

— Привозите вашу ракету, — сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше, — сказал Бодони. — Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бодони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты.

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя, — сказал он. — Пускай ты никогда не извергнешь пламени и не сдвинешься с места, пускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок.

— Пожалуй, сегодня я в ней и переночую, — взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гудение становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони перелетали с рычага на рычаг, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотилось, вот-вот выскочит.

— Старт! — пронзительно кричит он.

Толчок! Громовой рев!

— Луна! — кричит он. — Метеориты! — кричит он, не видя, изо всех сил зажмурив глаза.

Неслышимый головокружительный полет в багровом пляшущем зареве.

— Марс, о Господи, Марс! Марс!

Задышавшись, он без сил откатнулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с рычагов управления, голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша; реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Перед ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, светились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то раскрывались во всю ширь, то становились как щелки. Потом он оставил резак, и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети толпились во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться. Они только кричали, перебивая друг друга.

Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она. — Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.

— Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторял Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...

— погоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и тюки; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-пре-старых автомобильных моторов. Потом запаял отсек наглухо, чтоб никто не мог подсмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солнце уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она.

— Какую уж там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Послушай, Мария...

— Она взорвется. Да тебе с ней не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку.

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Не бойся.

— Погубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята. Пойдем со мной.

— До свидания, мама! До свидания!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед.

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — мы летим на неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что смотрите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах и на ошупь. Смотрите. Запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Герметическая дверь тамбура со свистом закрылась за ними. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки и пристегнул широкими ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт.

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Смотрите, вот Луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверком пронеслись метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя он помог им выбраться из гамаков, и они пригипли носами к иллюминаторам и смотрели во все глаза.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня; у детей уже спалились глаза. И наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку.

Дверца люка распахнулась. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали?

Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета и ткет волшебный сон. Содрогаются и рычат, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза. И мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не нарушило волшебства. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел и ничего не случилось.

Он проснулся.

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс.

— Папа! — Дети старались вырваться из гамаков.

Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье!

На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома, — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидела Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Поздно ночью Бодони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскричал он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю.

Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть... может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной слетаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко, пожалуй, — сказал он.

— Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

КОСМОНАВТ

Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царила тишина.

— Ты ведь сможешь мне удержать его дома на этот раз? — спросила она.

— Постараюсь, — ответил я.

— Прощу тебя. — По ее лицу бежали беспокойные блики. — На этот раз мы его не отпустим.

— Ладно, — ответил я, подумав. — Но только ни к чему это, ничего не выйдет.

Она повернулась; светлячки, чертя свои орбиты, летали над ней, подобно блуждающему созвездию, и светили ей во тьме. Я услышал, как она тихо говорит:

— Во всяком случае, попробуем.

Другие светлячки проводили меня в мою комнату. Я лег, в кровати замкнулась цепь, и тотчас светлячки погасли.

Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Кровать, тихо напевая, стала меня укачивать. Я нажал выключатель; пение и качание прекратились. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать.

Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали, бодрствуя, и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь, или видели, как стены на миг озаряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит его ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиопhone:

— Ты почувствовал?

И я отвечал:

— Да, да, это он.

Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: «Сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас он подписывает бумаги, сейчас он на вертолете пролетает над рекой, над холмами, сейчас сажает вертолет в нашем маленьком аэропорту Грин-Виллидж...» Вот половина ночи прошла, а мы с матерью, каждый в своей неуютной кровати, все слушаем, слушаем. «Сейчас идет по Белл-стрит. Он всегда идет пешком... не берет машину... сейчас проходит парк, угол Оукхерст, и сейчас...»

...Я поднял голову с подушки. На улице, все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому... вверх по ступенькам террасы... И мы оба,

мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяина, отворяется наружная дверь, что-то негромко говорит, приветствуя, и снова затворяется.

Три часа спустя я тихонько, затаив дыхание, повернул блестящую ручку их двери, прокрался в безбрежной, как космос между планетами, тьме и протянул руку за маленьким черным ящиком, что стоял у кровати родителей в ногах. Есть! И я бесшумно побежал к себе, думая: «Он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал».

И вот из открытого ящика струится черный костюм космонавта — будто черная туманность с редкими застешками далеких звезд. Я мямлю в горячих руках темную ткань и вдыхал аромат планет: Марса — запах железа, Венеры — благоухание зеленого плюща, Меркурия — огонь и сера; я обонял молочную Луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее.

Вскоре в ресторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа.

Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон, а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь тубус микроскопа я уходил в полет — миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения...

На рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнес ящичек на место, в спальню родителей. Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном. Это приехали из химчистки за костюмом: «Хорошо, что я не стал ждать», — подумал я. Ведь через час костюм вернется обезличенный, очищенный от всех следов путешествия.

И я опять уснул, а в кармане пижамы, как раз над бьющимся сердцем, лежал пузырек с магической пылью.

Когда я спустился, отец сидел за столом — завтракал.

— Как спалось, Дуг? — приветствовал он меня, будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос.

— Хорошо, — ответил я.

— Гренки?

Он нажал кнопку, и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба — румяные, золотистые.

Помню, отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал чего-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, уминая, привязывая, срезая, обрезая, смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки; он ни разу не взглянул на небо или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о буйно-голубом небе, он оглядывался влево и вправо, на маму или на меня, и ласково подмигивал, после чего продолжал работать, глядя в землю, все время в землю, и небо видело только его согнутую спину.

Вечером мы сидели на механических качелях на террасе, они нас качали, и обдували ветром, и пели нам песни. Было лето, луна, был лимонад, мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая поворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погодя он, как всегда, спросил:

— Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, Дуг?

Я ничего не ответил, но мать сказала:

— Он гуляет, когда тебя нет дома.

Отец посмотрел на меня, потом, впервые за этот день, на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды. Первый день и первый вечер после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его рьяно работающим в саду, лицо будто срослось с землей. На второй день он уже чаще посматривал на звезды. Днем мать не так боялась неба; зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды! Иной раз мне так и казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно...

На третий вечер, бывало, мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе, и я слышал, как мама его зовет — так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, включал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я, глянув вниз, обнаружил у его ног черный ящик; мама еще спала.

— Ну, Дуг, до свидания, — говорил он, пожимая мне руку.

— Через три месяца?

— Точно.

И он шел по улице, не садился ни в вертолет, ни на такси, ни на автобус, а просто шел пешком, неся летный костюм неприметно, в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом.

Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба...

Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды.

— Пойдем на телевизионный карнавал, — предложил я.

— Отлично, — сказал отец.

Мама улыбнулась мне.

И мы поспешили на вертолете в город и повели отца мимо бесчисленных экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше никуда не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, и я все думал: «Мой отец летает на Сатурн, на Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с Каллисто, обломки черных метеоритов, голубой песок. А мне приходится выманивать у них образцы для своей коллекции — песок Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить».

Случалось, я помнил, он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала.

Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул, не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался:

— Скажи, как там, в космосе?

Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно.

Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ.

— Там... это лучше всего самого лучшего в жизни. — Он осекся. — Да нет, ничего особенного. Рутинка. Тебе бы не понравилось. — Он испытующе посмотрел на меня.

— Но ты всякий раз летишь опять.

— Привычка.

— И куда же ты полетишь теперь?

— Еще не решил. Надо подумать.

Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало, он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения мы могли видеть, как он выбирает звезду.

— Пошли, — сказала мама, — пора домой.

Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделать. Я продолжал упрашивать отца, хотя он всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал:

— Ну ладно.

Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза.

— Прости меня, — сказал я.

— Ты мне ничуть не помогаешь, — произнесла она.

— Ничуть.

Мгновение спустя в шахте послышался шорох.

— Вот и я, — тихо сказал отец.

Мы увидели его в форме.

Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампасы до каблуков черных ботинок. Казалось, он весь — тело, руки, ноги — вырезан из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки.

Костюм облегал тело, как перчатка облекает длинную гибкую руку, от него пахло прохладным воздухом, металлом, космосом. От него пахло огнем и временем.

Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь.

— Повернись, — сказала мама.

Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко.

Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила. Вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи, дескать, не худо бы вымыть — или о своей бессоннице. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая.

— Но ведь эту неделю ночи безлунные.

— А звезды? — ответила она.

Я пошел в магазин и купил ей новые жалюзи, темнее, зеленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук...

Как-то раз я собрался подстричь газон.

— Не надо. — Мама стояла в дверях. — Убери на место косилку.

Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой.

Она вообще не разрешала мне ничего делать, — скажем, чинить машину, которая готовила завтрак, или

механического чтеца. Она все копила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит и паяет, улыбаясь, и мать счастливо улыбается, глядя на него.

Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров.

Однажды он сказал мне:

— Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка.

Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пленку, как зверь, который засыпает. Она говорила «да» там, где надо, улыбалась — все с опозданием на полсекунды.

— Словно я для нее не существую, — сказал отец.

А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал, они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамины волосы развевались, как у девчонки; она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные, торты и печенья, жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой. А к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял, растерянно глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил.

.. Отец немедленно повернулся, показывая костюм.

— Повернись еще, — сказала мама.

На следующее утро отец примчался домой с целой кипой билетов. Розовые билеты на Калифорнийскую ракету, голубые на Мексиканскую авиалинию.

— Живей! — воскликнул он. — Купим дорожную одежду, потом ее сожжем. Вот — в полдень вылетаем в Лос-Анджелес, в два часа — вертолеты до Санта-Барбары, в девять — самолетом до Энсенады и там заночуем!

И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по Тихоокеанскому побережью, пока не осели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, или пел, или жадно рассматривал все вокруг, цепляясь за впечатления, словно мир был большой центрифугой, которая вращалась так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать.

В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал рядом на песке, под жарким солнцем.

— Ух, — выдохнул он, — благодать...

Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце.

— Вот чего недостает, — сказал он.

Он, конечно, хотел сказать «на ракете». Но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер? Или голубое небо? Или ласковое солнце? Или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном?

— Что ж, потолкуем, — произнес он наконец.

И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить — три часа подряд, как это было у нас заведено. До самого вечера мы будем, нежась на солнце, вполголоса болтать о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли плаваю.

Отец кивал, слушал меня, улыбался, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили. Не о ракете и не о космосе — мы говорили о Мексике, где однажды путешествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой, теплой Мексики: дело было в полдень, сотни бабочек облепили наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крылышками, трепеща в судорогах — красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, о чем бы мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать. И я вспоминал, как он слушает стрекот машины, когда сам подстригает газон, вместо того чтобы включить программное управление, видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном.

— Дуг, — сказал он часов около пяти, мы только что подобрали полотенца и пошли вдоль прибоя к гостинице, — обещай мне одну вещь.

— Что?

— Никогда не будь космонавтом.

Я остановился.

— Я серьезно, — продолжал он. — Потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь — туда. Так что лучше и не начинать. Чтобы тебя не захватило.

— Но...

— Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю —

останусь насовсем, никогда больше не полечу!» И все-таки лечу опять, и, наверно, всегда будет так.

— Я давно хочу стать космонавтом, — сказал я.

Он не слышал моих слов.

— Я пытаюсь заставить себя остаться. Когда в субботу пришел домой, то твердо решил: сделаю все, чтобы заставить себя остаться.

Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Ну конечно, все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственно реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью: стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь Ориона.

— Обещай, что не станешь таким, как я, — попросил он.

Я помедлил.

— Хорошо, — ответил я.

Он пожал мне руку.

— Умница, — сказал он.

Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой, возилась с тестом и корицей, гремела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами — брусничный соус, горошек, пирог с тыквой.

— Разве сегодня праздник? — удивился отец.

— В День Благодарения тебя не будет дома.

— Вот как.

Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с блюд и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое лицо. И каждый раз говорил: «А-ах... » Потом он посмотрел на комнату, на свои руки. Обвел взглядом картины на стенах, стулья, стол, меня, маму. Наконец прокашлялся; я понял, что он решился.

— Лилли!

— Да? — мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный капкан, волшебный омут из подливки, в котором — она надеялась — ее муж, подобно доисторическому зверю в асфальтовом пруду, прочно увянет и останется навсегда, надежно отраженный птичьими косточками. В ее глазах играли искорки.

— Лилли, — сказал отец.

«Ну, ну, — нетерпеливо думал я, — говори же скорее, скажи, что ты на этот раз останешься дома навсегда и никогда больше не улетишь, скажи!»

В этот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно.

Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке.

Целую минуту отец смотрел на Марс. Потом, не глядя, протянул руку в мою сторону.

— Можно мне горошка? — попросил он.

— Простите, — сказала мать, — я совсем забыла хлеб.

— И она выбежала в кухню.

— Хлеб на столе! — крикнул я ей вслед.

Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня.

В эту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, овеваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу: он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалось по луне.

Я вышел и сел рядом. Мы качались вместе.

Наконец я спросил:

— А в космосе есть смертельные опасности?

— Миллион.

— Назови какие-нибудь.

— Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух. Или тебя захватит кометой. Ушиб. Удушье. Взрыв. Центробежные силы. Чрезмерное ускорение. Недостаточное ускорение. Жара, холод. Солнце, Луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация...

— Погибших сжигают?

— Поди найди их.

— А куда же девается человек?

— Улетает за миллиарды миль. Такие ракеты называют блуждающими гробами. Ты становишься метеором или планетоидом, который вечно блуждает в космосе.

Я промолчал.

— Зато, — сказал он погодя, — в космосе смерть быстрая. Раз — и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает.

Мы пошли спать.

Настало утро.

Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка.

— Итак, решено, — сказал он. — Следующий раз, как вернусь, — уж навсегда, больше никуда не полечу.

— Отец! — воскликнул я.

— Скажи об этом маме, когда она встанет.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— До свидания, через три месяца.

И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, нашивывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздух, уходя в прозрачные утренние тени...

Несколько часов спустя я завел разговор с мамой, мне хотелось кое-что выяснить.

— Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его, — сказал я.

Она все мне объяснила:

— Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: «Он мертв. Или все равно что мертв. Думай о нем как о мертвом». И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если воспоминание или сон прекратятся, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом...

— Но ведь бывает...

— Бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги и обращаюсь с ним, как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад и я никогда его не увижу. Тогда не так больно.

— Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется навсегда?

Она медленно покачала головой.

— Нет, он умер. Я в этом уверена.

— Он вернется живой, — сказал я.

— Десять лет назад, — продолжала мать, — я думала: что, если он погибнет на Венере? Тогда мы больше не сможем смотреть Венеру. А если на Марсе? Мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне? В те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем ненавидеть звездное небо.

— Еще бы, — сказал я.

Сообщение пришло на следующий день.

Посыльный вручил его мне, и я прочел его, стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман.

— Мам, — заговорил я.

— Не говори мне того, что я и без тебя знаю, — сказала она.

Она не плакала.

Нет, его убил не Марс и не Венера, не Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда в вечернем небе загорится Юпитер, или Сатурн, или Марс.

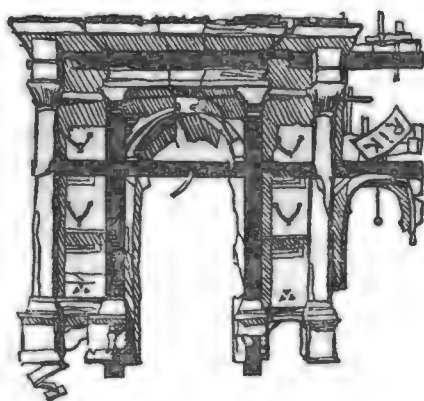
Дело обстояло иначе. Его корабль упал на Солнце.

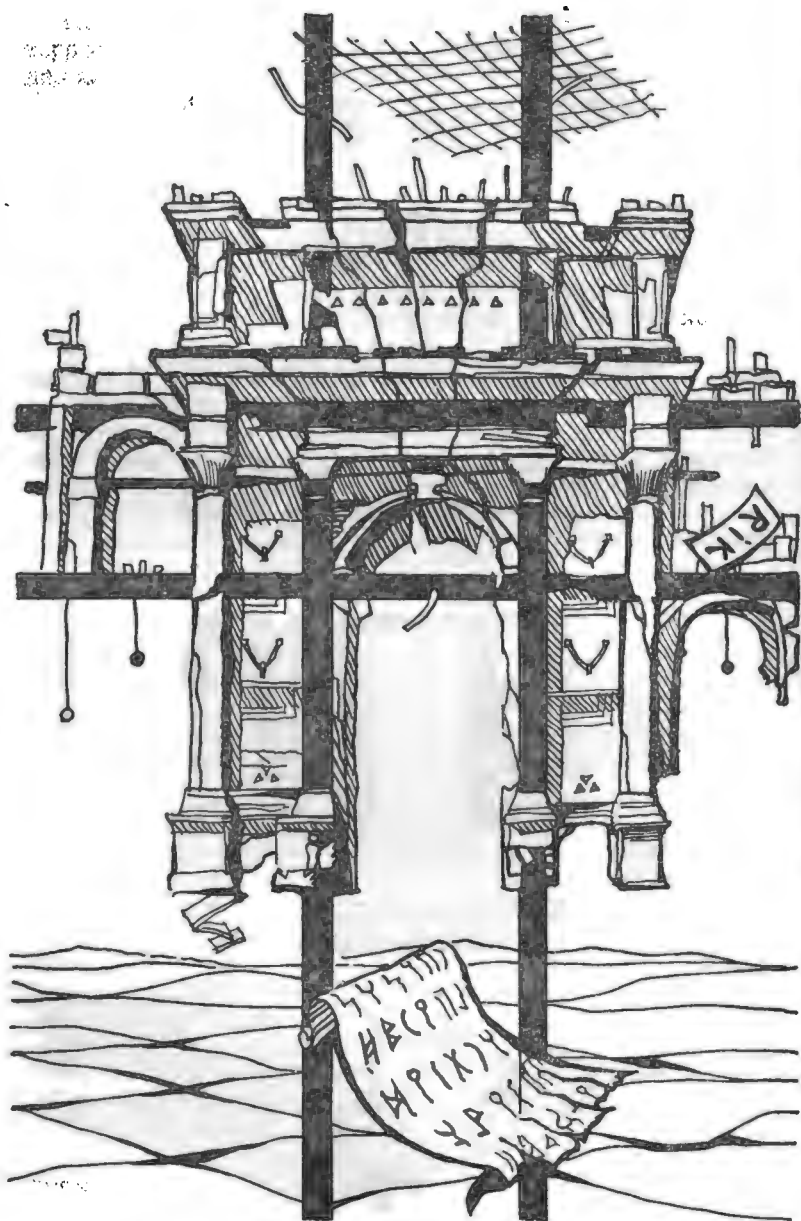
Солнце — огромное, пламенное, беспощадное, которое каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь.

После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полдень, ели ленч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы уходили в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете.

Потом мы еще долго выходили гулять только в дождливые дни, когда не было солнца.

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА





ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА

— Юг, — сказал командир корабля.

— Но, — возразила команда, — здесь, в космосе, нет никаких стран света!

— Когда летишь навстречу солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. — Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг.

Медленно кивнул и повторил:

— Юг.

Ракета называлась «Копа де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две тысячи бутылок кислотного лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта испанская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Йетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стейнбек. «Кувшин золота»? Стефенс. А помните — горшок золота у подножия радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце! Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем, — подумал командир, — падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...»

— Тысяча двести градусов Цельсия.

Под снегом стонали моторы; охлаждающие жидкости со скоростью пятнадцать тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!

Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы, — думал он: — человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Некогда. Времени нет. Пусть лежит. — Как тяжело поворачивается язык... — Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летящая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! — будто пробили куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!

Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишённые защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх... Ори, сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву... вихри пара... ничто!

— Командир?!

Кошмар развеялся.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. словно горсть земляники, брошенной в

топку, — только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-черт!

Он ударил по насосу отверткой.

— Господи!

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми, — думал он, — мы привыкли умирать не так стремительно, — минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас сожрать».

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад, — быстро подумал командир, направляя чашу, — обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и, защищая ее телом от дождя, торжествуя ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе, — думал командир, — тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны; атомная бомба немошна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово:

прилететь, осалить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами — назовите, как хотите, — которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знание о нашей вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, ледящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно, — прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...

— Бог ведает, — ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Закрыть чашу крышкой!... Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполном масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотная закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубках, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк.

— Готово.

Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надсжно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад.

Порой мне Солнце кажется горящим деревом...

Его плоды златые реют в жарком воздухе,

Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,

Источенные родом человеческим.

И взор людей исполнен преклоненья, —

Им Солнце кажется неопалимым деревом.

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно, — думал он, — и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так, — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами, — так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

— После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь — куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, — каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекачивается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в космосе есть только один курс, — сказал он.

Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север, — буркнул командир. — Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ

Дождь продолжался — жестокий нескончаемый дождь, нудный, изнурительный дождь; ситничек, косохлест, ливень, слепящий глаза, хлюпающий в сапогах; дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли и секли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщил руки людей наподобие обезьяньих лап; он сыпался твердыми стеклянными каплями; и он лил, лил, лил...

— Сколько еще, лейтенант?

— Не знаю. Миля. Десять миль, тысяча.

— Вы не знаете точно?

— Как я могу знать точно?

— Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до Солнечного Купола, было бы легче.

— Еще час, самое большее — два.

— Вы в самом деле так думаете, лейтенант?

— Конечно.

— Или лжете, чтобы нас подбодрить?

— Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит, поговорили!

Двое сидели рядом. Позади них — еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами.

Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выцвела от дождя; выцвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени.

Лейтенант чувствовал, как по щекам бегут струи воды.

— Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди?

— Не острите, — сказал один из второй двойки. — На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь десять лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень.

— Все равно, что под водой жить. — Лейтенант встал и поправил свое оружие. — Что ж, пошли. Мы найдем Солнечный Купол.

— Или не найдем, — заметил циник.

— Еще час или около этого.

— Вы меня обманываете, лейтенант.

— Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел.

Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело поглядывая на свои компасы. Кругом — никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа, и где-то далеко позади — ракета, на

которой они летели и вместе с которой упали. Ракета, в которой лежали два их товарища — мертвые, омываемые дождем.

Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река — широкая, плоская, бурая. Она текла в Великое море. Дождевые капли выбили на ее поверхности миллиарды кратеров.

— Давайте, Симмонс.

Лейтенант кивнул, и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем.

Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на работающих руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам.

— Я не спал эту ночь, — сказал он.

— А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей спали? Тридцать ночей — что тридцать дней! Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь... Все бы отдал за шляпу. Любую, лишь бы перестало стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена, так и саднит.

— Черт меня занес в этот Китай, — сказал другой.

— Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем.

— Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на тебя падает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. Тоже самое здесь, только масштабом побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать, мы на границе помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии, запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый такой...словно картечь. Я не выдержу долго.

— Эх, где Солнечный Купол! Кто их придумал, тот знал свое дело.

Плывя через реку, они думали о Солнечном Куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. Пятнадцать футов в высоту, сто футов в поперечнике; тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре Солнечного Купола, само собой, — солнце. Небольшой свободно парящий шар желтого пламени под самым сводом, и ты можешь его видеть отовсюду, сидя с книгой или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором

плавают сливки. Оно ждет их, золотистое солнце, на вид такое же, как земное, ласковое, немеркнувшее; и на то время, что ты праздно проводишь в Солнечном Куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры.

Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что скрипя зубами налегали на весла. Они были белые, как грибы, — как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескончаемым дождем? Белые-белые заросли; бледные, как плавленый сыр, листья; стволы, будто ножки гигантских поганок; почва, словно из влажного камамбера... Впрочем не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море.

— Есть!

Они высочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, пытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа, над зажигалкой, затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ.

Они пошли дальше.

— Стойте, минутку, — сказал лейтенант. — Мне показалось, я что-то увидел.

— Солнечный Купол?

— Я не уверен. Дождь не дал разглядеть.

Симмонс побежал вперед:

— Солнечный Купол!

— Назад, Симмонс!

— Солнечный Купол!

Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку.

Они догнали его на прогалине и стали, как вкопанные, глядя на него и его находку.

— Ракета...

Она лежала там, где они ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали свой долгий путь... Среди обломков лежали двое погибших, изо рта у них росла зеленоватая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела, но дождь сбил лепестки, и плесень увяла.

— Как же это случилось?

— Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело.

— Верно.
— Что же делать теперь?
— Идти снова.
— Черт дери, мы топтались на месте!
— Ладно, Симмонс, постарайся взять себя в руки.
— В руки, в руки! Этот дождь сведет меня с ума!
— У нас хватит еще продуктов дня на два, если быть экономными.

Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде; струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, с пальцев, колен. Они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны; из каждой поры сочилась вода.

Вдруг издали донесся грозный рев.

Из пелены дождя вынырнуло чудовище.

Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратно. Каждый его шаг был как удар с плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполнили влажный воздух, дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной — с милю, оно ощупывало землю словно слепой исполин. Иногда, на короткое мгновение, оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались тысячи хлыстов, которые беспощадно жалили заросли.

— Электрическая буря, — сказал один из четверки. — Она вывела из строя компасы. Теперь она идет на нас.

— Ложись! — приказал лейтенант.

— Бегите! — заорал Симмонс.

— Не дурите. Ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись. Ложитесь не ближе пятидесяти футов от ракеты. Глядишь, потратит на нее весь свой заряд, а нас минует. Живей!

Они шлепнулись наземь.

— Идет? — почти сразу послышался вопрос.

— Идет.

— Приблизилась?

— Осталось двести ярдов.

— А сейчас?

— Вот она!

Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел-молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю.

— А-а! — Один из космонавтов вскочил на ноги.

— Ложись, идиот! — крикнул лейтенант.

— А-а!

Еще десяток молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз сотню электрических стрел.

Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку-ловушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. Три товарища услышали запах человека, обращенного в золу.

Лейтенант спрятал лицо.

— Не поднимать головы! — распорядился он.

Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит.

Озарив лес еще десятком молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда уgomонится отчаянно колотящееся сердце.

Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат — хоронить или предоставить это быстро поднимающейся поросли.

Тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей. Будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня, когда лишь тонкая пленка воска осталась на обугленном скелете. Только зубы не почернели, и они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке.

— Зачем он вскочил...

Они сказали это почти одновременно.

На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного...

Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали.

Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки рождались у них на глазах, а старые меняли русла; реки цвета ртути, реки цвета серебра и молока.

Они вышли к морю.

Великое море... На Венере был всего один материк. Он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину, окруженный со всех сторон Великим Морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег.

— Нам туда. — Лейтенант кивнул на юг. — Я уверен, что в той стороне находятся два Солнечных Купола.

— Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?

— Всего их на острове сто двадцать штук, верно?

— К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть. Год назад в конгрессе на Земле предложили построить еще два-три десятка, да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя.

Они зашагали на юг.

Лейтенант, Симмонс и третий космонавт, Пикар, шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще; под ливнем, который хлестал и лил, и не переставая барабанил по суше, по морю и по идущим людям.

Симмонс первый заметил его.

— Вот он!

— Что там?

— Солнечный Купол!

Лейтенант моргнул, стряхивая с век влагу, и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель.

Поодаль, у моря, на краю леса, что-то желтело. Да, это он — Солнечный Купол!

Люди улыбались друг другу.

— Похоже, вы были правы, лейтенант.

— Удача!

— От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый?! Последний будет сукин сын! — Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но не ослабляли скорость.

— Вот когда я кофе напьюсь, — пропыхтел, улыбаясь, Симмонс. — А булочки с изюмом — это же объедение! А потом лягу, и пусть солнышко печет... Тому, кто изобрел Солнечные Куполы, орден надо дать!

Они побежали быстрее, желтый отсвет стал ярче.

— Наверно, сколько людей тут помешалось, пока не появились убежища. А что? Очень просто. — Симмонс отрывисто выдыхал слог. — Дождь, дождь! Несколько лет назад. Встретил приятеля. Моего друга. В лесу. Бродит вокруг. Под дождем. И все твердит. «Сам не знаю, как

войти, из-за дождя. Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю...» И так далее. Без конца. Рехнулся, бедняга.

— Береги дыхание!

Они продолжали бежать.

Они смеялись на бегу и смеясь достигли двери Солнечного Купола.

Симмонс рывком распахнул дверь.

— Эгей! — крикнул он. — Где булочки и кофе, подавайте их сюда!

Никто не отозвался

Они шагнули внутрь.

В Солнечном Куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей.

Пикар тихонько рассмеялся.

— Пикар, прекратить!

— Господи, вы только посмотрите: ни солнца, ни пищи — ничего. Венески — это их рук дело! Конечно!

Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям.

— Время от времени венески выходят из моря и нападают на Солнечный Купол. Они знают, что если уничтожат Куполы, то могут нас погубить.

— Но разве охрана не вооружена?

— Конечно. — Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. — Но с последнего нападения прошло пять лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох.

— Где же тела?

— Венески унесли их с собой, в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ, вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно.

— Держу пари, что не осталось ни крошки еды, — усмехнулся Пикар.

Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симмонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно

валялись на полу, мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь.

— Восхитительно. — Лейтенант смотрел на дыры. — Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок.

— Без продуктов? — Симмонс фыркнул. — К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, что можно придумать, — идти до следующего Солнечного Купола. Сколько до него отсюда?

— Недалеко. Помнится, как раз тут поставили два Купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд...

— Наверно они уже приходили и ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду, — когда поступят средства от конгресса. Нет, уж лучше не ждать.

— Ладно. Съедем остатки нашего рациона и пойдем.

— Если бы только дождь перестал колотить меня по голове, — заговорил Пикар. — Хоть на несколько минут. Просто, чтобы я вспомнил, что такое покой.

Он сжал голову обеими руками.

— Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипанья. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня еле от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристаёт?» Господи! — Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты. — А что я могу сделать сейчас? Кого ударить, кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое. Дождь, проклятый дождь, не дает передышки, щиплет и щиплет, только и слышно, только и видно что дождь, дождь, дождь!

— К четырем часам мы будем у следующего Солнечного Купола.

— Солнечного Купола? Такого же, как этот?! А если они все разгромлены? Что тогда? Если во всех куполах дыры, и всюду хлещет дождь?!

— Что ж, попытаем счастья.

— Мне надоело пытаться счастья. Все, чего я хочу, — крыша над головой и хоть чуточку покоя. Хочу побыть один.

— Туда всего восемь часов хорошего хода.

— Не беспокойтесь, я не отстану. — Пикар рассмеялся, отводя взгляд.

— Давайте поедим, — сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним.

Они снова пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на десять километров вверх и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю.

— Я должен поспать, — сказал Пикар, оседая на землю. — Четыре недели не спал. Ни минуты не уснул... Спать, здесь...

Небо стало темнеть. Надвигалась ночь, а на Венере ночью царит такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги.

Лейтенант сказал:

— Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну.

Они легли, подложив руки под головы так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло.

Он не мог уснуть.

Что-то ползало по нему. Что-то словно обтягивало его живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду и щекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уж и плющ обвивает все тело плотным ковром; он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете — растения флуоресцировали в темноте — он видел фигуры своих товарищей: будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал по его шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения; теперь дождь хлестал по спине и ногам.

Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаюсь, он что-то задел. Ну, конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар и с криком заметался вокруг них.

— Постойте, Пикар!

— Прекратите! Прекратите! — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо шесть зарядов.

Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель, которые на миг застывали в воздухе, словно ошеломленные выстрелами, — пятнадцать миллиардов капель, пятнадцать миллиардов слез, пятнадцать миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жалея их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий.

— Прекратите! Прекратите!

— Пикар!

Но Пикар вдруг будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо: Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх, дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки, булькали пеной в ноздрах.

— Пикар!

Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук катились прозрачные алмазы.

— Пикар! Мы уходим. Идем дальше. Пошли!

Крупные капли срывались с его ушей.

— Слышишь, Пикар!

Он точно окаменел.

— Оставьте его, — сказал Симмонс.

— Мы не можем уйти без него.

— А что же делать, нести его? — Симмонс плюнул. — Поздно: он уже не человек... Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется.

— Что?

— Неужели вы не слышали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и нос. Будет вдыхать воду.

— Не может быть!

— Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды.

Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели.

— Пикар! — Лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу.

— Он ничего не чувствует, — продолжал Симмонс. — Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги.

Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела.

— Но мы не можем бросить Пикара.

— Вот все, что мы можем сделать. — Симмонс выстрелил. Пикар упал на затопленную землю.

— Спокойно, лейтенант, — сказал Симмонс. — В моем пистолете найдется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует: он все равно стоял бы до тех пор, пока не захлебнулся бы. Я сократил его мученья.

Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу.

— Вы убили его.

— Да. Иначе он погубил бы нас всех. Вы видели его лицо. Он помешался.

Помолчав, лейтенант кивнул.

— Это верно.

И они пошли дальше под ливнем.

Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать, ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело; серый день, нескончаемый дождь... Они продолжали путь.

— Мы просчитались, — сказал Симмонс.

— Нет. Через час будем там.

— Говорите громче, я вас не слышу. — Симмонс остановился, улыбаясь. — Уши. — Он коснулся их руками. — Они отказали. От этого бесконечного дождя я онемел весь, до костей.

— Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант.

— Что? — Симмонс озадаченно смотрел на него.

— Ничего. Пошли.

— Я лучше обожду здесь. А вы идите.

— Ни в коем случае.

— Я не слышу, что вы говорите. Идите. Я устал. По-моему, Солнечный Купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверно, весь свод в дырах, как у того, что мы видели. Лучше я посижу.

— Сейчас же встаньте!

— Пока, лейтенант.

— Вы не должны сдаваться, осталось совсем немного.

— Видите — пистолет. Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду. А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь.

— Симмонс!

— Вы произнесли мою фамилию, я вижу по губам.

— Симмонс.

— Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе

что вы дошли до Солнечного Купола, — если только вообще дойдете, — и находите дырявый свод. Вот будет приятно!

Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: уходите.

Лейтенант не услышал выстрела.

На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавили ему сил; немного погода его вывернуло наизнанку.

Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды; и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую аморфную массу.

— Еще пять минут, — сказал он себе, — еще пять минут, и я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни, ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы...

Он пробился через море листьев и влаги и вышел на небольшой колм.

Впереди, сквозь холодную мокрую завесу, угадывалось желтое сияние.

Солнечный Купол.

Круглое желтое строение за деревьями, поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него.

В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же Купол, что накануне. Мертвый Купол без солнца?

Он поскользнулся и упал. «Лежи, — думал он, — все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей, пей вдоволь».

Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед, через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты.

Он остановился перед желтой дверью. Надпись: Солнечный Купол. Он потрогал дверь онемевшей рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед.

На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояла серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками.

Рядом на другом подносе — толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке, перед самым носом висело большое мохнатое полотенце; у ног стоял ящик для мокрой одежды; справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле — чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых кожаных переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное.

Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног; он чувствовал, как высыхают его волосы, и лицо, грудь, руки, ноги.

Он смотрел на солнце.

Оно висело в центре купола — большое, желтое, яркое.

Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко под голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное.

Он пошел вперед, срывая с себя одежду.

ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ

— Готовы?

— Да!

— Уже?

— Скоро!

— А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?

— Смотри, смотри, сам увидишь!

Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце?

Лил дождь.

Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями поливало тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в

классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать эту дикую дождливую планету.

— Перестает! Перестает!

— Да, да!

Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело: руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплется звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым.

Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.

Мне кажется, солнце — это цветок
Цветет оно только один часок.

Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.

— Ну ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.

— Нет, сама, — сказала Марго. — Сама.

— Уильям! — остановила мальчика учительница.

Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.

— Где же учительница?

— Сейчас придет.

— Скорей бы, а то мы все пропустим!

Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель.

Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и

смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.

— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям.

Марго молчала.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только.

Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже подпевает, глядя в заплаканные окна.

Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере; когда в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.

— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.

— Неправда! — закричали ребята.

— Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.

— Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.

Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: пускай вода не льется ей на голову! И после этого у нее появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю — это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худущая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю...

— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?

Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленлся.

— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он. — Не дождешься, ничего не будет!

Марго беззвучно пошевелила губами.

— Ничего не будет! — кричал Уильям. — Это просто для смеха, мы тебя разыграли. — Он обернулся к остальным. — Ведь сегодня ничего не будет, верно?

Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: «Верно, ничего не будет!»

— Но ведь... — Марго смотрела беспомощно. — Ведь сегодня тот самый день, — прошептала она. — Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...

— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее. — Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!

— Не надо, — сказала Марго и попятилась.

Все кинулись к ней, схватили и поволокли, она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.

— Готовы, дети? — она поглядела на часы.

— Да! — отозвались ребята.

— Все здесь?

— Да!

Дождь стихал.

Они столпились у огромной массивной двери.

Дождь перестал.

Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком, аппарат испортился, — шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома... А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив — мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.

И солнце появилось.

Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.

— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. — Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!

Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.

— Это лучше наших искусственных солнц, верно?

— Ясно, лучше!

Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и салки, но, главное, опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижимое. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли уговориться.

И вдруг...

Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала.

Все остановились.

Девочка протянула руку ладонью вверх.

— Смотрите, — сказала она и вздрогнула. — Ой, смотрите!

Все медленно подошли поближе.

На раскрытой ладони, по самой середке, лежала большая, круглая дождевая капля.

Девочка посмотрела на нее и заплакала.

Дети молча поглядели на небо.

— О-о...

Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались.

Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо почернело, будто разом настала глубокая ночь.

Минуто они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.

— И так опять будет целых семь лет?

— Да. Семь лет.

И вдруг кто-то вскрикнул:

— А Марго?

— Что?

— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.

— Марго...

Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и перевели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.

— Марго...

Наконец одна девочка сказала:

— Ну что же мы?..

Никто не шелохнулся.

— Пойдем... — прошептала девочка.

Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.

За дверью было тихо.

Медленно, медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

БЕТОНОМЕШАЛКА

Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттил трус! Эттил изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Эттил отсиживается дома!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышны, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттил опозорил своего сына; каково мальчику знать, что его отец — трус, — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттил, как ты можешь?

Эттил отложил металлическую книгу в золотом проводочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Вторжение на Землю — глупейшая затея. Она нас погубит.

За окном — гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Эттил.

Громкий стук в дверь. Тилла отворила. В комнату ворвался Эттилов тесть:

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришься навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу: — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут... О стыд!

— О стыд! — всхлипнули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспыхнул Эттил. — Надосла мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами.

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась, на пороге — военный патруль.

— Эттил Врай? — рявкнул голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая моя жена! Иду воевать заодно с этими дураками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдаль, эхом отозвались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды; каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались враспынную.

— Дураки, — шептал Эттил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки, разгороженной на ящички — все они навалом загружены книгами. Позади выросла фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории», «Научные рассказы», «Фантастические повести». Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого-тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — dokonчил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по

имени Мик, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что и так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Странная логика. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгоришь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Эттила толкнут в яму.

А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой — смерть. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший у него в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника, в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве, придвинулось ближе:

— Чего тебе?

— Я вступаю в Военный легион, — сказал Эттил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь мы пожелаем доблестным воинам счастливого пути, — сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчи Эттил увидел жену, она плакала от гордости; рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели, — прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе, — скорчив подобающую мину, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна, — думал Эттил. — Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета запыляет в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное в твоём существе, без чего нельзя жить, накрепко привязал к родному Марсу — и прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном голубом хмельном воздухе Марса — мягкие подвижные мехи, что жаждут освобождения, вот часть тебя, которой так нужен покой.

Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек, ты труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам.

И вот ты — опустошенный, угасший, охладелый, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что еще живо от тебя, осталось позади и бродит под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Этил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

«Как быстро все это получилось, — думал он. — Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса, и, однако, все мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...»

— Орудия, к бою!

— Есть!

— Прицел!

— Дистанция в милях?

— Десять тысяч!

— Штурм!

Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Этил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

Ти-и-и-и!

— Что это?

— Радио с Земли!

— Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-иш!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый земной голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да, добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно вещал голос. — Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

— Этого не может быть, — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Эттил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении:

— Он сошел с ума!

А Эттил все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

Толпа ахнула.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш, — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно! Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!»

Этил и еще полсотни марсиан с оружием наготове прыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убрали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 года вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они встанут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замаять неловкость, возникшую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик»; при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели «Все они славные парни».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я считаю, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — «БЛЕСК. Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял неумолчный говор, радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно очоенел. Его пуще прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет тебя другом и приятелем? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой:

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, у них это называется «на дружеской ноге». Это огромное собрание самых обыкновенных людей, они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же... все же... Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Даваясь и отплевываясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор... — стонал он и судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Эттил. — У них это называется «кукурузные хлопья».

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют «пирожное», — вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник. — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось — столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь, все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри украдкой хихикнули.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блснул в замочной скважине голубой глаз.

— Заговор, — шептал Эттил. — Так и знайте, это заговор.

В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо, и хитро; покрашенные

рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственной скале — злобные подводные чудовища!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!

— Они накинута на нас, забрасают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздался голос.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт подери!

Издали долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке, — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй, вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Эттил с воплем кинулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями,

скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Да ну, пойдем, — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вам тут, на Земле, больше нечего делать?

— А чего тебе еще? — она подозрительно оглядела его, голубые глаза округлились — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил изумленно посмотрел на нее, спросил не сразу:

— А все-таки, чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой «подлер-шесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «подлер-шесть», тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это точно. Была бы охота, можешь завести себе «подлер-шесть» и кати куда вздумается, это точно.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего...

— Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист, — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму, — сказал Эттил. — Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомни, по доброте душевной.

И она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложил бумагу на коленях и старательно вывел: «Дорогая Тилла!» Но тут его снова прервали. Чуть не под носом

кто-то застучал в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. — Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа, согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли? — она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впиалась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это как сейчас вижу, — сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего.

— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?!

— Да нет же! — Эттил смутился и растерялся. — Я думал, вы это про...

— Уж конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле, вы покроеетесь язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место мало приятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась старушонка.

— Нет-нет, прошу прощения. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. Вот, держи бумажку. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен, и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без усталости шагаем, и, если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты, ты к нам придешь, придешь?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!»

Ошеломленный Эттил снова взялся за письмо.

«Дорогая Тилла! Подумай только, по своей naïveté¹ я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, никаких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобные, живые — и все-таки говорят и действуют как автоматы и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные derrièrs². Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрерывно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль...»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

¹Простоте душевной (франц.).

²Зады (франц.).

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кос-какие цифры, если позволишь. Здесь, на Американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно несчайнные мысли — смешные и страшные мысли застывают в неподвижном желе. Автомобили сплющиваются в этакис аккуратные консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах кровавое месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть у здешних жителей такой праздник — карнавал в день всех святых. В этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там лежат двое; еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь соединились в тесном объятии, оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть человек, и у него Рычаг, довольно ему нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, быть может, я погибну, при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына».

Эттил сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь на Марс? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно: если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровавое давление астрономических масштабов, и совсем

ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься! Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек.

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживей, вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в машину.

Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помая Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сижу сегодня дома, и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ. А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех! Хоп!

— Но... — возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе такая книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения, и...

— Э, да вы шутник! Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий. — В азарте он наклонился к Эттилу. — Сперва шикарная сцена: на Марсе разгораются страсти,

огромное сборище, марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— Но у нас на Марсе города совсем не такие...

— Так нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем нам понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые с темными волосами и...

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что — словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Эттил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... вы принимаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудачки же вы там, на Марсе! Сразу видно, святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Заурядного человека, Билл, и мы горды, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь Сарояны. Да, да. Этакое огромное семейство благодущных Сароянов,

и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, Джо, и понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Наша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоем. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Считаю, еще миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте, и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валей.

— Как ваше имя? Что это означаст — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас... м-м... Рик?

— Угадал приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... — Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы Рик! Ох, забавно! Ну совсем не похожи. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоеует Марс, ведь у вас

есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джск, я давно подумывал: надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси, там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу?! — воззвал Р.Р. Ван Пленк к небесам. — На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а... Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, замстано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получишь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощенья. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра присзжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок; судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящиков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетала музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машины в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой?

Эттил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу — да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня; да, наши женщины высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена, и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казино Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков — да, не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые

книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще осталось им, пока не свалится с неба новое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война ужасна, но мир подчас куда страшнее.

Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцами, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эттил кинулся бежать. Машина настигала.

«Да, да, — устало подумал он. — Как странно, как печально... и рев, грохот... точь-в-точь бетономешалка».

СИНЯЯ БУТЫЛКА

Столбики солнечных часов лежали, поваленные, на белой гальке. Птицы, парившие когда-то в воздухе, теперь летели в древних небесах песка и камней, их песни смолкли. По дну умерших морей широкими реками струилась пыль, и когда ветер приказывал ей вновь воссоздать древнюю трагедию потопа, она вытекала из чаши моря и затопляла землю. Города, как мозаикой, были выложены молчанием, вымощены остановленным и сохраненным временем, украшены резервуарами и фонтанами памяти и тишины.

Марс был мертв.

Вдруг в бесконечном безмолвии, где-то очень далеко, возникло жужжание насекомого; сперва еле слышное, оно стало расти среди светло-коричневых холмов, заполнило пронизанный солнцем воздух, и наконец широкая бетонированная дорога завибрировала, и в дряхлых городах, шепча, посыпалась пыль.

Жужжание оборвалось.

В мерцании и тишине полудня Альберт Бек и Леонард Крэйг смотрели из старого автомобиля-вездехода на мертвый город, неподвижный под их взглядом, но ждавший их крика:

— Привет!

Стеклянная башня дрогнула и пролилась бесшумным потоком пыли.

— Отзовитесь!

И рухнула другая.

Здания разваливались одно за другим, послушные зовущему их к смерти голосу Бека. Высеченные из камня звери с огромными крыльями дружно срывались с высоты, падали вниз и вдребезги разбивали плиты дворов и фонтаны. Откликаясь на зов Бека, они стонали, переворачивались, с треском вставали на дыбы, а потом, словно приняв решение, бросались вниз, рассекая воздух, с пустыми глазами и застывшими гримасами ртов, и вдруг их острые, вечно голодные зубы шрапнелью рассыпались по каменным плитам.

Бек ждал. Башни больше не рушились.

— Теперь идти не опасно.

Даже не шевельнувшись, Крэйг спросил:

— Все за тем же?

Бек кивнул.

— За этой проклятой бутылкой! — воскликнул Крэйг.

— Не понимаю. Почему все за ней гоняются?

Бек вылез из машины.

— Кому удавалось ее найти, — ответил он, — те потом не рассказывали, не объясняли. Но — она очень древняя. Как пустыня, как умершие моря — и в ней может оказаться *все*. Так рассказывает легенда. А уж раз может оказаться *все*... ты готов на все, только бы ее найти.

— Ты, но не я, — сказал Крэйг. Губы его оставались почти неподвижными, в щелочках полузакрытых глаз поблескивала чуть заметно искорка смеха. Он лениво потянулся. — Я просто решил проехаться. Лучше сидеть с тобой в машине, чем изнывать от жары.

На вездеход старой-престарой конструкции Бек наткнулся месяцем раньше, еще до того, как к нему присоединился Крэйг. Машина была частью мусора, оставшегося на планете после Первого Индустриального Вторжения, которое кончилось, когда люди двинулись дальше, к звездам. Бек привел в порядок двигатель и стал разъезжать по мертвым городам, по землям лентяев и бродяг, мечтателей и бездельников — всех тех, кто застрял на задворках космоса, кого, как его и Крэйга, никакая работа никогда особенно не прельщала и для кого Марс поэтому оказался самым лучшим местом во вселенной.

— Синюю Бутылку марсиане сделали пять, а может, и десять тысяч лет назад, — сказал Бек. — Она из их

собственного, марсианского, стекла — и ее всё теряют и находят, теряют и находят.

Бек не отрывал взгляда от мерцающего знойного марева над развалинами. «Всю жизнь, — думал он, — я ничего не делал, и не сделал ни вот столечко. Другие, лучшие, чем я, свершали в это время многое: улетали на Меркурий, Венеру, а то и вообще из Солнечной системы. Но не я. Однако Синяя Бутылка может *все изменить*».

Он повернулся и пошел прочь от вездехода.

Крэйг тоже вылез и, быстро догнав Бека, пошел рядом.

— Сколько ты охотишься за ней, лет десять? — спросил он. — Ты дергаешься во сне, тебя подбрасывает, а днем ты все время потеешь. Тебе так хочется разыскать эту чертову бутылку, а ведь ты даже не знаешь, что в ней. Ты ненормальный, Бек.

— Заткнись, — огрызнулся Бек, ударом ноги отбрасывая с дороги камешки.

Они вошли в руины и зашагали по трещинам, прорезавшим каменные плиты хрупкими очертаниями марсианских зверей, и эти давно вымершие создания появлялись и исчезали от самых легких вздохов ветерка, передвигавшего безмолвную пыль.

— Подожди, — сказал Бек.

Он сложил ладони рупором и закричал во весь голос:

— Отзовитесь!

— ...витесь! — отозвалось эхо, и снова рухнули башни. Исчезли колонны и фонтаны. Таковы были эти города. Иногда стоило сказать слово, и падала башня, прекрасная, как симфония. Смотришь, и будто кантата Баха рассыпается у тебя на глазах.

Еще мгновение — и прах похоронен в прахе. Пыль осела. И только два здания остались стоять, как прежде.

Бек кивнул другу и двинулся вперед.

Они начали поиски.

Крэйг поднял глаза и, чуть заметно улыбаясь, сказал:

— А вдруг в этой бутылке маленькая женщина, сложенная гармошкой? Ну как складная чашка или как японский цветок — ставишь его в воду, и он распускается.

— Женщина мне не нужна.

— А может быть, как раз и нужна. Может быть, настоящей женщины, такой, чтобы тебя любила, у тебя никогда не было, и ты втайне надеешься, что именно ее ты и найдешь в этой бутылке. — Крэйг задумчиво пожевал губами. — Или, может, в ней что-нибудь из твоего детства. Все завязано в маленький платочек — озеро, дерево, на

которое ты лазил, зеленая трава, река. Что ты на это скажешь?

Взгляд Бека остановился на какой-то далекой-далекой точке.

— Иногда мне кажется... да, почти это, что-то очень близкое. Прошлое... жизнь на Земле. Не знаю.

Крэйг кивнул:

— Что в бутылке — зависит, может быть, от того, кто в нее посмотрит. Вот если бы в ней оказалось чуточку виски...

— Ищи, не ленись, — сказал Бек.

Семь комнат полны сверкания и блеска; от самого пола до потолочных балок громоздились на полках бочонки, кувшины, бутылки, вазы из красного, розового, желтого, фиолетового и черного стекла. Бек разбивал сосуды один за другим, убирал с дороги раз навсегда, чтобы ему не пришлось их перебирать и пересматривать заново.

Он покончил с одной комнатой и сейчас стоял, готовый вторгнуться в следующую. Сделать это он почти боялся. Боялся, что на этот раз наконец найдет Синюю Бутылку, что поиски закончатся и из его жизни уйдет смысл. Лишь после того, как десять лет назад он всю дорогу от Венеры к Юпитеру слушал рассказы тех, кто одержим страстью к путешествиям, о Синей Бутылке, в жизни у него появилась цель. Лихорадка зажгла его, и с той поры он пылал. Подступись к делу правильно — и надежда найти Бутылку наполнит содержанием всю твою жизнь. Впереди у тебя лет тридцать, не меньше, если только ты не будешь, разыскивая Бутылку, лезть из кожи и не признаешься даже себе, что вовсе не Бутылка тебе нужна, а сами поиски, азарт охоты, пыль, города и бесконечный путь.

Послышалось что-то вроде приглушенного фыркания. Бек повернулся и подошел к выходящему во двор окну. Неподалеку, едва слышно мурлыча, остановился небольшой серый мотоцикл-дюноход. С сиденья слез полный блондин и стал оглядывать город. «Тоже ищет, — подумал Бек и вздохнул. — Нас тысячи, и мы все ищем, ищем. Но этих городов, городков и селений, рушащихся от твоего крика, тоже тысячи, и только за тысячу лет можно разобрать и просеять все, что от них осталось».

В дверном проеме появился Крэйг.

— Ну, как дела?

— Не везет. — Бек втянул носом воздух. — Никакого запаха не чувствуешь?

— Запаха? — И Крэйг посмотрел вокруг.

— Вроде... виски «бурбон».

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Крэйг. — Да ведь это от меня.

— От тебя?!

— Только что выпил. Нашел сейчас вон в той комнате. Как обычно, расшвырял кучу бутылок, и в одной оказалось немножко «бурбона» — вот я и выпил.

Бек забила дрожь, он смотрел на Крэйга, не отрывая глаз.

— Откуда... откуда «бурбону» оказаться здесь, в марсианской бутылке? — У него похолодели руки. Он медленно шагнул вперед: — Покажи скорей мне!

— Да ведь это наверняка не...

— Покажи, черт бы тебя побрал!

Бутылка из небесно-синего марсианского стекла, совсем небольшая, стояла в углу, и когда Бек ставил ее на стол, рука его не почувствовала веса — словно бутылка, легкая и прозрачная, была соткана из воздуха.

— В ней до половины «бурбона», — сказал Крэйг.

— Что ты выдумываешь, она пустая! — воскликнул Бек.

— Потряси ее.

Бек поднял бутылку и встряхнул.

— Слышишь, булькает?

— Нет, не слышу.

— А я слышу ясно.

Бек поставил ее назад, на стол. Солнечный свет, проникая сквозь боковое окно, остриями лучей высекал из узкого сосуда синие искры. Это была синева звезды, которую держат на ладони. Синева неглубокой океанской бухты в полдень. Синева бриллианта в лучах утренней зари.

— Это она, — выдохнул Бек. — Я знаю, что это она. Больше искать не надо. Мы нашли Синюю Бутылку.

Крэйг посмотрел на него недоверчиво:

— Нет, ты и вправду ничего в ней не видишь?

— Ничего. Но... — Бек наклонился и стал пристально рассматривать глубины этой вселенной из синего стекла. — Может быть, если я откупорю и выпущу наружу то, что там внутри, я узнаю наверняка.

— Я закупорил плотно. Давай открою.

Крэйг протянул к бутылке руку.

— Прошу прощения, джентльмены, — слышалось у них за спиной.

Они обернулись и увидели полного блондина, в руке у него был пистолет. Он не смотрел на их лица, он смотрел только на Синюю Бутылку. Лицо у него расплылось в улыбке.

— Терпеть не могу прибегать к помощи оружия, но в данном случае это неизбежно — вот это произведение искусства нужно мне просто позарез. Предлагаю отдать добровольно.

Бек почти обрадовался. Было, пожалуй, даже что-то красивое в том, как эти два события совместились во времени: в глубине души он желал себе чего-нибудь в этом роде — чтобы у него украли сокровище, когда он будет уже держать его в руках. Теперь предстояло не меньше четырех-пяти лет новых поисков, погони, борьбы, выигрышей и потерь.

— Ну так давайте же ее мне, — сказал блондин.

Он поднял пистолет.

Бек протянул ему бутылку.

— Невероятно. Просто невероятно, — сказал полный блондин. — Так легко, что даже не верится: зашел, услышал голоса и вдруг мне дают Синюю Бутылку. Невероятно!

И он, негромко посмеиваясь, не спеша направился из комнаты к выходу, в сияние дня.

Под двумя холодными марсианскими лунами лежали скелеты и прах полночных городов. Подпрыгивая на ухабах, дребезжа, вездеход полз по разрушившейся дороге мимо этих городов, где фонтаны, картины, уцелевшая мебель, металлические страницы древних книг были запорошены штукатуркой, высохшими крыльями насекомых. Полз мимо городов, которые, давно перестав быть городами, стали мельчайшей пылью, а эта пыль бездумными цветами распускалась на лозах ветров то здесь, то там, то рядом, то за много миль отсюда — как песок в гигантских песочных часах, снова и снова строящий свои пирамиды. Безмолвие пропускало машину и смыкалось сразу же позади.

— Нам никогда не найти его, — сказал Крэйг. — Черт бы побрал эти дороги! Развалились от времени — сплошные ухабы и рытвины. Ему, на мотоцикле, легче, он может петлять и лавировать. А, черт!

Они резко свернули, чтобы объехать совсем плохой участок дороги. Их машина действовала как ластик: впереди ровная серая поверхность, они наезжают на нее — и из-под вековой пыли проступают золото и яркая

зелень древней марсианской мозаики, которой выложена дорога.

— Подожди! — крикнул Бек и остановил машину. — Что-то мелькнуло сзади.

— Где?

Они проехали ярдов сто назад.

— Да вон же! Видишь? Это он.

В канаве у дороге валялся мотоцикл-дюноход, а поперек него в неудобной позе лежал блондин. Он не шевелился. Глаза его были широко открыты, и они тускло блеснули, когда Бек посветил фонариком.

— Где бутылка? — спросил Крэйг.

Бек прыгнул в канаву и подобрал пистолет блондина.

— Не знаю. Здесь ее не видно.

— Отчего он умер?

— И этого я не знаю.

— Машина вроде бы в порядке. Это не авария.

Бек перевернул тело.

— Рак нет. Все выглядит так, будто он просто... остановился, по собственной своей воле.

— Может, сердечный приступ? — предположил Крэйг.

— Разволновался из-за бутылки. Отправился сюда, чтобы получше спрятаться. Думал, все обойдется, но приступ его угробил.

— А где тогда Синяя Бутылка?

— Кто-нибудь проходил мимо. О господи, ты же знаешь, сколько народу ее ищет...

Внимательными взглядами они обвели окружавший их мрак. Впереди, на синих холмах, в усыпанной звездами тьме, что-то двигалось.

— Вон, гляди, — показал Бек. — Три пешехода.

— Наверно, это они и...

— О боже, смотри, смотри!

Внизу, в канаве, фигура полного блондина засветилась, начала таять. Глаза его были теперь как два лунных камня на дне быстрого потока. Лицо исчезало, превращалось в пламя. Волосы стали похожи на короткие нити фейерверка, они горели и плевались огнем. На глазах у Бека и Крэйга тело задымилось. Пальцы задержались в пламени. И, как будто гигантский молот ударил по стеклянной статуе, туловище рассыпалось в пыль, и она поднялась и исчезла в пылании огненных хлопьев, стало облачком тумана, и ночной ветерок унес ее по ту сторону дороги.

— Оня, наверно... что-то с ним сделали, — сказал Крэйг. — Те трое... у них, видно, какое-то новое оружие.

— Но ведь такое уже бывало, — возразил Бек. — С теми, кто находил Синюю Бутылку, — так я слышал. Они исчезали. И Синяя Бутылка переходила к другим, и те тоже исчезали. — Он тряхнул головой. — Когда тело лопнуло, казалось, будто взлетел миллион светлячков...

— Попытаешься догнать?

Бек вернулся в машину. Окинул взглядом дюны, холмы праха и молчания.

— Нелегко будет, но, пожалуй, попробую. Теперь я... просто не могу иначе. — Он помолчал, а, когда заговорил опять, то обращался уже не к Крэйгу: — Кажется, я знаю, что в Синей Бутылке... Наконец-то я понял: в ней то, чего я больше всего хочу. И оно меня ждет.

— Я не поеду, — сказал Крэйг, подходя к машине, где, положив руки на колени, сидел в темноте Бек. — Не поеду гоняться за тремя вооруженными людьми. Я хочу жить, Бек, всего только жить. По мне, так этой бутылки хоть бы на свете не было. Рисковать ради нее своей шкурой я не намерен. Но тебе желаю удачи.

— Спасибо, — сказал Бек.

И поехал за дюны.

Прохладная ночь стекала, как вода, по прозрачному колпаку вездехода.

Резко тормозя в высохших руслах мертвых рек, на рассыпях гальки в меловых потеках, Бек находил свой путь между огромных скал. Полосы света от двух марсианских лун окрашивали в желто-золотистый цвет высеченные на скалах барельефы богов и животных, лица в милую высоту, на которых вырубленные письма увековечивали марсианскую историю; невероятные лица с открытыми глазами-пещерами.

От рева мотора срывались и падали со скал камни. Части древних скульптур, золотившихся в свете лун, обрушивались каменным ливнем и исчезали в холодной, как колодезная вода, синей тьме.

Бек ехал, и рев мотора возвращал мысли его назад, ко всем ночам последних десяти лет, ночам, когда он разжигал костры на дне высохших морей и старательно, не спеша готовил себе пищу. И, заснув, видел сны. Всегда одно и то же: будто он хочет чего-то. Но не знает чего. В годы молодости была тяжелая жизнь на Земле, паника 2130 года, голод, разруха, беспорядки, нужда. Потом — шатание по планетам, годы без женщин, без любви, одинокие годы. Выходишь из тьмы на свет, из чрева матери в мир, и что ты находишь в нем для себя?

Ну а тот мертвый, в канаве? Не искал ли он тоже всегда чего-то нисобычного? Такого, чего у него не было? И что вообще ссть на свете для таких, как он, Бек? Или для кого бы то ни было? Да и есть ли на свете хоть что-нибудь, к чему стоило бы стремиться?

Есть. Синяя Бутылка.

Он резко затормозил, выпрыгнул с пистолетом наготове. Начал перебегать, пригибаясь, от дюны к дюне. Впереди, на холодном песке, рядом лежали, вытянувшись, те трое. Они были с Земли, в одежде из грубой ткани, с загорелыми лицами и огрубевшими руками. Рядом с ними поблескивала в свете звезд Синяя Бутылка.

На глазах у Бека тела начали таять. Они исчезали, становясь струйками пара, каплями росы, прозрачными кристаллами. Мгновение — и от них не осталось и следа.

Когда, приликая к его губам и щекам, повисая на ресницах, просыпался дождь пепла, Бек почувствовал холод.

Он окаменел.

Полный блондин. Мертвые, исчезающие на глазах. Крэйг говорил, это какое-то новое оружие...

Нет.

Никакое не оружие.

Просто Синяя Бутылка.

Они откупоривали ее и находили в ней то, чего больше всего желали. Все долгие, одинокие годы несчастливые, мучимые неутоленными желаниями, люди открывали ее в надежде найти то, чего не нашли на планетах мироздания. И наконец находили — так же, как нашли эти трое. Теперь было понятно, почему Бутылка так быстро переходит от одного человека к другому и почему исчезают люди. Урожай снят — и вот уж мякина шевелится в ветре на песке по берегам мертвых морей. Становится пламенем, светлячками. Туманом.

Бек поднял бутылку и на расстоянии вытянутой руки начал ее рассматривать. Его глаза ярко блеснули. Руки дрожали.

Так вот, значит, чего на самом деле хотят все люди? Это и есть их тайное желание, запрятанное так глубоко, что о нем не догадаешься? То, к чему их бессознательно тянет? Вот, значит, чего безотчетно ищет, используя для этих поисков и собственное чувство вины, каждый человек?

Он ищет смерти.

Конца сомнениям, мукам, нужде, одиночеству, безнадёжности, страху — конца всему.

Но только каждый ли?

Нет. Например, Крэйг не ищет.

Бек поднял Бутылку выше. «Как просто, — подумал он, — и как правильно. Только этого я всегда и хотел. И ничего другого. Ничего».

Пустая Бутылка была открыта и поблескивала в свете звезд синевой. Бек поднес Бутылку ко рту и сколько мог, так чтобы заполнить легкие, втянул выходящий из нее воздух.

«Наконец-то», — подумал он.

Напряжение мгновенно его покинуло. Телу стало удивительно прохладно, потом — удивительно тепло. Он знал, что скользит по бесконечному звездному склону вниз, во тьму, пьянящую как вино. Теперь он плавал в синем вине, и в белом вине, и в красном. В груди у него горели свечи и крутились огненные колеса. Он почувствовал, как от него отделяются руки. Почувствовал, как улетают ноги — вот забавно! Он засмеялся. Не переставая смеяться, закрыл глаза.

Впервые в жизни он был счастлив.

Синяя Бутылка упала на холодный песок.

Крэйг шел и насвистывал. Светало. И вдруг он увидел Бутылку — она лежала, сверкая, на белом песке, в первых розовых лучах солнца, и около нее никого не было. Когда он наклонился поднять ее, послышался жаркий шепот искр. Несколько багровых и оранжевых светлячков мелькнули в воздухе и унеслись прочь.

Было тихо-тихо.

— Черт побери! — Он посмотрел на мертвые окна города неподалеку: — Эй, Бек!

И в прах рассыпалась башня, высокая, тонкая.

Вот твоё сокровище, Бек! Мне оно не нужно. Приходи и забирай!

— ...забирай! — откликнулось эхо, и рухнула последняя башня.

Крэйг ждал.

— Ну уж это, я вам скажу!.. — не выдержал он. — Вот она, Бутылка, в руках, а старина Бек неизвестно где.

Он встряхнул синий сосуд.

Внутри что-то булькнуло.

— Пожалуйста вам! Как в тот раз. Полна «бурбона», сй-богу!

Он сделал хороший глоток, вытер рот. Опустив бутылку и раскачивая ее, сказал:

— Столько суety ради двух-трех глотков «бурбона»! Подожду-ка я здесь старину Бека и отдам ему эту чертову

бутылку. А пока... не выпьете ли еще, мистер Крэйг? Спасибо, не откажусь.

Лишь один звук нарушал безмолвие мертвой земли — бульканье жидкости, льющейся в пересохшее горло. Синяя Бутылка сверкала в лучах утреннего солнца.

Крэйг блаженно улыбнулся и отхлебнул снова.

РАЗГОВОР ОПЛАЧЕН ЗАРАНЕЕ

С чего это в памяти всплыли вдруг старые стихи? Ответа он и сам не знал, но — всплыли:

Представьте себе, представьте еще и еще раз,
Что провода, висящие на черных столбах,
Впитали миллиардные потоки слов человеческих,
Какие слышали каждую ночь напролет,
И сберегли для себя их смысл и значение...

Он запнулся. Как там дальше? Ах, да...

И вот однажды, как вечерний кроссворд,
Все услышанное составили вместе
И принялись задумчиво перебирать слова,
Как перебирает кубики слабоумный ребенок...

Опять запнулся. Какой же у этих стихов конец? Постой-ка...

Как зверь безмозглый
Сгребает гласные и согласные без разбора,
За чудеса почитает плохие советы
И цедит их шепотком, с каждым ударом сердца
Строго по одному...
И в час полночный некто сядет в постели,
Услышит гром звонка, поднимет трубку,
И раздастся голос — чей? Святого духа?
Призрака из далыных созвездий?
А это — он. Зверь.
И с присвистом, смакуя звуки,
Пронесшись сквозь континенты, одолев безумие времени,
Зверь вымолвит по слогам:
— Здрав-ствуй-те...

Он перевел дух и закончил:

Что же ответить ему, прежде немому,
Затерянному неведомо где жестокому зверю,
Как достойно ответить ему?

Он замолк.

Он сидел и молчал. Восьмидесятилетний старик, он сидел один в пустой комнате, в пустом доме, на пустой улице пустого города, на пустой планете Марс.

Он сидел, как сидел последние полвека, — сидел и ждал.

На столе перед ним стоял телефон. Телефон, который давно-давно не звонил.

И вот теперь затрепетал, тайно готовясь к чему-то. Быть может, именно этот трепет и вызвал в памяти забытое стихотворение.

Ноздри у старика раздулись. Глаза широко раскрылись. Телефон задрожал — тихо, почти беззвучно.

Старик наклонился и уставился на телефон безумными глазами.

Телефон зазвонил.

Старик подпрыгнул, отскочил от телефона, стул полетел на пол. Старик закричал, собрав все силы:

— Нет!..

Телефон зазвонил опять.

— Не-е-ет!..

Старик хотел было протянуть руку к трубке, протянул — и сбил аппарат со стола. Телефон упал на пол как раз в ту секунду, когда зазвонил в третий раз.

— Нет, нет... о нет... — повторял старик тихо, прижимая руки к груди, покачивая головой, а телефон лежал у его ног. — Этого не может быть... Этого просто не может быть...

Потому что как-никак он был один в пустой комнате, в пустом доме, в пустом городе на планете Марс, где в живых не осталось никого, только он один, король безлюдных гор...

И все же...

— Бартон!..

Кто-то звал его по фамилии.

Нет, слышалось. Просто что-то трещало в трубке, жужжало, как кузнечики и цикады дальних пустынь.

«Бартон? — подумал он. — Ну да... ведь это же я!..»

Старик так давно не слышал звука своего имени, что совсем его позабыл. Он не принадлежал к числу тех, кто способен разговаривать сам с собой. Он никогда...

— Бартон! — позвал телефон. — Бартон! Бартон! Бартон!..

— Замолчи! — крикнул старик.

И пнул трубку ногой. Потев и задыхаясь, наклонился, чтобы положить ее обратно на рычаг.

Но едва он водворил ее на место, проклятый аппарат зазвонил снова.

На сей раз старик стиснул телефон руками, сжал так, будто хотел задушить, заглушить звук, но в конце концов костяшки пальцев побелели, и он, разжав руки, поднял трубку.

— Бартон!.. — донесся голос издалека, за миллиард миль.

Старик подождал — сердце отмерило еще три удара, — затем сказал:

— Бартон слушает

— Ну, ну, — отозвался голос, приблизившийся теперь до миллиона миль. — Знаешь, кто с тобой говорит?..

— Черт побери, — заявил старик. — Первый звонок за половину моей жизни, а вы шутки шутить...

— Виноват. Это я, конечно, зря. Само собой, не мог же ты узнать свой собственный голос. Собственный голос никто не узнает. Мы-то сами слышим его искаженным, сквозь кости черепа... С тобой говорит Бартон.

— Что?!

— А ты думал кто? Командир ракеты? Думал, кто-нибудь прилетел на Марс, чтобы спасти тебя?..

— Да нет...

— Какое сегодня число?

— 20 июля 2097 года.

— Бог ты мой! Шестьдесят лет прошло! И что, ты все это время так и сидел, ожидая прибытия ракеты с Земли?

Старик молча кивнул.

— Послушай, старик, теперь ты знаешь, кто говорит?

— Знаю. — Он вздрогнул. — Вспомнил. Мы с тобой одно лицо. Я Эмиль Бартон, и ты Эмиль Бартон.

— Но между нами существенная разница. Тебе восемьдесят, а мне двадцать. У меня еще вся жизнь впереди!..

Старик рассмеялся — и тут же заплакал навзрыд. Он сидел и держал трубку в руке, чувствуя себя глупым, заблудившимся ребенком. Разговор этот был немыслим, его не следовало продолжать — и все-таки разговор продолжался. Совладав с собой, старик прижал трубку к уху и сказал:

— Эй, ты там! Послушай... О господи, если б только я мог предупредить тебя! Но как? Ты же всего-навсего голос. Если б я мог показать тебе, как одиноки предстоящие годы... Оборви все разом, убей себя! Не жди! Если б ты мог понять, как это страшно — превратиться из того, что ты есть, в то, что я есть сегодня, теперь, на этом конце провода...

— Чего нельзя, того нельзя, — рассмеялся молодой Бартон далеко-далеко. — Я же не могу знать, ответил ли ты на мой звонок. Все это автоматика. Ты разговариваешь с записью, а вовсе не со мной. Сейчас 2037 год, для тебя — шестьдесят лет назад. На Земле сегодня началась война. Всех колонистов отозвали с Марса на ракетах. А я отстал...

— Помню, — прошептал старик.

— Один на Марсе, — рассмеялся молодой голос. — Месяц, год — не все ли равно! Продукты есть, книги есть. В свободное время я подобрал фонотеку на десять тысяч слов — ответы надиктованы моим же голосом и подключены к телефонным реле. Буду сам себе звонить, заведу собеседника...

— Да, да...

— Шестьдесят лет спустя мои записи мне позвонят. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто мысль такая замечательная в голову пришла, средство убить время. Это действительно ты, Бартон? Ты — это я?

Слезы текли из глаз старика.

— Да, да...

— Я создал тысячу Бартонов, тысячу магнитофонных записей, готовых ответить на любые вопросы и разместил их в тысяче марсианских городов. Целая армия Бартонов на всей планете, куда сам я жду возвращения ракет...

— Дурак! — Старик устало покачал головой. — Ты прождал шестьдесят лет. Состарился, ожидая, и все время один. И теперь ты стал я, и ты по-прежнему один, один в пустых городах...

— Не рассчитывай на мое сочувствие. Ты для меня чужак, живущий в иной стране. Зачем мне грустить? Когда я диктую эти записи, я живой. Но друг друга понять мы не можем. Ни один из нас не может ни о чем предупредить другого, хоть мы и перекликаемся через годы — один автоматически, другой по-человечески страстно. Я живу сейчас. Ты живешь позже меня. Пусть это бред. Плакать не стану — будущее мне неизвестно, а раз так, я остаюсь оптимистом. Записи спрятаны от тебя и лишь реагируют на определенные раздражители с твоей стороны. Можешь ты потребовать от мертвеца, чтобы он зарыдал?..

— Прекрати! — воскликнул старик. Он ощутил знакомый приступ боли. Им овладела тошнота — и чернота. — Боже, как ты был бессердечен! Прочь! Прочь!..

— Почему был, старина? Я есть. Пока лента скользит по тонвалу, пока крутятся бобины и скрытые от тебя электронные глаза читают, выбирают и трансформируют слова тебе в ответ, я буду молод — и буду жесток. Я останусь молод и жесток и тогда, когда ты давным-давно умрешь. До свидания...

— Постой! — вскричал старик.

Щелк.

Бартон долго сидел, сжимая в руке онемевшую трубку. Сердце причиняло ему нестерпимую боль.

Каким сумасшествием это было! Он был молод — и как глупо, как вдохновенно шли те первые годы одиночества, когда он монтировал все эти управляющие схемы, пленки, цепи, программировал вызовы на реле времени...

Звонок.

— С добрым утром, Бартон! Говорит Бартон. Семь часов. А ну вставай, поднимайся!..

Опять!

— Бартон? Говорит Бартон. В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун. Установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить.

— Спасибо.

Звонок!

— Бартон? Это я, Бартон. Пообедаем вместе? В ресторане «Ракета»?

— Ладно.

— Там и увидимся. Пока!..

Дз-з-з-ин-н-нь!

— Это ты? Хотел подбодрить тебя. Выше нос и так далее. А вдруг именно завтра за нами прилетит спасательная ракета?..

— Вот именно, завтра. Завтра — завтра — завтра...

Щелк.

Но годы обратились в дым. И Бартон сам заглушил коварные телефоны и все их хитрые, хитрые реплики. Теперь телефоны должны были вызвать его только после того, как ему исполнится восемьдесят, если он еще будет жив. И вот сегодня они звонят, и прошлое дышит ему в уши, нашептывает, напоминает...

Телефон!

Пусть звонит.

«Я же не обязан отвечать», — подумал он.

Звонок!

«Да ведь там и нет никого», — подумал он.

Звонок! Звонок! Звонок!..

«Это будто сам с собой разговариваешь, — подумал он.

— Но есть разница. Господи, и какая разница!..»

Он ощутил, как его рука сама подняла трубку.

— Алло, старик Бартон, говорит молодой Бартон. Мне сегодня двадцать один! За прошедший год я установил аппараты еще в двухстах городах. Я заселил Марс Бартонами!..

— Да, да...

Старик припомнил те ночи, шесть десятилетий назад, когда он носился сквозь голубые горы и железные долины в грузовике, набитом всякой техникой, и насвистывал,

счастливый. Еще один аппарат, еще одно реле. Хоть какое-то занятие. Остроумное, необычное, грустное. Скрытые голоса. Скрытые, запрятанные. В те молодые годы смерть не была смертью, время не было временем, а старость казалась лишь смутным эхом из глубокого грота лет, лежащих впереди. Молодой идиот, садист, дурак, не помышляющий о том, что снимать урожай придется ему самому...

— Вчера вечером, — сказал Бартон двадцати одного года от роду, — я сидел в кино посреди пустого города. Прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох, и смеялся же я!..

Да, да...

— У меня родилась идея. Я записал свой голос на одну и ту же пленку тысячу раз подряд. Запустил ее через громкоговорители — звучит как тысяча человек. Шум толпы, оказывается, успокаивает. Я так все устроил, что двери в городе хлопают, и дети поют, и радиолы играют, все по часам. Если не смотреть в окно, только слушать, тогда здорово. А выглянешь — иллюзия пропадает. Наверное, начинаю чувствовать свое одиночество...

— Вот тебе и первый сигнал, — сказал старик.

— Что?

— Ты впервые признался себе, что одинок...

— Я поставил опыты с запахами. Когда я гуляю по улицам, из домов доносятся запахи бекона, яичницы, ветчины, рыбы. Все с помощью потайных устройств.

— Сумасшествие!

— Самозащита!..

— Я устал...

Старик резко повесил трубку. Это уж чересчур. Прошлое захлестывает его...

Пошатываясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу.

Город лежал в темноте. Не горели больше красные неоновые огни, не играла музыка, не носились в воздухе кухонные запахи. Давным-давно забросил он фантастику механической лжи. Прислушайся! Что это — шаги?.. Запах! Вроде бы земляничный пирог... Он прекратил все это раз и навсегда.

Он подошел к каналу, где звезды мерцали в дрожащей воде.

Под водой шеренга к шеренге, как рыба в стае, ржавели роботы — механическое население Марса, которое он создавал в течение многих лет, а затем внезапно осознал жуткую бессмысленность того, что делает, и приказал им

— раз, два! три, четыре! — следовать на дно канала, и они утонули, пуская пузыри, как пустые бутылки. Он истресбил их всех — и не чувствовал угрызения совести.

В неосвещенном домике тихо зазвонил телефон.

Он прошел мимо. Телефон замолк.

Зато впереди, в другом коттедже, забрснчал звонок, словно догадался о его приближении. Он побежал. Звонок остался позади. Но на смену пришли другие звонки — в этом домике, в том, здесь, там, повсюду! Он рванулся прочь. Еще звонок!

— Ладно — закричал он в изнеможении. — Ладно, иду!

— Алло, Бартон!..

— Что тебе?

— Я одинок. Я существую, только когда говорю. Значит, я должен говорить. Ты не можешь заставить меня замолчать...

— Оставь меня в покое! — в ужасе воскликнул старик.

— Ох, сердце...

— Говорит Бартон. Мне двадцать четыре. Еще два года прошло. А я все жду. И мне все более одиноко. Прочел «Войну и мир». Выпил реку вина. Обошел все рестораны — и в каждом был сам себе официант, и повар, и оркестрант. Сегодня играю в фильме в кинотеатре «Тиволи». Эмиль Бартон в «Напрасных усилиях любви» исполнит все роли, некоторые в париках!..

— Перестань мне звонить, или я тебя убью!..

— Тебе меня не убить. Сперва найди меня!

— И найду.

— Ты же забыл, где ты меня спрятал. Я везде: в кабелях и коробках, в домах и башнях и под землей. Давай убивай! Как ты назовешь это? Телеубийство? Самоубийство? Ревнуешь, не так ли? Ревнуешь ко мне, двадцатичетырехлетнему, ясноглазому, сильному, молодому... Ладно, старик, стало быть, война! Война между нами! Между мной — и мной! Нас тут целый полк всех возрастов против тебя, единственного настоящего. Валяй, объявляй войну!..

— Я убью тебя!

Щелк.

Тишина.

Он вышвырнул телефон в окно.

В полночный холод автомобиль пробирался по глубоким долинам. На полу под ногами Бартона были сложены пистолеты, винтовки, взрывчатка. Рев машины отдавался в его истонченных, усталых костях.

«Я найду их, — думал он, — найду и уничтожу всех до единого. Господи, и как он только может так поступать со мной?..»

Он остановил машину. Под заходящими лунами лежал незнакомый город. Над городом висело безветрие.

В холодных руках он держал винтовку. Смотрел на столбы, башни, коробки. Где же запрятан голос в этом городе? Вон на той башне? Или на той, на этой? Сколько лет прошло! Он судорожно повел головой в одну сторону, в другую...

Поднял винтовку...

Башня развалилась с первого выстрела.

«А надо все, — подумал он. — Придется срезать все башни. Я забыл, забыл! Слишком давно это было...»

Машина двинулась по безмолвной улице.

Зазвонил телефон.

Он бросил взгляд на вымершую аптеку.

Аппарат!

Сжав пистолет, он сбил выстрелом замок и вошел внутрь.

Щелк.

— Алло, Бартон! Предупреждаю: не пытайся разрушить все башни или взорвать их. Сам себе перережешь глотку. Одумайся...

Щелк.

Он тихо вышел из телефонной будки и двинулся на улицу и все прислушивался к смутному гулу башен — гул доносился сверху, они все еще действовали, все еще оставались нетронутыми. Посмотрел на них снова — и вдруг сообразил: он не вправе их уничтожить. Допустим, с Земли прилетит ракета, — сумасбродная мысль, но допустим, она прилетит сегодня, завтра, через неделю? И сядет на другой стороне планеты, и кто-то захочет связаться с Бартоном по телефону — и обнаружит, что вся связь прервана?..

Он опустил винтовку.

— Да не придет ракета, — возразил он себе вполголоса.

— Я старик. Слишком поздно...

«Ну а вдруг придет, — подумал он, — а ты и не узнаешь... Нет, надо, чтобы связь была в порядке...»

Опять зазвонил телефон.

Он тупо повернулся. Пошаркал обратно в аптеку, непослушными пальцами поднял трубку.

— Алло!..

Незнакомый голос.

— Пожалуйста, — сказал старик, — оставь меня в покое...

— Кто это, кто там? Кто говорит? Где вы? — откликнулся изумленный голос.

— Подождите. — Старик пошатнулся. — Я Эмиль Бартон. Кто со мной говорит?

— Говорит капитан Рокуэл с ракеты «Аполлон-48». Мы только что с Земли...

— Нет, нет, нет!..

— Вы слушаете меня, мистер Бартон?

— Нет, нет! Этого быть не может...

— Где вы?

— Врешь! — старику пришлось прислониться к стенке будки. Глаза его ничего не видели. — Это ты, Бартон, потешаешься надо мной, обманываешь меня снова!..

— Говорит капитан Рокуэл. Мы только что сели. В Новом Чикаго. Где вы?

— В Гринвилле, — прохрипел старик. — Шестьсот миль от вас.

— Слушайте, Бартон, могли бы вы присхать сюда?

— Что?

— Нам нужно провести кое-какой ремонт. Да и устали за время полета. Могли бы вы присхать помочь?

— Да, конечно.

— Мы на поле за городом. К завтрашнему дню доберетесь?

— Да, но...

— Что еще?

Старик погладил трубку.

— Как там Земля? Как Нью-Йорк? Война кончилась? Кто теперь президент? Что с вами случилось?..

— Впереди уйма времени. Наговоримся, когда приедете.

— Но хоть скажите: все в порядке?

— Все в порядке.

— Слава богу. — Старик прислушался к звучанию далеского голоса. — А вы уверены, что вы капитан Рокуэл?

— Черт возьми!..

— Прошу прощения...

Он повесил трубку и побежал.

Они здесь, после стольких лет одиночества — невероятно, — люди с Земли, люди, которые возьмут его с собой, обратно к земным морям, горам и небесам...

Он завел машину. Он будет ехать всю ночь напролет. Риск стоит того — он вновь увидит людей, пожмет им руки, услышит их речь...

Громовое эхо мотора неслось по холмам.

Но этот голос... Капитан Рокуэл. Не мог же это быть он сам сорок лет назад... Он не делал, никогда не делал подобной записи! А может, делал? В приступе депрессии, в припадке пьяного цинизма не выдумал ли он однажды ложную запись ложной посадки на Марсе ракеты с поддельным капитаном и воображаемой командой? Он зло мотнул головой. Нет! Он просто подозрительный дурак. Теперь не время для сомнений. Нужно всю ночь, ночь напролет мчаться вдогонку за марсианскими лунами. Ох, и отпразднуют же они эту встречу!..

Взошло солнце. Он бесконечно устал, шипы сомнений впивались в душу, сердце трепетало, руки судорожно сжимали руль — но как сладостно было предвкушать последний телефонный звонок: «Алло, молодой Бартон! Говорит старый Бартон. Сегодня я улетаю на Землю. Меня спасли!..» Он слегка усмехнулся.

В затемненные предместья Нового Чикого он въехал перед закатом. Вышел из машины — и застыл, уставясь на бетон космодрома, протирая воспаленные глаза.

Полс было пустынно. Никто не выбежал ему навстречу. Никто не тряс ему руку, не кричал, не смеялся.

Он почувствовал, как заходится сердце. В глазах потемнело, он будто падал сквозь пустоту. Спотыкаясь, побрел к какой-то постройке.

Внутри в ряд стояли шесть телефонов.

Он ждал, задыхаясь.

Наконец — звонок.

Он поднял тяжелую трубку.

Голос:

— А я еще думал — доберешься ли ты живым...

Старик ничего не ответил, просто стоял и держал трубку в руке.

— Докладывает капитан Рокуэл, — продолжал голос.

— Какие будут приказания, сэр?

— Ты! — простонал старик.

— Как сердчишко, старик?

— Нет!..

— Надо же было мне как-то устранить тебя, чтоб сохранить жизнь себе — если, конечно, можно сказать, что магнитозапись живет...

— Я сейчас еду обратно, — ответил старик. — И терять мне уже нечего. Я буду взрывать все подряд, пока не убью тебя!

— У тебя сил не хватит. Почему, ты думаешь, я заставил тебя ехать так далеко и так быстро? Это была последняя твоя поездка!..

Старик ощутил, как дрогнуло сердце. Никогда уж он не сможет добраться до других городов... Война проиграна. Он упал в кресло, изо рта у него вырвались тихие скорбные звуки. Он смотрел неотрывно на остальные пять телефонов. Они зазвонили хором. Гнездо с пятью отвратительными галдящими птицами!

Трубки приподнялись сами собой.

Комната поплыла перед глазами.

— Бартон, Бартон, Бартон!..

Он сжал один из аппаратов руками. Он душил телефон, а тот по-прежнему смеялся над ним. Стукнул по телефону. Пнул ногой. Намотал горячий провод, как серпантин, на пальцы и рванул. Провод сполз к его непослушным ногам.

Он разматал еще три аппарата. Наступила внезапная тишина.

И словно тело Бартона обнаружило вдруг то, что долго держало в тайне, — оно начало оседать на усталых костях. Ткань век опала, как лепестки цветов. Рот сморщился. Мочки ушей оплыли расплавленным воском. Он уперся руками себе в грудь и упал ничком. И остался лежать. Дыхание остановилось. Сердце остановилось.

Долгая пауза — и зазвонили уцелевшие два телефона.

Где-то замкнулось реле. Два телефонных голоса соединились напрямую друг с другом.

— Алло, Бартон!

— Да, Бартон?

— Мне двадцать четыре.

— А мне двадцать шесть. Мы оба молоды. Что стряслось?

— Не знаю. Слушай...

В комнате тишина. Старик на полу недвижим. В разбитое окно задувает ветер. Воздух свеж и прохладен.

— Поздравь меня, Бартон! Сегодня у меня день рождения, мне двадцать шесть!

— Поздравляю!..

Голоса запели хором, поздравляя друг друга, — и пение подхватил ветерок, вынес из окна и понес чуть слышно по мертвому городу.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут были и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляли большое стекло посередине; одни были цветом, как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздь блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка была точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный, осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... И тогда он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей совсем не было... ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчишки в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь, как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — в ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужос. Тут все не как дома, и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ошупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок.

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробка... да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда складывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул.

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и... — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели

здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб... — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, се кольца и безделушки. А за стенами востер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался востер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески) и вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через подопыды перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились у них под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими прапраправнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтоб поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не заси-

живайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт побери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: *ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!* Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтоб Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападёт ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказывать. А потом подумал, вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал, чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — мальчишки, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новос, так, сй-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчишки остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налестевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчишков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толидо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчишки прыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с

минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступени заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке сосредоточенная, задумчивая и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней.

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Он обошел другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непроходящей зари. И, наклоняясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привыч-

ное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца и подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя...»

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

КАЛЕЙДОСКОП

Ракету тряхнуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного Солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дсти, что заблудились в холодную зимнюю ночь.

— Вуд! Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я, Стоун!

— Стоун, это я, Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не

люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

Да, правда. Холлис, летя кувырком в пустоте, понял — это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстанутся, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою.

— Думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.

— А что произошло? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, врежусь в Луну.

— А я в Землю. Возвращаюсь к матушке-Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой, — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать...

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, господи, не хочу так!

— Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь? Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — даже весело, как ни в чем не бывало: — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал до него добраться, и вот слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падасешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и всем выматает душу, и они не смогут переговариваться между собой.

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет Вселенную.

«Так ли, эдак ли, — думает Холлис. — Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты, так почему бы не сейчас?»

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого, безмолвного падения.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис не откликается, но лицо ему обдаст жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не страшайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну, и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй приказывай. — За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал. — О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт. — А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной кампании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно — он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлис перетянул рукав еще туже,

как жгутом, и кровь, только что хлеставшая, точно из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой сердцевине се трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране, — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так — умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а уже все кончено? Неужто всем она кажется такой немыслимо краткой — или только ему здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтал свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

«А сейчас ты влип, — думал Холлис. — Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы паддем, и я больше не завидаю, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было».

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь он хотел сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба жестоко ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту — вот что важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть что вспомнить! — сердито крикнул издалека Леспир, обними руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает... Да, так. Мысль эта терзала Холлиса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспире. — Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно, — отозвался Леспир. — Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случилось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. «Подлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатились по щекам. Наверно, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, никакого это не мужество, просто он оцепснел, так бывает от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира, — теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль. — Я на тебя не в обиде.

«Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис. — Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — и какая от него радость? Так и так помирать». Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами — если смерть не для всех одинакова, то надо думать, сго смерть и смерть Леспира будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти.

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь: метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознания; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр; и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис?

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать.

— Это опять я, Эплгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверное, чтобы тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверное, это я так быстро старею, вот и спешу покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром, и стыдно мне, что ли, стало. В общем, неважно, только ты знай, я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, сплошное вранье. И катись к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукин ты сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты?! — на всю вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, группа Мирмидонян; они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!

Молчание. Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и чернильный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос Бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем

прочь, за орбиту Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не смей, — сказал Стоун и исчез. Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасли, каждый уносился все дальше по своей кривой — один к Марсу, другие за пределы Солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис, — голос Эплгейта.

Еще и еще прощанья. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка пронизывающей пространство ракеты, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И, как живое существо погибает, если выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые бок о бок, и всё, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, сопротивляться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один. Он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгнули, как будто Бог обронил несколько слов, и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт улетает к Плутону; и Смит, Тернер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменичивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

«А я? — думал Холлис. — Что мне делать? Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость; она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал! Но теперь никого

нет рядом, я один — что можно сделать хорошего, когда ты совсем один. Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу и сгорю, и развеюсь прахом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть прах, и он соединится с Землей».

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего; только одного ему хотелось: сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, сделать бы хоть что-то хорошее и знать — я это сделал...

«Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор».

— Хотел бы я знать, — сказал он вслух, — увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падущая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорее желание!

МАЛЬЧИК—НЕВИДИМКА





МОРСКАЯ РАКОВИНА

Ему хотелось выскочить из дома и побежать, прыгать через изгороди, гонять консервные банки, звать через открытые окна ребят. Солнце стояло высоко, в небе ни облачка, а он должен был лежать под простынями и одеялами, потеть, хмуриться и сердиться.

Шмыгнув носом, Джонни Бишоп приподнялся и сел. В толстой палке из солнечных лучей, ударившей, чтобы их согреть, по пальцам сго ног, висели апельсиновый сок, микстура от кашля и запах духов его матери, которая только что ушла из комнаты. Нижняя половина одеяла из лоскутков, красных, зеленых, лиловых и голубых, была похожа на цирковое знамя. Их пестрота и яркость били в глаза, как в уши бьет крик. Джонни нетерпеливо заерзал.

— Хочу на улицу, — тихо пожаловался он сам себе. — Черт бы все побрал.

Рассыпая прозрачными крыльями сухое стаккато и жужжа, об оконное стекло билась муха.

Он посмотрел на нее с пониманием: неудивительно, что ей тоже хочется на улицу! Потом покашлял и пришел к выводу: дряхлые старики так не кашляют, так может кашлять только одиннадцатилетний молодой человек, который через неделю снова будет рвать тайком яблоки в чужих садах и стрелять жеваной бумагой в учителей.

В коридоре быстро и весело застучали по свеженатертому полу каблуки, дверь отворилась, и вошла мать.

— Почему это ты не лежишь, мой друг? — сказала она. — Ложись сейчас же.

— Мне уже лучше. Честное слово.

— Доктор сказал: еще два дня.

— Два? — Нужно было показать, как он потрясен. — Это обязательно, болеть так долго?

Мать рассмеялась.

— Нет, не болеть... но в постели оставаться. — Она лгонько шлепнула рукой по его левой щеке. — Хочешь еще апельсинового сока?

— С лекарством или без?

Мать сделала удивленное лицо.

— С лекарством? Каким?

— Я тебя знаю! Подкладываешь лекарство в апельсиновый сок, чтобы я не заметил. Но я все равно его чувствую.

Мать засмеялась.

— На этот раз без лекарства.

— А что у тебя в руке?

— А, это? — Мать протянула ему что-то гладкое, переливающееся в лучах солнца, скрученное в спираль. Он взял. Предмет был твердый, блестящий... и красивый.

— Оставил тебе доктор Гуль, он заходил несколько минут назад. Дал, чтобы ты немножко развлекся.

Он посмотрел на эту штуковину с некоторым сомнением. Потом погладил ее своей маленькой рукой.

— Как же я развлекусь? Я не знаю даже, что это такое.

Мать улыбнулась — словно солнце засияло в комнате.

— Это, Джонни, морская раковина. Доктор Гуль нашел ее в прошлом году на берегу Тихого океана.

— А, понятно. А откуда она там взялась?

— О, я не знаю. Возможно, очень давно она служила домом для какой-то формы морской жизни.

Его брови поднялись.

— Домом? Значит, кто-то в ней жил?

— Да.

— Нет, правда?

Она повернула раковину в его руке.

— Если не веришь, приложи вот этим концом к уху.

— Вот так? — Он поднес раковину к розовому ушку и крепко прижал ее. — А теперь что делать?

Мать улыбнулась.

— А теперь, если помолчишь и прислушаешься, ты кое-что услышишь.

Он прислушался. Неожутимо открылось его ухо — так раскрывается навстречу свету цветок.

На каменистый берег набежала и разбилась титаническая волна.

— Море шумит! — закричал Джонни. — Ой, мам! Океан! Волны! Море!

Волны накатывались на далекий скалистый берег. Джонни зажмурился и улыбнулся, его личико стало от этого вдвое шире. Грохочущие волны с ревом врывались в маленькое жадное ушко.

— Да, Джонни, — сказала мать. — Ты слышишь море.

День подходил к концу. Джонни лежал на спине, утонув головой в подушке; в ладонях у него, как в колыбели, лежала раковина, и он поглядывал, улыбаясь, в большое окно справа от постели. Был виден пустырь на другой стороне улицы. По нему, как потревоженные жуки, носились мальчишки, и было слышно, как они кричат: «Это я убил тебя первый!» — «А сейчас я тебя!» Или:

«Так нечестно!» Или: «Теперь командиром буду я, а то не играю!»

Казалось, эти голоса звучат где-то вдалеке и, словно качаясь на волнах солнечного света, то приближаются, то удаляются. Солнечный свет был как глубокая, сияющая золотая вода, эта вода лизала берег лета и грозила залить его. Медленная, ленивая, теплая, почти неподвижная. Мир отражался в ней вверх ногами, и все в нем было замедленное. Медленней тикали часы. Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая. Будто смотришь кино, и у тебя на глазах кадры замедляются и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчатей. И ничто больше не имело значения.

До чего хочется выйти и поиграть! Он не сводил с ребят глаз — смотрел, как они в неподвижном зное залезают на заборы, играют в мяч, бегают на роликах. Голова все тяжелела, тяжелела, тяжелела. Веки, как занавес, опускались все ниже, ниже. Морская раковина лежала на подушке около его уха. Он снова прижал ее.

Бух-я — разбивались волны, тр-рр — рассыпались на песке. На желтом песке берега. А когда откатывались назад, на песке оставались пузыри пены, похожие на те, что падают из медвежьей пасти. Пузыри лопались и исчезали, как сновидения. И снова волны, и снова пена. И, переворачиваясь в ряби отступающих волн, омытые соленой влагой, разбегались в разные стороны коричневые пятна — песчаные крабы. Буханье холодной зеленой воды, прокладный песок. Звук создавал картины; маленькое тело Джонни оведал легкий бриз. И внезапно жаркий день перестал быть давящим и жарким. Часы затикали быстрее. Скорее залязгал металл трамваев. Глухие удары волн о невидимый сверкающий пляж подстегнули медлительный мир лета, и он ожил и задвигался.

Да, теперь он понял: лучше этой раковины ничего нет на свете. В любой долгий и скучный день только приложи ее к уху — и ты уже проводишь каникулы на далеком, обдуваемом всеми ветрами берегу.

Четыре тридцать, сказали часы. Время принимать лекарство, сказали быстрые звонкие шаги матери в сверкающем коридоре.

Она поднесла к его рту серебряную ложку с лекарством. Вкус, увы, был... какой бывает у лекарства. Джонни скорчил гримасу, заготовленную специально для таких случаев. Чтобы скорее перестать чувствовать этот вкус, он запил молоком, а потом посмотрел вверх, на доброе, светлое лицо матери, и спросил:

— Можем мы когда-нибудь поехать на море, мам?

— Конечно. Может быть, на Четвертое Июля, если твой отец получит свой двухнедельный отпуск в это время. За два дня доедем на машине до берега, проведем там неделю и вернемся.

Джонни сел поудобней; глаза у него были какие-то чудные.

— Я никогда не видел настоящего моря, а только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому, и вид у него другой, чем у нашего Лисьего Озера. Оно огромное и в тысячу раз лучше. Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться!

— Ждать недолго, сынок. Вы, дети, такие нетерпеливые.

— Очень хочется.

Она села на кровать и взяла его за руку. Не все, что она сказала, было понятно, но кое-что он все же понял.

— Если бы мне пришлось писать книгу о философии детства, я бы, наверно, назвала ее «Нетерпение». Нетерпение во всем. Вынь да положь — и так всегда. Завтра кажется далеким-далеким, вчера словно не было. Племя Омаров Хайямов — вот вы кто. Живете минутой. Станешь старше, поймешь, что способность быть терпеливым, ждать, заранее рассчитывать говорит о зрелости, то есть о том, что ты стал взрослым.

— Не хочу быть терпеливым. Не хочу лежать в постели. Хочу на морской берег.

— А на прошлой неделе ты хотел бейсбольную перчатку, сейчас и ни минутой позже! «Пожалуйста, ну пожалуйста! — просил ты. — Ой, какая она красивая, ты только на нее посмотри! И последняя в магазине, на полке больше ни одной не осталось!»

Какая же все-таки она странная, эта мама!

А мать продолжала между тем:

— Помню, однажды, когда я еще была маленькой девочкой, я увидела в магазине куклу. Я показала на нее маме, сказала, что эта последняя, все остальные проданы и эту тоже продадут, если ее не купить сейчас же. На самом деле на полке было не меньше десятка таких кукол. Просто у меня не было сил ждать. Мне тоже не хватало терпения.

Джонни повернулся на бок. Глаза его стали широкие-широкие и были полны теперь голубого света.

— Но я не хочу ждать! Если я буду слишком долго ждать, я вырасту, и мне уже не будет интересно.

На это она не сказала ни слова. Она сидела в той же позе, но пальцы ее рук теперь судорожно сжимались, а

глаза стали влажными, может быть, из-за того, о чем она думала. Она зажмурила глаза, открыла снова и сказала:

— Иногда мне... кажется, что дети знают о жизни больше, чем мы, взрослые. Кажется, что ты... прав. Но я не решаюсь тебе об этом сказать. Это... как бы не по правилам.

— Каким, мама?

— Цивилизации. Радуйся жизни, Джонни. Радуйся, пока ты ребенок.

Она произнесла это громко, и голос был не такой, как всегда.

Джонни прижал раковину к уху.

— Мама! Знаешь, чего бы мне хотелось? Оказаться прямо сейчас на берегу моря, бежать к воде, держаться за нос и кричать: «Кто последний — обезьяна!»

И он весело рассмеялся.

Внизу, на первом этаже, зазвонил телефон. Мать пошла взять трубку.

Джонни лежал и слушал раковину.

Еще целых два дня впереди. Он опять поднес к уху раковину и вздохнул. Целых два дня! В комнате было темно. В больших квадратах окна томились пойманные звезды. Ветер покачивал деревья. На тротуаре внизу взвизгивали, раскатываясь, ролики.

Он закрыл глаза. Снизу, из столовой, доносился стук ножей и вилок. Отец с матерью ужинали. Вот отец рассмеялся своим звучным смехом.

Волны по-прежнему разбивались одна за другой о берег внутри морской раковины. И... что-то еще слышно:

— Там, где катятся валы, где играет с волной волна, где криком чаек полны утро и вечер дня...

— Что?

Он замер. Прислушался. Удивленно заморгал.

И еще, чуть слышно:

— ...Солнце на волнах, море без дна. Э-гей, э-гей, приналягте, друзья.

Будто сотня, а то и больше голосов пели под скрип уключин.

— ...Придите к морю, где паруса...

И другой голос, совсем отдаленный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра:

— Приди же к морю-циркачу, что за валом бросает вал; к сверканью соли на берегу, по тропе, которой не знал...

Он отнял раковину от уха, изумленно на нее посмотрел. Потом снова прижал.

— ...Ты хочешь к морю, мой маленький друг, хочешь ли к морю прийти? Так возьми меня за руку, маленький друг, возьми меня за руку, маленький друг, и вместе со мной иди!

Дрожа, он крепче прижал раковину, приподнялся и сел в постели, часто-часто дыша. Сердце прыгало и билось о стенку его груди.

Волны глухо ударялись о далекий берег и рассыпались брызгами.

— ...Ты когда-нибудь раковину видал? Перламутровый штопор морей, широкий вначале, сходит на нет, вот здесь он вьется, вот тут его нет, но, мой мальчик, конец у него все же есть — там, где камни от пены белей!

Маленькие пальцы вжались в спираль раковины. Да, все правильно. Раковина закручивается, закручивается, закручивается, а потом вдруг ничего нет.

Он закусил губу. Что... что такое говорила мама? Про детей. Про какую-то... философию детей? Про нетерпение. Нетерпение! Да, правда, он нетерпелив! Ну и что в этом плохого? Его свободная рука, сжавшись в твердый белый кулачок, ударила по стеганому одеялу.

— Джонни!

Молниеносным движением Джонни отнял раковину от уха, сунул под простыню. По коридору от лестницы к двери его комнаты приближались шаги отца.

— Спокойной ночи, сынок.

— Спокойной ночи, пап!

Мать и отец крепко спали. Было далеко за полночь. Тихо. Он вытащил бесценную раковину из-под простыни и поднес к уху.

Да, все как было. По-прежнему шумят волны. И вдалеке скрип уключин, шелканье раздуваемого ветром паруса, слова песни, чуть слышные в порывах соленого морского ветра.

Он прижимал раковину к уху сильней и сильней.

В коридоре застучали каблуки матери. Шаги остановились, она открыла дверь и вошла.

— Доброе утро, сынок! Ты все еще спишь?

Постель была пуста. В комнате только тишина и солнечный свет. Этот свет лежал в постели как лучезарный больной, и на подушке покоилась его сотканная из лучей голова. Стеганое одеяло, это красно-голубое цирковое

знамя, было откинута. Смятая постель была как бледное старческое лицо в морщинах и казалась пустей пустого.

Мать нахмурилась и топнула.

— Вот шалун! — воскликнула она. — Наверняка убежал играть с соседскими головорезами! Ну погоди! Потом... — Она умолкла и улыбнулась. — ...Шалунишка узнает, как крепко я его люблю. Дети так... нетерпеливы.

Она подошла к постели и начала приводить ее в порядок, и вдруг рука натолкнулась под простынями на какой-то твердый предмет. Мать вытащила на свет что-то гладкое и блестящее.

Она опять улыбнулась. Это была раковина.

Мать сжала ее в руке и поднесла к уху — просто так. Глаза у нее стали совсем круглые. Рот приоткрылся.

Комната завертелась вокруг нее застекленной каруселью с яркими стегаными знаменами.

Раковина ревела ей в ухо.

Волны с грохотом разбивались о далекий берег. Откачивались, оставляя холодную пену на неведомом пляже.

Потом — топот бегущих по песку детских ног. Тонкий мальчишеский голос прокричал:

— Эй, ребята, скорее! Кто последний — обезьяна!

И — звук маленького тела, бултыхнувшегося в эти волны...

В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

В ту неделю, так много лет назад, мне показалось, будто мои отец и мать дают мне отраву. И даже теперь, через двадцать лет, я не уверен, что мне ее не давали.

То время всплыло из старого чемодана на чердаке. Сегодня утром я оттянул латунные застёжки, поднял крышку, и из незапамятных времен пахло запахом нафталина; он окутывал, как саван, ракетки без сеток, поношенные теннисные туфли, сломанные игрушки, поржавевшие ролики. Твои глаза стали старше, но и теперь, когда они видят снова эти орудия игры, тебе кажется, будто только час назад ты вбежал, весь потный, с тенистых улиц и считалка «Олли, Олли, три быка» все еще трепещет у тебя на устах.

Я был тогда странным и смешным мальчиком, и в голове у меня шевелились необычные мысли; рождал их не только страх быть отравленным. Мне исполнилось всего лишь двенадцать лет, когда я начал делать записи в блокноте в линейку, с никелевой блестящей обложкой.

Будто и сейчас в моих пальцах огрызок карандаша, которым я писал по утрам в те дни вечной весны.

Вот я перестал писать и лизнул задумчиво карандаш. Я сижу в своей комнате наверху в начале бесконечного ясного дня, шурясь на обои в розах, босой, с короткими, похожими на щетину волосами, и думаю.

«Только на этой неделе я понял, что болен, — записал я. — Болею я уже давно. С десяти лет. Сейчас мне двенадцать».

Я скорчил рожу, закусил губу, посмотрел, будто сквозь туман, на блокнот передо мной.

«Больным сделали меня родители. И, — я заколебался на миг, но потом стал писать дальше, — школьные учителя. Не боюсь я только детей. Ни Изабел Склелтон не боюсь, ни Уилларда Боуэрс, ни Клариссы Меллин — они такие же, как всегда. А вот мои дела совсем плохи».

Я положил карандаш на стол. Пошел в ванную — посмотреть на себя в зеркало. Мама крикнула снизу, чтобы я шел завтракать. Я прижался лицом к зеркалу, дыша часто-часто, и на нем появилось большое влажное пятно, как будто зеркало заволокло туманом. И я увидел: мое лицо меняется.

Менялись кости. Глаза. Поры на коже носа. Уши. Лоб. Волосы. Все время они были мной, а теперь становились кем-то другим. («Дуглас, иди завтракать, опаздываешь в школу!») Торопливо моясь, я увидел, как внизу, в воде, плавает мое тело. Я был заключен в него, как в тюрьму. Бежать было невозможно. И мои кости в нем двигались, перемещались, менялись местами!

Чтобы об этом не думать, я стал петь и громко насвистывать, пока отец не постучал в дверь и не сказал, чтобы я успокоился и шел есть.

Я сел за стол. На нем уже стояли желтая миска с кашей, молоко в молочнике, белое и холодное, яичница с беконом и поблескивали ножи и ложки; отец читал газету, мама сновала по кухне. Я втянул носом воздух. Мой желудок лег, как побитая собака.

— Что случилось, сынок? — и отец на меня посмотрел.
— Совсем есть не хочется?

— Так точно.

— Мальчику утром должно хотеться есть, — сказал отец.

— А ну-ка ешь, — сказала мама. — Принимайся сейчас же. Да поторапливайся.

Я посмотрел на яйца. Яд. Я посмотрел на масло. Яд. Точно так же, как и молоко в молочнике, белое-белое и со сливками сверху, и каша на зеленой тарелке с розовыми цветами, рассыпчатая и вкусная.

Все отравя, все-все! Эта мысль металась у меня в голове, как муравьи во время пикника. Я прикусил губу.

— Что? — спросил, моргая, отец. — Ты что-то сказал?

— Ничего, — ответил я. — Просто не хочу есть.

Не мог же я сказать, что это у меня от печени, тортов, каш, супов и овощей. И я сидел и не брал в рот ни крошки, между тем как мое сердце стучало все сильнее и сильнее.

— Ну ладно, хоть молоко выпей и иди, — сказала мама.

— Отец, дай ему денег на хороший обед в школе. На апельсиновый сок, мясо и молоко. Но никаких конфет.

О конфетах она вообще могла бы не говорить. Ведь этот яд самый страшный. До конфет я не дотронусь больше никогда в жизни!

Я перевязал ремнями книги и пошел к двери.

— Дуглас, ты не поцеловал меня, — сказала мама.

— Ой, — отозвался я и, волоча ноги, подошел и поцеловал.

— Что с тобой творится? — спросила она.

— Да ничего, — ответил я. — Пока. До скорого, пап.

И мать и отец ответили. Я зашагал в школу, и каждая мысль моя была криком, посланным в глубокий и холодный колодец.

Сбегая в овраг, я ухватился за толстую плеть дикого винограда, свисающую с дерева, и, оттолкнувшись от земли ногами, качнулся далско вперед. Земля ушла у меня из-под ног, я вдыхал прозрачный утренний воздух, сладкий и пьянящий, и закричал от восторга, и ветер подхватил мои мысли и унес прочь. Я стукнулся ногами о другой склон, не удержался и покатился к ручью, на дно оврага, и птицы свистели мне, а в ветвях соседнего дерева прыгала белка — будто ветер носил комочек коричневого пуха. Вниз по тропинке скатились маленькой лавиной мальчишки, вопя: «У-уу, э-ээ!» Они били себя кулаками в грудь, швыряли камни так, чтобы те прыгали по воде, бросались, вытягивая вперед руки, за раками. Раки уносились прочь, оставляя за собой мутный след. И я и другие мальчишки шутили и смеялись.

По выкрашенному зеленой краской деревянному мосту через ручей шла девочка. Ее звали Кларисса Меллин. Мы захохотали еще громче, закричали: «Иди, иди отсюда, проваливай!» Но будто что-то застряло у меня в горле, и

мой голос сошел на нет, и я стал смотреть, как она идет неторопливо и уходит. Я смотрел на нее не отрываясь, пока она не скрылась из виду.

Из дальней утра донесся школьный звонок. Мы полезли вверх по тропинкам, проторенным за столько летних каникул. Трава была изрядно вытоптана; мы знали каждую змеиную нору и каждый бугор, каждое дерево и каждую лозу дикого винограда — да нет, больше того, каждый сорняк! После школы мы строили на деревьях, высоко над быстрым сверкающим ручьем, шалаши, прыгали нагишом в воду, отправлялись в долгие путешествия по дну оврага, туда, где, неподалеку от дубильни, асбестового завода и доков, ручей так одиноко и сиротливо втекал в огромную голубизну озера Мичиган.

Тяжело дыша, мы уже подбежали к школе, и вдруг мне опять стало страшно, и я остановился.

— Вы идите вперед, а я за вами, — сказал я ребятам.

Зазвонил второй звонок. Дети побежали в класс. Я смотрел на школу, всю обвитую плющом. Слушал шум голосов, это обычное гудение. Слушал, как звенят, призывая к тишине, колокольчики в руках учителей; а потом из окон потянулись ко мне, словно руки, резкие учительские голоса.

Яд, снова подумал я. И дают его детям не только родители, но и учителя! Они тоже хотят, чтобы я болел! Учат, как болеть все больше и больше! И... и... этому радоваться.

— Доброе утро, Дуглас.

Я услышал стук высоких каблучков по асфальтовой дорожке. У меня за спиной, широколицая и бледная, в пенсне, с коротко стриженными волосами, стояла директор школы, мисс Адамс.

— Ну, идем, — сказала она, твердо взяв меня за плечо.

— Ты уже и так опоздал. Идем.

Она повела меня, раз-два, раз-два, вверх по лестнице, к моей судьбе...

Мистер Джордан был толстяк с редкими волосами, его зеленые глаза всегда смотрели серьезно, и у него была привычка, когда он стоял перед своими таблицами и диаграммами, раскачиваться на пятках. Сегодня он принес изображение человеческого тела в разрезе. Можно было видеть зеленые, синие, розовые, желтые вены, капилляры, мышцы, сухожилия, внутренние органы, легкие, кости и жировые ткани.

Мистер Джордан показал кивком на рисунок.

— Есть очень большое сходство между процессами в раковой опухоли и делением здоровых клеток. Рак — это как бы взбесившаяся нормальная функция. Перепроизводство клеточного материала приводит к...

Я поднял руку.

— Как пища... то есть... отчего тело растет?

— Хороший вопрос, Дуглас. — И он постучал по изображению. — Пища, после того как поступит в организм, расщепляется, усваивается и...

Я слушал и прекрасно понимал, что именно пытается со мною сделать мистер Джордан. Недолгие годы моей предшествующей жизни отпечатались во мне, как отпечатывались на мягком сланце древние растения и животные. Мистер Джордан пытался стереть, загладить отпечаток. И в конце концов все должно стереться, все, во что я верю, и все, что думаю. Мать изменяет мое тело пищей, мистер Джордан делает то же самое словами.

И я, чтобы не слушать, начал рисовать на бумаге. Стал мурлыкать себе под нос, начал придумывать новый, свой собственный язык. До конца дня я уже не услышал больше ни слова. Я отбил нападение, сумел противодействовать яду.

Но после школы я, проходя мимо лавки миссис Сингер, купил большую конфету. Не удержался. И, когда съел, написал на обертке: «Это самая последняя конфета, которую я съел в своей жизни. Даже на субботнем сеансе, когда увижу на экране Тома Микса и Тони, я не буду больше есть конфет».

Я посмотрел на груды сладостей на полках — словно собранный в стога урожай. Оранжевые обертки, с небесно-голубым словом «ШОКОЛАД». Желтые и фиолетовые, с мелко напечатанными на них синими словами. Я чувствовал конфету внутри себя, чувствовал, как мои клетки от нее растут. Каждый день миссис Сингер продаст сотни конфет. Так, значит, она тоже участвует в этом заговоре? Неужели она не знает, что происходит от ее конфет с детьми? Почему она это делает? Может, завидует их молодости? Хочет, чтобы они скорее состарились? Я готов был убить ее!

— Что ты делаешь?

Это подошел ко мне сзади, пока я писал на обертке, Билл Арно. С ним была Кларисса Меллин. Она смотрела на меня своими голубыми глазами и не говорила ни слова.

Я быстро спрятал бумажку.

— Ничего, — сказал я.

Мы пошли втроем. Вокруг ребята играли в классы, в перышки, гоняли консервную банку, и я повернулся к Биллу и сказал:

— Через год, а может, два нам уже нельзя будет этим заниматься.

Билл рассмеялся только и сказал:

— Еще что! Кто это, интересно, нам запретит?

— Они, — ответил ему я.

— Кто «они»? — спросил Билл.

— Неважно кто, — сказал я. — Вот увидишь.

— О-о-о, — протянул Билл. — Да ты спятил!

— Не понимаешь! — крикнул я. — Мы играем, бегаем, едим, а они в это время незаметно для тебя делают так, чтобы ты думал по-другому, поступал по-другому и даже двигался по-другому. И вдруг, пожалуйста — в один прекрасный день ты перестаешь играть и сам начинаешь все время о чем-то думать и тревожиться!

Мое лицо пылало, руки сжались в кулаки. Ярость слепила мне глаза. Билл повернулся и с хохотом зашагал прочь. Кто-то, распевая «Все кончено, все кончено, Анни», перебросил через крышу соседнего дома мяч.

Можно прошататься весь день без завтрака или обеда; ну, а без ужина? Желудок мой вопил, когда я сел тихонько на свое место за столом. Я смотрел вниз, на колени, и крепко держался за них руками. Не буду есть, говорил я себе. Посмотрим еще, кто сильнее.

Отец сделал вид, будто меня понимает.

— Не заставляй, пусть идет из-за стола, — сказал он матери, видя, что я не ем. Он подмигнул ей. — Поест потом.

Я провел весь вечер, играя с другими детьми на теплых улицах городка, у кирпичных одноэтажных домов; уже стемнело, а мы все гоняли гремящие консервные банки и лазили по деревьям.

Войдя в десять часов вечера в кухню, я понял: сопротивляться бесполезно. На холодильнике лежала записка: «Ешь сколько захочешь. Папа».

Я открыл холодильник, и на меня дохнуло морозом и заиндевелой пищей. Я увидел развалины чудесной курицы. Поленицей лежали стебли сельдерея. Из зарослей петрушки выглядывала земляника.

Теперь нельзя было понять, сколько у меня рук. Похоже было, что не две, а целая дюжина. Совсем как у восточных богинь, которым поклоняются в храмах. В одной помидор. Другая ухватила банан. Третья — клубнику! В

четвертой, пятой, шестой — маслина, редиска, кусок сыра!..

Через полчаса я опустился на колени перед унитазом и откинул сиденье. Разинул рот и стал проталкивать ложку за язык, в свое сопротивляющееся горло — глубже, глубже...

...Я лежал в постели, радуясь, что сумел избавиться от еды, которую так жадно глотал, и я вздрагивал каждый раз, когда едкий вкус исторгнутого напоминал о себе моему рту. Я лежал дрожащий, опустошенный, снова голодный, но теперь слишком слабый, чтобы есть...

Я был очень слаб и утром и, очевидно, очень бледен, потому что мама обратила на это внимание.

— Если в понедельник не станет лучше, — сказала она, — пойдешь к врачу!

Была суббота. День, когда можно кричать в полный голос и серебряные колокольчики учителей на заставляют тебя умолкнуть; день, когда во мраке длинного зала кинотеатра «Элита» движутся на светлом экране черно-белые гиганты; день, когда дети — просто дети, а не растущие существа.

Не видно было ни души. Раньше, утром, когда я, как все ребята, должен был бы шагать вдоль Северобережной железной дороги, где на уходящих вдаль параллельных полосах металла вскипает жаркое солнце, я вместо этого слонялся, не зная куда податься, ужасающе растерянный. И когда я в конце концов, часа в три дня, оказался у оврага, в овраге уже никого не было: все мальчишки и девчонки сидели в кино, на дневном сеансе, и сосали лимонные леденцы.

Таким первозданным, старым, зеленым, до краев полным одиночества я не видел овраг еще никогда — мне даже стало не по себе. И я еще никогда не видел его таким тихим. С деревьев свисали петли винограда, на дне бежала по камням вода, а высоко на деревьях пели птицы.

Прячась за кустами, останавливаясь и снова пускаясь в путь, я двинулся вниз по тропинке, которую знали только школьники. Подходя к мосту, я увидел, что с той стороны, навстречу мне, по нему идет Кларисса Меллин. Она возвращалась домой, под мышкой у нее было несколько маленьких свертков. Мы поздоровались смущенно.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

— Да гуляю просто, — ответил я.

— Один?

— Угу. Все ребята сейчас в кино.

Она помедлила, потом спросила:

— Можно, я погуляю с тобой?

— Конечно, — сказал я. — Пойдем.

Мы пошли вдоль оврага. Он гудел, как большая динамо-машина. Все замерло в оцепенении, ничто не двигалось. Только розовые стрекозы носились, проваливаясь в воздушные ямы, и повисали над искрящейся водой речки.

Мы шли по тропинке, и иногда рука Клариссы задевала мою. Я чувствовал влажный теплый запах оврага и ласковый, незнакомый запах Клариссы.

Мы подошли к месту, где тропинки перекрещивались.

— Вон на том дереве мы построили в прошлом году шалаш, — сказал я.

— На котором? — и Кларисса, чтобы увидеть, куда я показываю, шагнула ко мне и теперь стояла совсем вплотную. — Я не вижу.

— Вон на том, — сказал я дрогнувшим голосом и показал снова.

Совсем спокойно она обняла меня рукой и притянула к себе. Я чуть не вскрикнул, до того я удивился и растерялся. Потом трепещущие губы поцеловали меня, но мои руки уже поднялись обнять ее, и я сотрясался в беззвучном крике.

Зеленым куполом сомкнулось над нами молчание. Все так же журчала вода в ручье. Я не мог дышать.

Я знал: все кончено. Я гибну. С этой минуты будут только прикосновения, вкушения яств, язык, алгебра и логика, чувства и жесты, поцелуи и объятия — водоворот, который поймал меня и засасывает в глубину. Я знал, что погиб навеки, и не жалел. Но на самом деле жалел — и смеялся и плакал одновременно, и ничего нельзя было поделаться, только обнимать ее и любить, безоглядно и samozабвенно, всей душою, всем телом.

Я мог бы и дальше вести войну против родителей, против школы, против еды, против того, что написано в книгах, но я не мог противиться этой сладости на моих губах, этому теплу под моими руками, этому новому запаху.

— Кларисса, — плакал я, обнимая ее, и глядел невидящими глазами через ее плечо и шептал, — Кларисса, Кларисса!

АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горlinkах, мягких, как белый горноста́й, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преобразаясь, летала, незримая, на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись, приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги — в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной семьи. День мы спим, ночью летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспать в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камушке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси поглядела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси.

Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири. — Девушка встrepенулась. — Зачем я это вслух сказала?

— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбисься.

Как бы в ответ на ее слова с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручищи крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Энн!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Энн опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умешь быть вежливой?

Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Тс-с, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный.

— Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегашь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдём на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ошетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одеваться.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу, найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет, нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах, под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Сеси.

— Ты на себя не похожа, — сказал Том.

— Сегодня да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на раздумянившееся лицо.

— Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь и вроде бы где-то далеко отсюда.

— Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю, — в голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками.

— Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет, нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня, — сказал, недоумевая, Том. — То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал: ты как-то переменилась, сильно переменилась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Энн.

«Нет, нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок:

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощанье?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза.

— Неважно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Энн Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой ночи и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Гринтаун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь ты сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул.

«Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Гринтаун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...»

— ...на прощание, — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное лицо, белющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покати́л прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минуту, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле отсюда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

И ВСЕ-ТАКИ НАШ...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку «Нет, уж этого вам у меня не отнять» и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач, по имени Уолкот, был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это

их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Нсвероятно!

Врач привел сго в небольшую чистую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит сснь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: «С первым апреля!» — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно действовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко закончил доктор, — ваш ребенок родился в... другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Всё медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза.
— А откуда вы знаете, что это «он»?
Его засасывала тьма. В ушах шумело.
Доктор Уолкот явно смутился.
— Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто никогда не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно

— Полли.

Доктор нахмурился.

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное, и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться губительным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что

необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смысленный, на диво смысленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольных отростков, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие, высокие звуки. Наверное, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался. Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание.

Другой ученый муж коротко и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему вы все так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жуужа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Знаешь, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нст, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет

моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносившихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не выдержать, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчилось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились: там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверное, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звукопроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пасе, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умест говорить «папа». Да-да, умест. Ну-ка, Пай, скажи: «папа».

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему: «Папа, папа, папа». Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он

научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гам-лета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли. Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. — Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. — Доктор потрепал Пая по «подбородку»: — Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб, Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, — и, очень довольный, тихонько зашебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентге-

новскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова начал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальца голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся.

— Какая у вас славная зверюшка, мистер Хорн. Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постраниковали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа» — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Пакистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагнул по коридору. За ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое свергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится

действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— Может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на вас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправским философом. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся выродками.

— Да. Но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все.

Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не совсем сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели... — Он вздохнул. — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. *И Питер понял.* Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу: вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие померли бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гудением. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем...» — и постепенно замер.

Низкое гудение звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, ноги и руки что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. «Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?»

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях

его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться и шутить и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли, и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты — на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Еще при жизни жены, спеша утром на пригородный поезд или возвращаясь вечером домой, мистер Чарльз Андерхилл проходил мимо детской площадки, но никогда не обращал на нее внимания. Она не вызывала в нем ни любопытства, ни неприязни, ибо он вообще не подозревал о ее существовании.

Но сегодня за завтраком его сестра Кэрол, вот уже полгода как занявшая место покойной жены за семейным столом, вдруг осторожно заметила:

— Джимми скоро три года. Завтра я отведу его на детскую площадку.

— На детскую площадку? — переспросил мистер Андерхилл.

А у себя в конторе на листке блокнота записал и, чтобы не забыть, жирно подчеркнул черными чернилами: «Посмотреть детскую площадку».

В тот же вечер, едва грохот поезда замер в ушах, мистер Андерхилл обычным путем, через город, зашагал домой, сунув под мышку свежую газету, чтобы не зачитаться по дороге и не позабыть взглянуть на детскую площадку. Таким образом, ровно в пять часов десять минут пополудни он уже стоял перед голой чугунной оградой детской площадки с распахнутыми настежь воротами — стоял, остолбенев, едва веря тому, что открылось его глазам...

Казалось, вначале и глядеть было не на что. Но едва он прервал свою обычную безмолвную беседу с самим собой и вернулся к действительности, все постепенно словно на экране включенного телевизора, стало обретать определенные очертания.

Вначале были лишь голоса — приглушенные, словно из-под воды доносившиеся крики и возгласы. Они исходили от каких-то расплывчатых пятен, ломаных линий и теней. Потом будто кто-то дал пинка машине, и она заработала — крики с силой обрушились на него, а глаза явственно увидели то, что прежде скрывалось за пеленой тумана. Он увидел детей! Они носились по лужайке, они дрались, отчаянно колотили друг друга кулаками, царапались, падали, поднимались и снова куда-то мчались — все в кровоточащих или уже подживших ссадинах и царапинах. Дюжина кошек, брошенных в собачью конуру, не могла бы вопить пронзительней! С неправдоподобной отчетливостью мистер Андерхилл видел каждую болячку и царапину на их лицах и коленях.

Ошеломленный, он выдержал первый шквал звуков. Когда же глаза и уши отказались более воспринимать что-либо, на помощь пришло обоняние. В нос ударил едкий запах ртутной мази, липкого пластыря, камфары и свинцовых примочек. Запах был настолько сильный, что он почувствовал горечь во рту. Сквозь прутья решетки, тускло поблескивавшие в сумерках угасающего дня, потянуло запахом йодистой настойки. Дети, словно фигурки в

игральном автомате, послушные нажатию рычага, налетали друг на друга, сшибались, оступались, падали — столько-то попаданий, столько-то промахов, пока наконец не будет подведен окончательный и неожиданный итог этой жестокой игры.

Да и свет на площадке был какой-то странный, слепяще-резкий — или, может быть, мистеру Андерхиллу так показалось? А фигурки детей отбрасывали сразу четыре тени; одну темную, почти черную, и три слабые серые тени. Поэтому почти невозможно было сказать, куда они стремглав несутся, пока в конце концов не врежутся в цель. Да, этот косо падающий, слепящий глаза свет резко обозначал контуры предметов и странно отдалял их — от этого площадка казалась далекой, почти недосыгаемой. Может быть, виной всему была железная решетка, напоминающая ограду вольера в зоопарке, за которой всякое может случиться.

«Вот так площадка, — подумал мистер Андерхилл. — Что за страсть превращать игры в сущий ад? А это вечное стремление истязать друг друга?» Вздых облегчения вырвался из его груди. Слава богу, его детство давно и безвозвратно ушло. Нет больше ни шипков, ни колотушек, ни бессмысленных страстей, ни обманутых надежд.

Вдруг порыв ветра вырвал из рук газету. Мистер Андерхилл бросился за нею в открытые ворота детской площадки. Поймав газету, он тут же отступил назад, ибо почувствовал, как пальто вдруг тяжело давит плечи, шляпа непомерно велика, ремень, поддерживающий брюки, ослабел, а ботинки сваливаются с ног. Ему показалось, что он маленький мальчик, нарядившийся в одежду отца, чтобы поиграть в почтенного бизнесмена. За его спиной грозно возвышались ворота площадки, серое небо давило свинцовой тяжестью, в лицо дул ветер, отдающий запахом йода, напоминающий хищного зверя. Мистер Андерхилл споткнулся и чуть не упал.

Выскочив за ограду, он остановился и облегченно перевел дух, словно человек, вырвавшийся из леденящих объятий океана.

— Здравствуй, Чарли! — Мистер Андерхилл резко обернулся. На самой верхушке металлической спусковой горки сидел мальчуган лет девяти и приветливо махал ему рукой: — Здравствуй, Чарли!

Мистер Чарльз Андерхилл машинально махнул в ответ. «Однако я совсем не знаю его, — тут же вспомнил он. — Почему он зовет меня Чарли?»

В серых сумерках незнакомый малыш продолжал улыбаться ему, пока вдруг вопящая орава детей не столкнула его вниз и с визгом и гиканьем не увлекла с собой. Пораженный Андерхилл стоял и смотрел. Площадка казалась огромной фабрикой боли и страданий. Можно просто-таки у се ограды хоть целых полчаса, но все равно не увидишь здесь ни одного детского лица, которое не исказила бы гримаса боли, которое не побагровело бы от злобы и не побелело от страха. Да, именно так! В конце концов, кто сказал, что детство — самая счастливая пора жизни? О нет, это самое страшное и жестокое время, пора варварства, когда нет даже полиции, чтобы защитить тебя, есть только родители, но они слишком заняты собой, а их мир чужд и непонятен. Будь в его власти — мистер Андерхилл коснулся рукой холодных прутьев ограды, — он повесил бы здесь только одну надпись: «Площадка Торквемады»¹.

Но кто этот мальчик, который окликнул его? Отдаленно он кого-то ему напомнил, возможно старого друга или знакомого. Должно быть, сын еще одного бизнесмена, благополучно нажившего на старости лет язву желудка.

«Вот, значит, где будет играть мой Джимми, — подумал мистер Андерхилл. — Вот какова она, эта детская площадка».

* * *

В передней, повесив шляпу и растерянно взглянув в мутное зеркало на свое худое, вытянутое лицо, мистер Андерхилл вдруг почувствовал озноб и усталость, и, когда навстречу ему вышла сестра, а за нею бесшумно, словно мышонок, выбежал Джимми, мистер Андерхилл был менее ласков с ними, чем обычно. Сынишка тут же взобрался к нему на плечи и начал свою любимую игру в «короля гор». А мистер Андерхилл, сосредоточенно глядя на кончик сигары, которую не торопился раскурить, откашлялся и сказал:

— Я думал о детской площадке, Кэрл.

— Завтра я отведу туда Джима.

— Отведешь Джима?! На эту площадку?

Все в нем восстало. Воспоминания о площадке было слишком еще живы в памяти. Царапины, ссадины, разбитые носы... Там, как в кабинете зубного врача, даже воздух напоен болью и страхом. А эти ужасные «классики», «крестики и нолики», нарисованные в пыли! Ведь он всего

¹Торквемада — испанский инквизитор, прославившийся своей изощренной жестокостью.

лишь секунды видел их у себя под ногами, когда погнался за унесенной ветром газетой, но как напугали они его!

— Чем же тебе не нравится эта детская площадка?

— Да видела ли ты ее? — И мистер Андерхилл вдруг растерянно умолк. — Черт возьми, Кэрол, я хотел сказать, видела ли ты детей, которые там играют? Ведь это живодеры!

— Это все дети из хороших семей.

— Да, но они бесчинствуют, как настоящие гестаповцы! — промолвил Андерхилл. — Это все равно что отвести Джима на мельницу и сунуть головой в жернова. При одной мысли, что Джим должен играть на этой живодерне, у меня кровь стынет в жилах!

— Ты прекрасно знаешь, что это самая приличная детская площадка поблизости.

— Мне безразлично, даже если это так. Я только знаю, что никаких других игрушек, кроме палок, бит и духовых ружей, я там не видел. К концу первого же дня от Джима останутся рожки да ножки. Он будет изжарен живьем, как новогодний поросенок!

Кэрол рассмеялась.

— Ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Я говорю совершенно серьезно.

— Но не можешь же ты лишить Джимми детства. Он должен пройти через это. Ну и что, если его немножко поколотят или он сам поколотит других. Это же мальчишки! Они все таковы.

— Мне не нравятся такие мальчишки.

— Но ведь это самая счастливая пора их детства!

— Чепуха. Когда-то я с тоской и сожалением вспоминал о детстве. Но теперь я понимаю, что был просто-напросто сентиментальным дураком. Этот сумасшедший визг и беготня, напоминающие кошмарный сон! А возвращение домой, когда ты весь пропитан страхом! О, если бы я только мог уберечь Джима от этого!

— Это неразумно и, слава богу, невозможно.

— Говорю тебе, что я и близко не подпущу его к этой площадке! Пусть лучше растет отшельником.

— Чарли!

— Да, да! Посмотрела бы ты на этих зверенышей! Джим — мой сын! Он мой, а не твой, запомни это! — Мистер Андерхилл чувствовал, как хрупкие ножки сына обхватили его шею, а нежные пальчики копошатся в его волосах. — Я не отдам его на эту живодерню.

— В таком случае ему придется пройти через все это в школе. Уж лучше пусть привыкнет сейчас, пока ему всего три года.

— Я уже думал об этом, — мистер Андерхилл крепко сжал ножки сына, свисающие с его плеч, как две теплые колбаски. — Я, возможно, даже пойду на то, чтобы нанять Джиму воспитателя...

— Чарльз!

Обед прошел в полном молчании. А когда сестра ушла на кухню мыть посуду, мистер Андерхилл взял сына и отправился на прогулку.

Путь их лежал мимо детской площадки. Теперь ее освещал лишь слабый свет уличных фонарей. Был прохладный сентябрьский вечер, и в воздухе уже чувствовался сухой пряный аромат осени. Еще неделя — и детей соберут в школы, словно сухую листву, чтобы она запылала новым, ярким огнем. Их шумную энергию постараются теперь направить на более разумные цели. Но после школы они снова придут на площадку и снова будут носиться по ней, напоминая метательные снаряды, будут врезаться друг в друга и взрываться как ракеты, и каждое такое миниатюрное сражение оставит после себя след боли и страданий.

— Хочу туда, — вдруг промолвил маленький Джимми, уткнувшись лицом в ограду парка, глядя на то, как не успевшие еще разойтись по домам дети то налстают друг на друга в драке, то разбегаются прочь.

— Нет, Джим, тебе не хочется туда!

— Хочу играть, — упрямо повторил Джим, и глазенки его засверкали, когда он увидел, как большой мальчик ударил мальчика поменьше, а тот дал пинка совсем крошечному мальчугану.

— Папа, хочу играть!..

— Идем, Джим, ты там не будешь, пока я еще в силах помешать этому! — И мистер Андерхилл потянул сына за руку.

— Хочу играть! — уже захныкал Джим. Глаза его превратились в мутные кляксы, личико сморщилось, и он заплакал.

Дети за оградой остановились, они обернулись и посмотрели на незнакомого мужчину и мальчика. Странное чувство охватило мистера Андерхилла. Ему показалось, что он у решетки вольера, а за ней настороженные тельсы морды, на секунду оторвавшиеся от растерзанного тельца зайчонка. Злобный блеск желтых глаз, острые подбородки, хищные зубы, жесткие вихры волос, испачканные майки и грязные руки в царапинах, следах недавних драк. Он

чувствовал запах лакричных и мятных леденцов и еще чего-то тошнотворно сладкого. А над всем этим висел тяжелый запах горчичных компрессов, словно кто-то страдающий простудой удрал сюда, не захотев вылежать положенный срок в постели, и еще густой запах камфарной мази, смешанный с запахом пота. Все эти липкие, гнущие запахи грифеля, мела и мокрой губки, которой вытирают школьную доску, реальные или воображаемые, воскресили в памяти далекие воспоминания. Рты у детей были набиты леденцами, из сопящих носов текла омерзительная зелено-желтая жидкость. Боже милосердный, помоги мне!

Дети увидели Джима. Новичок! Они молча разглядывали его, а когда он захныкал громче и мистер Андерхилл наконец оторвал его от решетки и, упирающегося, ставшего тяжелым, как куль с песком, потащил за собой, дети молча проводили их сверкающими взглядами. Андерхиллу вдруг захотелось обернуться, пригрозить им кулаком, закричать: «Я не отдам вам моего Джима, нет, ни за что!»

И тут как нельзя более некстати снова послышался голос незнакомого мальчишки. Он опять сидел на горке, так высоко, что в сумерках был едва различим, и снова Андерхиллу показалось, что он кого-то ему напоминает.

— Здравствуй, Чарли!.. — Мальчик приветливо махнул рукой.

Андерхилл остановился, притих и маленький Джим.

— До скорого свидания, Чарли!

И тут Андерхиллу показалось, что мальчик похож на Томаса Маршалла, его бывшего сослуживца. Он жил всего в квартале от Андерхилла, но они не виделись вот уже несколько лет.

— До скорого свидания, Чарли!

«До скорого свидания? Почему до скорого? Что за чушь говорит этот мальчишка!»

— А я тебя знаю, Чарли! — снова крикнул мальчик. — Пока!

— Что? — мистер Андерхилл даже поперхнулся от негодования.

— До завтрашнего вечера, Чарли! И-э-э-эй! — Мальчик ринулся вниз, вот он уже на земле, у подножия горки, с лицом белым как мел, а через него, падая и кувыряясь, летят другие.

Растерянный мистер Андерхилл застыл на месте. Но маленький Джим снова захныкал, и мистер Андерхилл, таща упирающегося сына за руку и провожаемый немигающими лисьими взглядами из-за решетки, поспешил домой, остро ощущая холод осени.

На следующий день, пораньше закончив дела в конторе, мистер Андерхилл трехчасовым поездом вернулся домой. В три двадцать пять он был уже в Гринтауне и вполне мог еще насладиться теплом последних неярких лучей осеннего солнца. «Странно, как в один прекрасный день вдруг приходит осень, — думал он. — Вчера, казалось, еще было лето, а сегодня ты уже не уверен. То ли нет былого тепла в воздухе, то ли по-иному пахнет ветер? А может, это старость, которая уже засела в костях и в один прекрасный вечер вдруг проникает в кровь, а потом в сердце, и ты чувствуешь ее холодное дыхание? Ты на год старше, еще один год ушел безвозвратно. Может быть, это?»

Он шел по направлению к детской площадке и думал о будущем. Кажется, ни в одно время года человек не строит столько планов, как осенью. Должно быть, вид умирающей природы невольно заставляет человека подумывать о смерти, вспомнить, что он еще не успел сделать. Итак, решено. У Джима будет частный воспитатель. Он не должен попасть в одну из этих ужасных школ. Разумеется, это отразится на его скромных сбережениях, но зато детство Джима не будет омрачено злом и насилием. Они с Кэрол сами будут подбирать ему друзей. Никаких задир или драчунов, пусть только посмеют коснуться его Джима... А что касается детской площадки, то о ней, разумеется, не может быть и речи.

— Здравствуй, Чарльз.

Мистер Андерхилл быстро поднял голову. У ворот площадки стояла его сестра Кэрол. Она называла его Чарльзом вместо обычного Чарли, и он сразу это заметил. Значит, вчерашняя размолвка еще не забыта.

— Что ты здесь делаешь, Кэрол?

Она виновато покраснела и бросила взгляд за решетку площадки.

— Нет, не может быть!.. — воскликнул мистер Андерхилл, и его испуганный, ищущий взгляд остановился на ораве дерущихся, визжащих детей. — Ты хочешь сказать, что...

Сестра виновато посмотрела на него с еле заметным любопытством и кивнула головой.

— Я думала, что если отведу его пораньше...

— ...то, вернувшись в обычное время, я ничего не узнаю? Ты это хотела сказать, да?

Да, именно это она хотела сказать.

— Боже мой, Кэрол, где же он?

— Я сама только что пришла посмотреть, как он себя здесь чувствует.

— Неужели ты бросила его здесь одного? На весь день!..

— Нет, всего на несколько минут, пока я делала покупки...

— Ты оставила его здесь? Боже милосердный! — Андерхилл схватил ее за руку. — Идем! Надо немедленно же забрать его отсюда!

Сквозь прутья решетки они вглядывались туда, где носились по лужайке мальчишки, а девчонки царапались и били друг друга по щекам. То и дело от группок дерущихся и ссорящихся детей отделялась одинокая фигурка и стремглав бежала куда-то, сшибая всех на пути.

— Он там! — воскликнул в отчаянии Андерхилл и в ту же минуту увидел Джима. С криком и плачем он бежал через лужайку, преследуемый несколькими сорванцами. Вот он упал, поднялся, снова упал, издавая дикие вопли, а его преследователи хладнокровно обстреливали его из духовых ружей.

— Я заткну эти проклятые ружья им в глотки! — разъярился мистер Андерхилл. — Сюда, Джим! Сюда!

Джим устремился к воротам, на голос отца, и тот подхватил его на лету, словно узел с мокрым и грязным тряпьем. У Джима было расквашен нос, штанишки изодраны в клочья, и весь он был в пыли и грязи.

— Вот тебе твоя площадка! — восклицал мистер Андерхилл, обращаясь к сестре, и, став на колени, прижал к себе сына. — Вот они, твои милые невинные малютки из хороших семей. Настоящие фашисты! Если я еще раз увижу Джима здесь, скандала не миновать! Идем, Джим. А вы, маленькие ублюдки, марш отсюда! — прикрикнул он на детей.

— Мы ничего не сделали, — хором ответили дети.

— Боже мой, куда мы идем! — патетически воскликнул мистер Андерхилл.

— Эй, Чарли! — вдруг снова услышал он знакомый голос.

Опять этот мальчишка! Он отделился от группы детей и, улыбаясь, небрежно махнул рукой.

— Кто это? — спросила Кэрол.

— Откуда я знаю, черт побери! — в сердцах воскликнул мистер Андерхилл.

— До свидания, Чарли. Пока! — снова крикнул мальчик и исчез.

Подхватив на руки сына и решительно взяв сестру за локоть, мистер Андерхилл направился домой.

— Отпусти мой локоть! — резко сказала Кэрол.

Вечером, готовясь ко сну, мистер Андерхилл был буквально вне себя от негодования. Чтобы успокоиться, он выпил кофе, но и это не помогло. Он готов был разmozжить головы этим отвратительным сорванцам; да, да, именно отвратительным!

Сколько в них хитрости, злобы, коварства, бессердечия. Во имя всего святого, кто оно, это новое поколение? Банда головорезов, висельников, молодая поросль кровожадных кретинов и истязателей, в души которых уже проник страшный яд безнадзорности! Мистер Андерхилл беспокойно ворочался в постели. Наконец он встал и закурил папиросу. Но это не принесло успокоения. Придя домой, они с Кэрол поссорились. Они некрасиво кричали друг на друга — точь-в-точь дерущиеся павлины в прериях, где приличия и условности были бы смешной и нелепой причудой. Теперь ему было стыдно за свою несдержанность. Не следует отвечать грубостью на грубость, если считаешь себя воспитанным человеком. Он хотел поговорить спокойно, но Кэрол не дала ему, черт возьми! Она решила сунуть мальчишку в эту чудовищную машину, чтобы та раздавила его. Она хочет, чтобы на нем поскорее поставили штамп и номер, чтобы побои и пинки сопровождали его от детской площадки и детского сада до дверей школы и университета, а потом даже и там. Если Джиму повезет, в университете истязания и жестокость примут более утонченные формы, не будет крови и слюны, они останутся по ту сторону детства. Но у Джима к годам его зрелости появится бог весть какой взгляд на жизнь, может, он сам захочет стать волком среди волков, псом среди псов, злодеем среди злодеев. Однако в мире и без того слишком много зла, больше, чем следует. Мысль о десяти-пятнадцати годах мучений, которые предстоит перенести Джиму, заставила мистера Андерхилла содрогнуться. Он чувствовал, как хлещут, жгут, молотят его собственное тело, как выворачивают суставы, как избивают и терзают его. Он содрогнулся, он почувствовал себя медузой, брошенной в камнедробилку. Джим не выдержит этого, он слишком мал, слишком слаб!

Все эти мысли лихорадочно проносились в голове мистера Андерхилла, пока он беспокойно бродил по комнатам спящего дома. Он думал о себе, о сыне, о детской площадке и о не покидавшем его гнетущем чувстве страха.

Казалось, не было вопроса, который он не задал бы себе и не обдумал со всех сторон. Какие из его страхов результат одиночества и смерти Энн, а что просто собственные причуды, желание настоять на своем. Какие из страхов вызваны реальной действительностью, тем, что он увидел на детской площадке и в лицах детей. Что разумно, а что нелепые домыслы? Мысленно он бросал крохотные гири на чашу весов и смотрел, как вздрагивает стрелка, колеблется, замирает, снова колеблется то в одну, то в другую сторону — между полночью и рассветом, между светом и тьмой, простым разумом и откровенным безумием. Он не должен так держаться за сына, он должен отпустить его. Но, когда он глядел в глазенки Джима, он видел в них Энн: это ее глаза, ее губы, легкое трепетание ноздрей, пульсирующая жилка под тонкой кожей. «Я имею право бояться за Джима, — думал он. — Имею полное право. Если у вас было бы два драгоценных сосуда и один из них разбился, а другой, единственный, уцелел, разве можно быть спокойным и благоразумным, не испытывать постоянной тревоги и страха, что и его вдруг не станет? Нет, — повторял он, медленно меряя шагами коридор, — нет, я способен испытывать страх только страх, страх и более ничего».

— Что ты бродишь ночью по дому? — послышался голос сестры, когда он проходил мимо открытых дверей ее спальни. — Не надо быть таким ребенком, Чарли. Мне очень жаль, если я кажусь тебе бессердечной или жестокой. Но ты должен отказаться от своих предубеждений. Джим не может расти вне школы. Если бы была жива Энн, она обязательно отдала бы его в школу. Завтра он должен пойти на детскую площадку и ходить туда до тех пор, пока не научится постоять за себя и пока дети не привыкнут к нему. Тогда они не станут его трогать.

Андерхилл ничего не ответил. Он тихонько оделся в темноте, спустился вниз и вышел на улицу. Было без пяти двенадцать, когда он быстро зашагал по тротуару в тени высоких вязов, дубов и кленов, пытаясь успокоиться. Он понимал, что Кэрл права. Это твой мир, ты в нем живешь, и ты должен принимать его таким, каков он есть. Но в этом-то и был весь ужас. Ведь он уже прошел через все это, он хорошо знал, что значит побывать в клетке со львами. Воспоминания о собственном детстве терзали его все эти часы, воспоминания о страхе и жестокости. Мог ли он смириться с тем, что и его сына ждут такие испытания, его Джимми, который не виноват в том, что рос слабым и болезненным ребенком, с хрупкими косточ-

ками и бледным личиком. Разумеется, его все будут мучить и обижать.

У детской площадки, над которой все еще горел одинокий фонарь, он остановился. Ворота уже закрыты, но этот единственный фонарь горел здесь до двенадцати ночи. С каким наслаждением он стер бы с лица земли это проклятое место, разбил бы в куски ограду, уничтожил бы эти ужасные спусковые горки и сказал бы детям: «Идите домой! Играйте дома, играйте в своих дворах!»

Каким коварным, жестоким, холодным местом была эта площадка! Знал ли кто-нибудь, откуда приходят сюда дети? Мальчик, выбивший себе зуб, кто он, как его зовут? Никто не знает. Где он живет? Никто не знает. В любой день ты можешь прийти сюда, избить до полусмерти любого из малышей и убежать, а на другой день можешь пойти на другую площадку и проделать то же самое. Никто не станет разыскивать тебя. Можно ходить с площадки на площадку и везде давать волю своим преступным наклонностям — и все безнаказанно, никто не запомнит тебя, ибо никто тебя никогда и не знал. Через месяц можешь снова вернуться на первую из них, и если малыш, которому ты выбил зуб, окажется там и узнает тебя, ты сможешь все отрицать: «Нет, это не я. Это, должно быть, кто-то другой. Я здесь впервые. Нет, нет, это не я». А когда мальчуган отвернется, можешь снова дать ему пинка и убежать, петляя по безымянным улицам.

«Что делать, как помочь сыну? — думал мистер Андерхилл. — Сестра более чем великодушна, она отдает Джиму все свое время, неистраченную любовь и нежность, которые не пришлось подарить собственным детям. Я не могу все время ссориться с ней или просить ее покинуть мой дом. Уехать в деревню? Нет, это невозможно. Для этого нужны деньги. Но оставить Джима здесь я тоже не могу».

— Здравствуй, Чарли, — раздался тихий голос.

Андерхилл вздрогнул и обернулся. За оградой детской площадки прямо на земле сидел серьезный девятилетний мальчуган и рисовал пальцем квадратики в прохладной пыли. Он даже не поднял головы и не посмотрел на Андерхилла. Он просто сказал: «Здравствуй, Чарли», спокойно пребывая в этом зловещем мире по ту сторону железной ограды.

— Откуда ты знаешь мое имя? — спросил мистер Андерхилл.

— Знаю. — Мальчик улыбнулся и поудобнее скрестил ноги. — У вас неприятности.

- Почему ты здесь так поздно? Кто ты?
- Меня зовут Маршалл.
- Ну, конечно же! Ты Томми Маршалл, сын Томаса Маршалла. Мне сразу показалось, что я тебя знаю.
- Еще бы. — Мальчик тихонько засмеялся.
- Как поживает твой отец, Томми?
- А вы давно не видели его, сэр?
- Я видел его мельком на улице месяца два тому назад.
- Как он выглядит?
- Что ты сказал? — удивился мистер Андерхилл.
- Как выглядит мистер Маршалл? — повторил свой вопрос мальчик. Было что-то странное в том, как он избегал произносить слово «отец».
- По-моему, неплохо. Но почему ты меня об этом спрашиваешь?
- Надеюсь, он счастлив, — промолвил мальчик. Мистер Андерхилл смотрел на его поцарапанные руки и разбитые колени.
- Разве ты не собираешься домой, Томми?
- Я убежал из дому, чтобы повидаться с вами. Я знал, что вы придете сюда. Вам страшно, мистер Андерхилл?
- От неожиданности мистер Андерхилл не нашелся что ответить.
- Да, эти маленькие чудовища... — наконец промолвил он.
- Возможно, я смогу помочь вам. — Мальчик нарисовал в пыли треугольник.
- «Что за ерунда?» — подумал мистер Андерхилл.
- Каким образом?
- Ведь вы сделали бы все, чтобы Джим не попал сюда, не так ли? Даже поменялись бы с ним местами, если бы могли?
- Мистер Андерхилл оторопело кивнул.
- Тогда приходите сюда завтра, ровно в четыре часа. Я смогу помочь вам.
- Помочь? Как можешь ты помочь мне?
- Сейчас я вам этого не скажу, — ответил мальчик.
- Но это касается детской площадки, любого места, похожего на это, где царит зло. Ведь вы сами это чувствуете, не так ли?
- Теплый ветерок пролетел над пустынной лужайкой, освещенной светом единственного фонаря. Андерхилл вздрогнул.
- Даже сейчас в площадке было что-то зловещее, ибо она служила злу.
- Неужели все площадки похожи на эту?

— Таких немало. Вполне возможно, что эта — в чем-то единственная, а может, и нет. Все зависит от того, как смотреть на вещи. Ведь они таковы, какими нам хочется их видеть, Чарли. Очень многие считают, что это прекрасная площадка, и они по-своему правы. Наверное, все зависит от того, с какой стороны смотришь на это. Мне только хочется сказать вам, что Том Маршалл тоже пережил это. Он тоже боялся за своего сынишку Томми, тоже думал об этой площадке и о детях, которые играют на ней. Ему тоже хотелось уберечь Томми от зла и страданий.

Мальчик говорит об этом как о далеком прошлом, и мистеру Андерхиллу стало не по себе.

— Вот мы и договорились, — сказал мальчик.

— Договорились? С кем же?

— Думаю, с детской площадкой или с тем, кому она принадлежит.

— Кому же она принадлежит?

— Я никогда не видел его. Там, в конце площадки, за эстрадой, есть контора. Свет горит в ней всю ночь. Какой-то странный, синеватый, очень яркий свет. В конторе совершенно пустой стол и стул, на котором никто никогда не сидел, и табличка с надписью: «Управляющий», хотя никто никогда не видел его.

— Должен же он быть где-нибудь поблизости?

— Совершенно верно, должен, — ответил мальчик. — Иначе ни я, ни кое-кто другой не смогли бы попасть сюда.

— Ты рассуждаешь как взрослый.

Мальчик был заметно польщен.

— Хотите знать, кто я на самом деле? Я совсем не Томми. Я — Том Маршалл, его отец. — Мальчик продолжал неподвижно сидеть в пыли, освещенный светом одинокого, недостижимого фонаря, а ночной ветер легонько трепал ворот его рубашки и поднимал с земли прохладную пыль. — Да, я Том Маршалл — отец. Я знаю, вам трудно поверить в это, но это так. Я тоже боялся за Томми, как вы боитесь сейчас за своего Джима. Поэтому я пошел на эту сделку с детской площадкой. О, не думайте, что я один здесь такой. Есть и другие. Если вы повнимательнее взгляните в лица детей, то по выражению глаз сразу отличите нас от настоящих детей.

Андерхилл растерянно смотрел на мальчика.

— Шел бы ты домой, Томми.

— Вам хочется мне верить. Вам хочется, чтобы все это оказалось правдой. Я понял это в первый же день по вашим глазам, как только вы подошли к ограде. Если бы вы могли

поменяться местами с Джимом, вы, не задумываясь, сделали бы это. Вам хочется спасти его от подобного детства, хочется, чтобы он поскорее стал взрослым и все это было бы уже позади.

— Какой отец не желает добра свосму ребенку.

— А вы особенно. Ведь вы уже сейчас чувствуете каждый удар и пинок, который получит ваш Джим. Ладно, приходите завтра. Вы тоже сможете договориться.

— Поменяться местами с Джимом? — Какая нелепая, неправдоподобная и вместе с тем странно успокаивающая мысль! — Что я должен сделать для этого?

— Твердо решить, что вы этого хотите.

Следующий вопрос мистер Андерхилл постарался задать как можно более безразличным тоном, так, чтобы он походил скорее на шутку, хотя в душе его поднималось негодование.

— Сколько это будет стоить?

— Ровным счетом ничего. Вам только надо будет приходить и играть на этой площадке.

— Весь день?

— И, разумеется, ходить в школу.

— И снова расти?

— Да, и снова расти. Приходите завтра в четыре.

— В это время я еще занят в конторе.

— Итак, до завтра, — сказал мальчик.

— Ты бы лучше шел домой, Томми.

— Меня зовут Том Маршалл, — ответил мальчик, продолжая сидеть в пыли.

Фонарь над детской площадкой погас.

Мистер Андерхилл и его сестра за завтраком молчали. Обычно он звонил из конторы и болтал с сестрой о разных делах, но сегодня он не сделал этого. Однако в половине второго, после ленча, к которому он почти не притронулся, мистер Андерхилл все же позвонил домой. Услышав голос Кэрол, он тут же положил трубку. Но через пять минут снова набрал номер.

— Это ты звонил, Чарли?

— Да, я, — ответил он.

— Мне показалось, что это ты, а потом ты почему-то положил трубку. Ты что-то хотел сказать, дорогой?

Кэрол снова вела себя благоразумно.

— Нет, я просто так.

— Эти два дня были просто ужасны, Чарли! Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Джим должен ходить на площадку и должен получить свою порцию пинков и побоев.

— Да, да, свою порцию.

Он снова увидел кровь, хищные лисьи морды и растерзанного зайчонка.

— Он должен уметь постоять за себя, — продолжала Кэрол, — и, если нужно, дать сдачи.

— Да, дать сдачи, — машинально повторил мистер Андерхилл.

— Я так и знала, что ты одумасшься.

— Да, одумаюсь, — повторял он. — Да, да, ты права. Иного выхода нет. Он должен быть принесен в жертву.

— Чарли, какие странные слова ты говоришь!

Мистер Андерхилл откашлялся.

— Итак, решено.

— Да.

«Интересно, как все это произойдет», — подумал он.

— Ну а в остальном дома все в порядке? — спросил он.

Он думал о квадратах и треугольниках, которые чертил в пыли мальчик, чье лицо было смутно знакомо.

— Да, — ответила сестра.

— Я только что подумал, Кэрол, — вдруг сказал он.

— О чем, милый?

— Я приеду сегодня в три, — он произносил слова медленно, словно человек, который с трудом перевел дыхание после сокрушительного удара под ложечку. — Мы пройдемся немного, ты, я и Джим. — Он закрыл глаза.

— Отлично, милый!

— Пройдемся до детской площадки, — добавил он и положил трубку.

* * *

Была уже настоящая осень, с резким ветром и холодами. За ночь деревья расцвели осенними красками и начали терять листву. Сухие листья кружились над головой мистера Андерхилла, когда он поднялся на крыльцо дома, где укрылись от ветра поджидавшие его Кэрол и маленький Джим.

— Здравствуй. — Брат и сестра, поприветствовав друг друга, обменялись поцелуями.

— Вот и папа, Джим.

— Здравствуй, Джимми.

Они улыбались, хотя у мистера Андерхилла душа холодела от страха при мысли о том, что его ждет.

Было почти четыре часа. Он взглянул на серое небо, грозившее дождем, похожее на застывшую лаву или пепел; влажный ветер дул в лицо. Когда они пошли, мистер Андерхилл крепко прижал к себе локоть сестры.

— Ты такой внимательный сегодня, Чарли, — улыбнулась она.

— Да, да, — рассеянно ответил он, думая о своем.

Вот и ворота детской площадки.

— Здравствуй, Чарли!

Высоко на верхушке гигантской горки стоял маленький Маршалл и махал им рукой, однако лицо его было серьезно.

— Подожди меня здесь, Кэрл, — сказал мистер Андерхилл. — Я скоро вернусь. Я только отведу туда Джимми.

— Хорошо, я подожду.

Он сжал ручонку сына.

— Идем, Джим. Держись крепко за папу.

По бетонным ступеням они спустились на площадку и остановились. Вот они, эти гигантские квадраты, «классики», чудовищные «крестики и нолики», какие-то цифры, треугольники и овалы, которые дети рисовали в этой неправдоподобной пыли.

Налетел ветер, и мистер Андерхилл поежился от холода; он еще крепче сжал ладошку сына и, обернувшись, посмотрел на сестру. «Прощай», — сказал он, ибо более не сомневался ни в чем. Он был на детской площадке, он знал, что она существует и что сейчас произойдет то, что должно произойти. Ради Джима он готов теперь на все, на все в этом ужасном мире. А сестра лишь засмеялась в ответ: «Что ты, Чарли, глупый!»

А потом они с Джимом побежали по пыльной площадке, по дну каменного моря, которое гнало, толкало, бросало их вперед. Вот он услышал, как закричал Джим: «Папа! Папа!», а дети окружили их, и мальчик на спусковой горке что-то кричал, а гигантские «классики», «крестики-нолики» кружились перед глазами. Страх сковал мистера Андерхилла, но он уже знал, что нужно делать, что должно быть сделано и чего следует ожидать.

В дальнем конце площадки в воздухе мелькнул футбольный мяч, со свистом проносились бейсбольные мячи, хлопали биты, мелькали кулаки. Дверь конторы управляющего была широко открыта, стол пуст, на стуле — никого, а под потолком горела одинокая лампочка.

Андерхилл споткнулся, зажмурил глаза и, издав вопль, упал на землю. Тело сжалось от острой боли, странные слова слетали с губ, все кружилось перед глазами.

— Ну вот и ты, Джим, — произнес чей-то голос.

А мистер Андерхилл, зажмурив глаза, визжа и вопя, уже взбирался по высокой металлической лестнице; в горле першило от крика.

Открыв глаза, он увидел, что сидит на самой верхушке отливающей свинцовой синевой горки не менее десяти тысяч футов высотой, а сзади на него напирают другие дети. Они толкают и бьют его, требуют, чтобы он спускался вниз, спускался вниз!

Он посмотрел вниз и далеко в конце площадки увидел человека в черном пальто. Он шел к воротам, а там стояла женщина и махала ему рукой. Потом мужчина и женщина стояли рядом и смотрели на него. Они махали и кричали:

— Не скучай, Джим, не скучай!

Он закричал и, все поняв, в ужасе посмотрел на свои маленькие худые руки и на далекую землю внизу. Он уже не чувствовал, как из носа сочится кровь, а мальчишка Маршалл вдруг очутился рядом.

— Привет! — выкрикнул он и изо всех сил ткнул его кулаком в лицо. — Всего каких-нибудь двенадцать лет, пустяки! — Рев площадки заглушил его голос.

— Двенадцать лет! — подумал мистер Андерхилл, чувствуя, как западня захлопнулась. — У детей свое чувство времени. Для них год все равно что десять. Значит, не двенадцать лет детства, а целое столетие этого кошмара!»

— Эй ты, спускайся вниз!

Сзади его обдавали запахами горчичных припарок и скипидарной мази, земляных орехов и жевательной резинки, запахами чернил, бечевы для бумажного змея, борного мыла, тыквенных масок, оставшихся от праздника «всех святых», и масок из папье-маше, запахами подсыхающих ссадин и болячек; его били, щипали и толкали вниз. Кулаки поднимались и опускались, он видел злые лисьи морды, а внизу у ограды мужчина и женщина махали ему рукой. Он закричал, он закрыл лицо руками, он почувствовал, как сочится из носа кровь, а его подталкивают все ближе и ближе к краю пропасти, за которой была пустота, ничто.

Нагнувшись вперед, вопя от страха и боли, он ринулся вниз, а за ним остальные — десятки тысяч чудовищ! За секунду до того, как он шлепнулся на землю, врезался в самую гущу барахтающихся тел, в голове пронеслась и тут же исчезла мысль: «Да ведь это же ад, сущий ад!»

И разве кто-либо из мальчишек, оказавшихся в этой чудовищной свалке у подножия горки, стал бы оспаривать это?

ЧАС ПРИВИДИНИЙ

Это был самый лучший час.

Самый замечательный час суток.

Это был Час Привидений.

Посредине комнаты Тимоти что-то закрутилось, и возникло невероятное привидение.

Посредине комнаты Ральфа встал второй призрак, намыслимой величины и загадочного облика.

Посредине логовища Элис, на другой стороне коридора, соткался из света, снующего взад-вперед, из воздуха и из танцующих пылинок третий — печальная, со скорбным взглядом незнакомка.

В гостиной, внизу, встречал неожиданных гостей отец.

А мать? Мать в это время хозяйничала на кухне, между тем как Ведьма-Повариха качалась в горячем воздухе над плитой, что-то напевая пряностям, листала поваренные книги, что-то добавляла в кушанья. Только дотронувшись рукой, ты узнал бы, которая из двух настоящая. Старую толстую Ведьму твои пальцы проткнули бы насквозь. Пальцы остановились бы, ткнувшись в жаркую летнюю плоть Хозяйки Дома.

— Вот здорово! — крикнул Тимоти.

— Его можно обойти вокруг! — воскликнул Ральф.

И это была правда.

И они стали кружить и кружить вокруг своих Привидений, электронных див, принесенных невидимыми лучами специально для них, в их комнаты.

— Они настоящие!

— И все-таки не совсем...

— Повторите все снова, — сказала Элис лучезарному воздуху.

— Да, — попросили мальчики, — говорите еще!

И призрак Марли¹ в комнате Тимоти затряс цепями из копилок и висячих замков и, вперив в мальчика взгляд похожих на бледные устрицы глаз, загоревал по своей погибшей душе:

— О, горе мне! Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни... Мне нет отдыха, нет покоя! Да будет тебе это уроком, Эбинизер Скрудж!

А у постели Ральфа между тем призрак слепого Пью смял в руке маленький клочок бумаги с чернильным кружком на нем и воскликнул:

¹Здесь и далее в рассказе упоминаются персонажи из произведений Ч.Диккенса, Р.Стивенсона, Э.Бронте, Р.Киплинга, А.Конан Дойля, В.Шекспира.

— Черная метка! Я обречен!

И почти потерял сознание, когда откуда-то из темных углов комнаты донеслось — топ-тумп, топ-тумп — поступь одноногого человека, шагающего в темноте по дороге вдоль берега какого-то далекого моря.

Элис была в восторге.

Ее Привидение, молодая женщина с волосами, развевающимися на ветру, постучало в залепленное снегом окно и прокричало имя необузданного человека:

— Хитклиф!

И в зимней ночи распахнулась висящая в воздухе, в середине комнаты, дверь. Откликнувшись на зов, оттуда выбежал человек и исчез с Грозового Перевала, затерялся в буре снежинок, падающих на пол и тающих, не оставляя следа.

— Голограммы, — прошептал Тимоти, — телесвязь. Лучи лазеров и небывалые машины...

— Замолчи! — остановил его Ральф, младший, но более мудрый. — Не хочу этого знать. Я хочу только смотреть! Лучше Привидений нет ничего на свете. После слепого Пью у меня побывали фараон Тутанхамон, и Рикша-Призрак, и... черт возьми, может, прямо сейчас?

Он нажал на кнопку. Свет лазера переткал наново свой ковер. Слепой Пью исчез, а с ним и стук деревянной ноги на далекой дороге.

Из туманов над болотами, в свете молнии, под мелким дождем, поднялась и залаяла, сверкая глазами, собака.

— Милый пес, — сказал Ральф, — милые Баскервилли!

В гостиной горевал дух отца Гамлета:

— О, слушай, слушай, слушай! Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца...

— Одну чашку шерри, — напомнила Покровительница Кухни, компьютерная память, которая всегда посоветует, как лучше приготовить то или иное блюдо. — Две...

— Благодарю вас, — прервала ее хозяйка и щелкнула тумблером.

Повинуясь силе молний, Кухонное Привидение исчезло.

— Обед готов! — крикнула, выглянув в коридор, мать.

— Вы, — сказал то ли Тимоти, то ли Скрудж, — вовсе не вы, а лишь капля горчицы, непрожаренная картофелина...

После чего старый Марли провалился с криком отчаяния в собственные кости и растаял.

— Приходи снова в восемь! — сказал Ральф.

И собака ушла в трясину ковра.

— Как жалко! — заплакал Элис, когда Хитклиф и его возлюбленная убежали сквозь стены комнаты.

Гостиная: свет утра в Эльсиноре. Отец Гамлета удалился. А отец этого дома встал и пошел обедать.

Точно так же, как и его реальные дети, побежавшие на зов матери, к реальной пище.

Час Привидений кончился.

Полумрак лазерных визитов рассеялся.

Но предстоял вечер. И когда с уроками было покончено, их всех уже ждали новые призраки. В стенах таились Духи Прошлых, Нынешних и Будущих Святых. Своим призрачным фонарем сигналил с верхних ступенек лестницы Стрелочник-Призрак. Их дом стал теперь настоящим «Домом с Привидениями».

— Я взял на себя смелость, — сказал отец, — пригласить к обеду Платона и Аристотеля.

— Уж слишком много они говорят! — проворчал Ральф.

Но тут эти два старика вдруг неслышно встали около них.

— Как дела в «Государстве»? — спросил Тимоти.

— Как дела?..

И Платон рассказал ему быстро, хорошо и правдиво.

Изумленный Ральф выпрямился на своем стуле, поморгал и сказал:

— Раз так, то не исчезай. Расскажи снова.

И Платон рассказал.

И это было *почти* так же хорошо, как слепой Пью или вой собаки Баскервильей на болоте, среди трясины.

МАЛЬЧИК-НЕВИДИМКА

Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.

— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеиный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу — и земля заколешется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет срьд белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая

белка, шелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах, ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.

Вся в поту, она встала и направилась напрямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну, выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка.

— Ах, так! — прошипела она. — Хорошо же, я сама войду!

Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.

— Господи, о Господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настезь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной, мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот okazji.

Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:

— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком,

сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он се сын, больше ничей, и делу конец.

— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.

— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом.

Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю шепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь немоготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!

— Э-э! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась.

— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.

Чарли молчал; тогда она свистящим, прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние, накопай мышиного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке.

— Ты рехнулась, — сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты меня разыгрываешь, — сказал Чарли.

— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, что ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Правда, буду невидимкой?

— Правда, правда!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Ну, ладно, — нерешительно сказал он.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, понурый, глядит исподлобья.

— Ну, делай меня невидимкой.

— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай-ка, ищи!

Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья серебряную иголку. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удается. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках, руками, рот открыт, зубы блестят...

— Готов, — содрогаясь, прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!

— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!

Он сунул амулет в карман.

— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул, так что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!

Тощее тело Старухи затряслось от смеха.

— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.

— Ой!

— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он.

— Правда?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?

— Как вода в ручье, когда ее взбаламутить.

— Ничего, мать осядет.

Погодя, она добавила:

— Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?

Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.

Грезя наяву, он заговорил:

— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.

Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.

— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.

Потом прибавила:

— А как с твоими родителями?

— Родителями?

— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи!», после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.

— Ох, и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...

Он глотнул.

— Ну, что девчонки?

— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видеть!

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.

— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше, он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почувдится ему, что белка скачет во дворе, и саданет. Ой-ой...

Старуха кивнула дереву.

— А что, так и будет.

— Ладно, — рассудил Чарли, — сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Есть же чудачки, выше себя прыгнуть стараются, — сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему, — объяснила она. — Не так-то это просто было, сделать тебя невидимкой. И теперь нужно

время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сходит.

— Это все ты! — вскричал он. — Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!

— Тише, не кричи, — ответила Старуха. — Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.

— Это как же так — я иду по горам, и только одну руку видно?

— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!

— Или ногу?..

— Будто розовый кролик в кустах прыгает!

— Или одна голова плывет в воздухе?

— Будто волосатый шар на карнавале!

— Когда же я целым стану?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.

У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.

— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала! Теперь мне нельзя бежать домой!

Она подмигнула.

— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, вздумала удержать меня!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали.

Подождав, она развела костер.

— Вернется, — прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя:

— Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на окатанные ручьем голыши и уставился на нее.

Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к востоку.

— Чарли?

Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдаль. Она звала его снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.

— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж, во всяком случае, ему очень нравилось быть невидимым.

Она громко произнесла:

— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.

— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.

Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась с криком:

— Господи, что это?

Подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это ты, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засемила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец, ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да где же ты?

Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.

Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, краснея от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие — словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!

Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.

Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бываст невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабы, паузы: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.

Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.

Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскричала она.

Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом бежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как

солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги сго мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.

У Старухи отнялся язык. Что сказать ему? Оденсья, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать! Сказать так? Ох, Чарли, господи, боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..

Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топает босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это длилось, наконец она не выдержала:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!

Он спорхнул к ней, точно лист с дерева, — слава богу, одетый.

— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!

— Правда видишь? — спросил он.

— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вон там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Появился, появился!

Старуха кивнула.

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.

— А руки, руки как?

— Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!

— А вторая?

— Тоже ползет.

— А тело у меня есть?

— Уже проступает, все как надо.

— Теперь верни мне голову, и я пойду домой.

«Домой», — тоскливо подумала Старуха.

— Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя головы! Нету!

Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...

— Нету головы, нету, — твердила она.

— Совсем нет? — заныл Чарли.

— Есть, есть, о господи, вернулась твоя паршивая голова! — огрызнулась она, сдаваясь. — А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Чарли швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свининой, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках, — и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть...

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Как ветер октября, примчались в городок аттракционы, будто прилетели из-за холодного озера, стуча костями в ночи, причитая, вздыхая, шепча над крышами балаганов в темном дожде, черные летучие мыши. Аттракционы поселились на месяц возле серого, беспокойного октябрьского озера под свинцовым небом, в черной непогоде гроз, бушующих все сильнее.

Шла уже третья неделя месяца, был четверг, надвигались сумерки, когда на берегу озера появились в холодном ветре двое мальчишек.

— Ну-у, я не верю! — сказал Питер.

— Пошли, увидишь сам, — отозвался Хэнк.

Их путь по сырому коричневому песку грохочущего берега отмечали густые плевки. Мальчики бежали на безлюдную сейчас площадку, где разместились аттракционы. По-прежнему лил дождь. Никто сейчас на этой площадке возле шумящего озера не покупал билетов в черных облупившихся будках, никто не пытался выиграть соленый окорок у взвизгивающей рулетки, и никаких уродов — ни худых, ни толстых — не видно было на помостах. В проходе, рассекавшем площадку пополам, царило молчание, только брезент балаганов хлопал на ветру, похожий на огромные крылья доисторических чудо-

вищ. В восемь вечера, может быть, вспыхнут мертвенно-белые огни, громко зазвучат голоса, над озером разнесется музыка. Но пока лишь слепой горбун сидел в одной из будок, чем-то напоминающей треснувшую фарфоровую чашку, из которой он не спеша отхлебывал какое-то ароматное питье.

— Вот, — прошептал Хэнк и показал рукой.

Перед ними безмолвно высилось темное «чертово колесо», огромное созвездие электрических лампочек на фоне затянутого облаками неба.

— Все равно не верю, — сказал Питер.

— Я своими глазами видел. Не знаю, как они это делают, но так все и произошло. Сам знаешь, какие они бывают, эти приезжие с аттракционами, — все чудные. Ну, а эти еще чудней других.

Схватив Питера за руку, Хэнк потащил его к дереву неподалеку, и через минуту они уже сидели на толстых ветках, надежно укрытые от посторонних взглядов густой зеленой листвой. Вдруг Хэнк замер.

— Тс-с! Мистер Куджер, директор, — вон, смотри!

Невидимые, они впились в него глазами.

Мистер Куджер, человек лет тридцати пяти, прошел прямо под их деревом. На нем был светлый наглаженный костюм, в петлице у него была гвоздика, из-под коричневого котелка блестящие напомаженные волосы. Когда, три недели назад, аттракционы прибыли в городок, он, приветствуя жителей, почти непрерывно размахивал этим котелком и нажимал на клаксон своего блестящего красного «форда».

Вот мистер Куджер кивнул и что-то сказал маленькому слепому горбуну. Горбун неуклюже, на ощупь, запер мистера Куджера в черной корзине и послал ее стремительно ввысь, в сгущающиеся сумерки. Мотор выл и жужжал.

— Смотри! — прошептал Хэнк. — «Чертово колесо» крутится неправильно! Назад, а не вперед!

— Ну и что из этого?

— Смотри хорошенько!

Двадцать пять раз прокрутилось огромное черное колесо. Потом слепой горбун, протянув вперед бледные руки, на ощупь выключил мотор. Чуть покачиваясь, колесо замедлило ход и остановилось.

Черная корзина открылась, и из нее выпрыгнул десятилетний мальчик. Петля между балаганами и аттракционами в шепоте ветра, он быстро зашагал прочь.

Питер едва не сорвался с ветки, его взгляд обезумело метался по «чертову колесу».

— Куда же девался мистер Куджер?

Хэнк торжествующе ткнул его в бок:

— А еще мне не верил! Теперь убедился?

— Что он задумал?

— Скорей, за ним!

Хэнк камнем упал с дерева, и еще до того, как ноги его коснулись земли, он уже мчался вслед за десятилетним мальчиком.

Во всех окнах белого дома миссис Фоли, стоявшего у оврага, в тени огромных каштанов, горел свет. Кто-то играл на рояле. За занавесками, в тепле дома, двигались силуэты. Дождь все шел, унылый, неотвратимый, бесконечный.

— До костей промок, — пожаловался Питер, сидя в кустах. — Будто из шланга окатили. Сколько нам еще ждать?

— Тс-с! — прошипел Хэнк из-за завесы дождя.

Следуя за мальчиком от самого «чертова колеса», они пересекли весь городок, и темные улицы привели их к дому миссис Фоли, на край оврага. И сейчас в теплой столовой дома незнакомый мальчик обедал, уписывал за обе щеки сочные отбивные из барашка и картофельное пюре.

— Я знаю, как его зовут, — торопливо зашептал Хэнк. — Мама на днях о нем говорила. Она сказала: «Ты, наверно, слышал, Хэнк, про сироту, который будет жить теперь у миссис Фоли? Его зовут Джозеф Пайкс, недели две назад он пришел к миссис Фоли прямо с улицы и рассказал, что он сирота, бродяжничает, и спросил, не найдется ли ему чего-нибудь поесть, и с тех пор их с миссис Фоли водой не разольешь». Это мне рассказала мама. — Хэнк замолчал, не отрывая взгляда от запотевшего изнутри окна. С носа его падали капли. Он сжал локоть Питера, ежившегося от холода. — Он мне сразу не понравился, Пит, еще в первый раз, как я его увидел. Он... злой какой-то.

— Я боюсь, — захныкал, уже не стесняясь товарища, Питер. — Мне холодно, я хочу есть, и я не понимаю, что здесь делается.

— Ой, ну и туп же ты! — и Хэнк с презрительной гримасой досадливо тряхнул головой. — Соображать надо! Аттракционы приехали три недели назад. И примерно тогда же к миссис Фоли появился этот противный сиротка.

А ее собственный сын умер когда-то ночью, зимой, давным-давно, и она с тех пор так и не утешилась, а тут вдруг появился противный сиротка и стал к ней подлизываться!

— О-ох, — почти простонал, трясясь, Питер.

— Пойдем!

Дружным шагом они подошли к парадному и застучали в дверь молотком с львиной мордой.

Не сразу, но дверь отворилась, и наружу выглянула миссис Фоли.

— Входите, вы совсем промокли, — сказала она, и они вошли в переднюю. — Что вам нужно, дети? — спросила, наклонившись к ним, высокая дама. Ее полную грудь закрывали кружева, лицо у нее было худое и бледное, волосы седые. — Ведь ты Генри Уолтерсон, не так ли?

Хэнк кивнул, глядя испуганно в столовую; незнакомый мальчик оторвался от еды и через открытую дверь посмотрел на них.

— Можно нам поговорить с вами наедине, мэм?

Похоже было, что эти слова несколько удивили миссис Фоли; Хэнк между тем, прокравшись на цыпочках к двери в столовую, тихонько притворил ее и после этого прошептал:

— Мы хотим предупредить вас кое о чем — об этом мальчишке, который у вас, о сироте.

В передней повеяло холодом. Миссис Фоли как будто стала еще выше.

— В чем дело?

— Он приехал с аттракционом, и никакой он не мальчик, а взрослый, и он придумал жить у вас, пока не узнает, где у вас лежат деньги, а когда узнает, то как-нибудь ночью убежит с ними, и тогда люди начнут его разыскивать, но ведь они будут разыскивать десятилетнего мальчика, и даже если взрослый, которого зовут мистер Куджер, окажется совсем рядом, им и в голову не придет, что он и есть тот мальчик, который украл деньги! — почти прокричал Хэнк.

— О чем ты говоришь? — сухо спросила миссис Фоли, повысив голос.

— Об аттракционах, о «чертовом колесе» и этом приезжем, мистере Куджере! «Чертово колесо» крутится назад, и я не знаю как, но мистер Куджер от этого становится все моложе, моложе и превращается наконец в мальчика и приходит к вам, но этому мальчику нельзя доверять, ведь, когда ваши деньги будут у него в руках, он снова сядет в «чертово колесо», но теперь оно будет

вертеться вперед, и он опять станет взрослым, а мальчика уже не будет!

— Спокойной ночи, Генри Уолтерсон, и никогда больше не приходи сюда! — крикнула миссис Фоли.

Дверь за Питером и Хэнком захлопнулась. Они опять были под дождем. Холодный, он пропитывал и пропитывал их одежду, впитывался в нее весь до последней капельки.

— Ну и дурак же ты! — фыркнул Питер. — Что придумал! А если он все слышал, если придет и убьет нас, когда мы будем спать, сегодня же ночью, чтобы мы никому больше не проболтались?

— Он этого не сделает, — сказал Хэнк.

— Не сделает? — Питер схватил Хэнка за плечо. — Смотри!

В большом, выступающем фонарем окне столовой тюлевая занавеска была сдвинута в сторону. В ореоле розового света стоял и грозил им кулаком маленький сирота. Лицо его было страшно, зубы оскалены, глаза полны ненависти, перекошенный рот изрыгал проклятия. Но длилось это одно мгновение, а потом занавеска закрыла окно опять. Полило как из ведра. Медленно, чтобы не поскользнуться, Питер и Хэнк побрели сквозь ливень и темноту домой.

За ужином отец посмотрел на Хэнка и сказал:

— Будет чудо, если ты не схватишь воспаление легких. Ну и вымок же ты! Кстати, что там за история с аттракционами?

Поглядывая на окна, дребезжащие под порывами ветра и дробью капель, Хэнк ковырял вилкой пюре.

— Знаешь мистера Куджера, хозяина аттракционов, пап?

— С розовой гвоздикой в петлице?

— Он самый! — Хэнк поднял голову. — Значит, ты его видел?

— Он остановился на нашей улице, в пансионе миссис О'Лири, его комната выходит окнами во двор. А что?

— Просто так, — ответил, краснея, Хэнк.

После ужина Хэнк позвонил по телефону Питеру. Питера на другом конце провода терзал кашель.

— Послушай, Пит! — сказал Хэнк. — Я все понял, до конца. Этот несчастный сиротка, Джозеф Пайкс, заранее хорошо продумал, что ему делать, когда он завладеет деньгами миссис Фоли.

— И что же он такое придумал?

— Он будет околачиваться у нас в городке под видом хозяина аттракционов, будет жить в пансионе миссис

О'Лири. И никто на него не подумает. Все будут искать мальчика-воришку, а воришка будто сквозь землю провалился. Зато хозяин аттракционов будет спокойненько повсюду разгуливать. И никому в голову не придет, что это его рук дело. А если аттракционы сразу снимутся с места, все очень удивятся и могут что-нибудь заподозрить.

— О-ой, о-ой, — занял, шмыгая носом, Питер.

— Так что надо действовать быстро, — продолжал Хэнк.

— Никто нам не поверит, я пробовал рассказывать родителям, а они мне: «Какая чушь!» — прохныкал Питер.

— И все равно надо действовать, сегодня же вечером. Почему? Да потому, что теперь он постарается нас убить! Мы единственные, кто знает, и, если мы скажем полиции, чтобы за ним следили, что он притворяется сиротой, чтобы украсть деньги миссис Фоли, покоя у него больше не будет. Готов спорить, сегодня вечером он что-нибудь предпримет. Потому я и говорю, давай встретимся через полчаса опять около дома миссис Фоли.

— О-ой, — снова занял Питер.

— Так ты что, умереть хочешь?

— Нет, не хочу, — помедлив, ответил тот.

— Тогда о чем мы разговариваем? Значит, встречаемся у ее дома и, готов спорить, сегодня же вечером увидим, как сирота смоемся с ее деньгами и побежит сразу к аттракционам, а миссис Фоли в это время будет крепко спать и даже не услышит, как он уйдет. В общем, я тебя жду. Пока, Пит!

— Молодой человек, — сказал отец за спиной у Хэнка, едва только Хэнк положил трубку. — Вы больше никуда не пойдете. Вы отправляетесь в постель. Вот сюда. — Он повел Хэнка вверх по лестнице. — Я заберу всю твою одежду. — Хэнк разделся. — Больше, надеюсь, у тебя в комнате одежды нет? Или есть? — спросил отец.

— Больше нет, остальная в стенном шкафу в передней, — ответил, горестно вздохнув, Хэнк.

— Хорошо, — сказал отец, вышел, закрыл за собою дверь и запер ее на ключ.

Хэнк стоял голышом.

— Ну и ну, — пробормотал он.

— Укладывайся, — донеслось из-за двери.

Питер появился у дома миссис Фоли около половины десятого, он все время чихал под огромным, не по росту плащом, а на голове у него была нахлобучена матросская бескозырка. Он стоял, похожий на водоразборную колонку,

и тихонько оплакивал свою судьбу. Окна верхнего этажа светились приветливым теплом. Питер простоял целых полчаса, глядя на блестящие от дождя ночные улицы.

Наконец в мокрых кустах метнулось и зашуршало что-то светлое.

— Это ты, Хэнк? — спросил Питер, вглядываясь в кусты.

— Я.

Из кустов вынырнул Хэнк.

— Что за черт? — сказал, вытаращив на него глаза, Питер. — Почему ты голый?

— Я так бежал от самого дома. Отец ни за что не хотел меня пускать.

— Ведь ты заболеешь воспалением легких!

Свет в доме потух.

— Прячься! — крикнул Хэнк, и они бросились в заросли и затаились.

— Пит, — сказал Хэнк, — ты ведь в штанах?

— Конечно!

— И в плаще, так что не будет видно, если ты мне их дашь.

Питер нехотя снял штаны. Хэнк натянул их на себя.

Дождь затихал. В тучах появились разрывы.

Минут через десять из дома выскользнула маленькая фигурка, в руках у нее был туго набитый чем-то бумажный мешок.

— Он, — прошептал Хэнк.

— Он! — вырвалось у Питера.

Джозеф Пайкс побежал.

— За ним! — крикнул Хэнк.

Они понеслись между каштанами, но за Джозефом Пайксом было не угнаться. Мальчики избежали за ним на холм, потом, по ночным улицам, вниз, мимо сортировочной станции, мимо мастерских, к проходу посередине безлюдной сейчас площадки с аттракционами. Они здорово отстали — Питер путался в тяжелом плаще, а у Хэнка зуб на зуб не попадал от холода. Им казалось, будто шлепанье голых пяток Хэнка слышно по всему городку.

— Быстрее, Пит! Если он раньше нас добежит до «чертова колеса», он снова превратится во взрослого, и тогда уже нам никто не поверит!

— Я стараюсь быстрее!

Но Пит отставал все больше, Хэнк шлепал уже где-то далеко впереди; дождь почти совсем перестал, и тучи покидали небо.

— Э-э, э-э, э-э! — оглядываясь, дразнил их Джозеф Пайкс, потом стрелой метнулся вперед и стал для них всего лишь тенью где-то вдалеке. Тень растворилась во мраке, царившем на площадке с аттракционами.

Добежав до края площадки, Хэнк остановился как вкопанный. «Чертовое колесо», оставаясь на месте, катилось вверх, вверх, будто погруженная во мрак земля поймала в свои сети огромную многозвездную туманность, и та крутилась теперь, но только вперед, а не назад, и в черной корзине сидел Джозеф Пайкс и то сверху, то сбоку, то снизу, то сверху, то сбоку, то снизу смеялся над жалким маленьким Хэнком внизу, на земле, а рука слепого горбуна лежала на рукоятке ревущей, блестящей от масла черной машины, благодаря которой крутилось и крутилось, не останавливаясь, «чертовое колесо». Снова шел дождь, и на дорожке, делившей площадку с аттракционами на две половины, не видно было ни души. Не крутилась карусель, только ее грохочущая музыка разносилась далеко вокруг. И Джозеф Пайкс то взлетал в облачное небо, то опускался, и с каждым оборотом колеса становился на год старше, менялся его смех, звучал глубже, менялось лицо, форма лица, злые глаза, всклокоченные волосы, он сидел в черной корзине и неся, неся вихрем по кругу, вверх-вниз, вверх-вниз, и смеялся в неприветливое небо, где мелькали последние обломки молнии.

Хэнк бросился к горбуну, стоявшему у машины. На ходу, пробегая мимо балагана, вырвал из земли костыль, один из тех, на которых крепился брезент.

Черные корзины уносились вверх, слетали вниз.

Хэнк ударил горбуна металлическим костылем по колену и прыгнул в сторону.

Горбун взвизгнул и начал падать вперед.

Падая, он вцепился в рукоятку мотора, но Хэнк уже был возле него и, размахнувшись, ударил костылем по пальцам. Горбун взвыл, отпустил рукоятку и попытался было лягнуть Хэнка. Хэнк поймал ногу, дернул, горбун поскользнулся и упал в грязь.

А «чертовое колесо» все крутилось, крутилось.

— Останови, останови колесо! — закричал то ли Джозеф Пайкс, то ли мистер Куджер, взлетая легким мыльным пузырем в созвездии круженья, ветра и скорости в холодное грозное небо.

— Не могу подняться! — стонал горбун.

Хэнк бросился на него, и они сцепились в драке.

— Останови, останови колесо! — закричал мистер Куджер, но уже не такой, как прежде, и уже другим голосом,

спускаясь и в ужасе взлетая опять в ревушее небо «чертова колеса». Между длинных темных спиц пронзительно свистел ветер. — Останови, останови, **ОСТАНОВИ** колесо!

Оставив горбуна, лежащего, беспомощно раскинув руки, на земле, Хэнк вскочил на ноги и кинулся к гудящей машине. Начал остервенело по ней бить, гнуть рукоятку, совать попавшие под руку железки во все пазы и зазоры, лихорадочно привязывать рукоять веревкой.

— Останови, останови, останови колесо! — стenal голос где-то высоко в ночи, там, где сейчас из белого пара облаков выгонял луну ветер. — Останови-и-и...

Голос затих. Внезапно все вокруг осветилось — ярко вспыхнули все фонари на площадке. Из балаганов выскакивали, мчались к колесу люди. Хэнка подбросили вверх, потом на него посыпались градом ругательства и удары. Где-то рядом послышался голос Питера, и на площадку выбежал задыхающийся полицейский с пистолетом в вытянутой руке.

— Останови, останови колесо!

Голос звучал как вздох ветра.

Голос повторял эти слова снова и снова.

Смуглые люди, приехавшие с аттракционами, пытались остановить мотор. Но ничего не получилось. Машина гудела, и колесо вращалось, вращалось... Тормоз заклинило.

— Останови!.. — прошелестел голос в последний раз.

И — молчание.

Высоченное сооружение из электрических звезд, металла и черных корзин, «чертово колесо», безмолвно совершало свой путь. Ни одного звука не слышно было, кроме гудения мотора, — пока мотор не заглох и не остановился. Еще с минуту колесо крутилось по инерции, и на него, задрав головы, глядели все, кто приехал с аттракционами, глядели Хэнк и Питер, глядел полицейский.

Колесо остановилось. Привлеченные шумом, вокруг уже собрались люди. Несколько рыбаков с озера, несколько железнодорожников. Колесо жалобно взвизгивало, стонало, тянулось вслед за улетающим ветром.

— Смотрите, смотрите! — почти разом закричали все.

И полицейский, и люди, приехавшие вместе с аттракционами, и рыбаки — все смотрели на черную корзину в самом низу. Ветер, дотрагиваясь до корзины, мягко ее покачивал, тихо ворковал в вечерних сумерках над тем, что было в черной корзине.

Над скелетом, у ног которого лежал бумажный мешок, туго набитый деньгами, а на черепе красовался коричневый котелок.

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Роби Моррисон не знал, куда себя деть. Слоняясь в тропическом зное, он слышал, как на берегу глухо грохочут волны. В зелени Острова Ортопедии затаилось молчание.

Шел год тысяча девятьсот девяносто седьмой, но Роби это нисколько не интересовало.

Его окружал сад, и он, уже десятилетний, по этому саду метался. Был Час Размышлений. Снаружи к северной стене сада примыкали Апартаменты Вундеркиндов, где ночью в крохотных комнатках спали на особых кроватях он и другие мальчики. По утрам они, как пробки из бутылок, вылетали из своих постелей, кидались под душ, заглатывали еду — и вот они уже в цилиндрических кабинах, пневматическая подземка их всасывает, и снова на поверхность они вылетают посреди Острова, прямо к Школе Семантики. Оттуда позднее — в Класс Физиологии. После физиологии вакуумная труба уносит Роби в обратном направлении, и через люк в толстой стене он попадает в сад, чтобы провести там этот глупый Час никому не нужных Размышлений, предписанных ему Психологами.

У Роби об этом часе было твердое мнение: «Черт знает до чего занудно».

Сегодня он был разъярен и бунтовал. С завистью он поглядывал на море: эх, если бы и ему можно было так же свободно приходить и уходить! Глаза Роби потемнели от гнева, щеки горели, маленькие руки не знали покоя.

Откуда-то послышался тихий звон. Целых пятнадцать минут еще размышлять — брр! А потом — в Робот-Столовую, придать подобие жизни, набив его доверху, своему мертвеющему от голода желудку, как таксидермист, набивая чучело, придает подобие жизни птице.

А после научно обоснованного, очищенного от всех ненужных примесей обеда — по вакуумным трубам назад, на этот раз в Класс Социологии. В зелени и духоте Главного Сада к вечеру, разумеется, будут игры. Игры, родившиеся не иначе как в страшных снах какого-нибудь страдающего разжижением мозгов психолога. Вот оно, будущее! Теперь, мой друг, ты живешь так, как тебе предсказали люди прошлого, еще в годы тысяча девятьсот двадцатый, тысяча девятьсот тридцатый и тысяча девятьсот сорок второй! Все свежее, похрустывающее, гигиеничное — чересчур свежее! Никаких тебе противных родителей, и потому — никаких комплексов! Все учтено, мой милый, все контролируется!

Чтобы по-настоящему воспринять что-нибудь из ряда вон выходящее, Роби следовало быть в самом лучшем расположении духа.

У него оно было сейчас совсем иное.

Когда через несколько мгновений с неба упала звезда, он только разозлился еще больше.

Звезда имела форму шара. Она ударилась о землю, прокатилась по зеленой, нагретой солнцем траве и остановилась. Щелкнув, открылась маленькая дверца.

Это смутно напомнило Роби сегодняшний сон, тот самый, который он наотрез отказался записать утром в свою Тетрадь Сновидений. Сон этот почти было вспомнился ему, но в это мгновение в звезде распахнулась дверца и оттуда появилось... нечто.

Непонятно что.

Юные глаза, когда видят какой-то новый предмет, обязательно ищут в нем черты чего-то уже знакомого. Роби не мог понять, что именно вышло из шара. И поэтому, наморщив лоб, подумал о том, на что это *больше всего похоже*.

И тотчас «нечто» стало чем-то *определенным*.

В теплом воздухе вдруг повеяло холодом. Что-то замерцало, начало, будто плавясь, перестраиваться, меняться и обрело наконец вполне определенные очертания.

Возле металлической звезды стоял человек, высокий, худой и бледный; он был явно испуган.

Глаза у человека были розоватые, полные ужаса. Он дрожал.

— А-а, тебя я знаю. — Роби был разочарован. — Ты всего-навсего Песочный Человек¹.

— Пе... Песочный Человек?

Незнакомец переливался, как марево над кипящим металлом. Трясущиеся руки взметнулись вверх и стали судорожно ощупывать длинные, медного цвета волосы, словно он никогда не видел или не касался их раньше. Он с ужасом оглядывал свои руки, ноги, туловище, как будто ничего такого раньше у него не было.

— Пе... сочный Человек?

Оба слова он произнес с трудом. Похоже, что вообще говорить для него было делом новым. Казалось, он хочет убежать, но что-то удерживает его на месте.

¹Персонаж детской сказки, Песочный Человек приходит к детям, которые не хотят уснуть, и засыпает им песком глаза.

— Конечно, — подтвердил Роби. — Ты мне снишься каждую ночь. О, я знаю, что ты думаешь. Семантически, говорят наши учителя, разные там духи, привидения, домовые, феи и Песочный Человек тоже — это всего лишь названия, слова, которым в действительности ничто не соответствует — ничего такого на самом деле просто нет. Но наплевать на то, что они говорят. Мы, дети, знаем обо всем этом больше учителей. Вот ты передо мной, а это значит, что учителя ошибаются. Ведь существуют все-таки Песочные Люди, правда?

— Не называй меня никак! — закричал вдруг Песочный Человек. Он будто что-то понял, и это вызвало в нем неопиcуемый страх. Он по-прежнему ощупывал, теребил, щипал свое длинное тело с таким видом, как если бы это было что-то ужасное. — Не надо мне никаких названий!

— Как это?

— Я нечто необозначенное! — взвизгнул Песочный Человек. — Никаких названий для меня, пожалуйста! Я нечто необозначенное, и ничего больше! Отпусти меня!

Зеленые, кошачьи глаза Роби сузились.

— Хотел бы я знать... — Он уперся руками в бока. — Не мистер ли Грилл тебя подослал? Спорю, что он! Спорю, что это новый психологический тест!

От гнева к его щекам прихлынула кровь. Хоть бы на минуту оставили его в покое! Решают за него, во что ему играть, что есть, как и чему учиться, лишили матери, отца и друзей, да еще потешаются над ним!

— Да нет же, я не от мистера Грилла! — прорыдал Песочный Человек. — Выслушай меня, а то придет кто-нибудь и увидит меня в моем теперешнем виде — тогда все станет много хуже!

Роби со злостью лягнул его. Громко втянув воздух, Песочный Человек отпрыгнул назад.

— Выслушай меня! — закричал он. — Я не такой, как вы все, я не человек! Вашу плоть, плоть всех людей на этой планете, вылепила мысль! Вы подчиняетесь диктату названий. Но я, я только нечто необозначенное, и никаких названий мне не нужно!

— Все ты врешь!

Снова пинки.

Песочный Человек бормотал в отчаянии:

— Нет, дружок, это правда! Мысль, тысячелетия работая над атомами, вылепила ваш теперешний облик; сумей ты подорвать и разрушить слепую веру в него, веру твоих друзей, учителей и родителей, ты тоже мог бы менять свое обличье, стал бы чистым символом! Таким,

как Свобода, Независимость, Человечность или Время, Пространство, Справедливость!

— Тебя подослал Грилл, все время он меня донимает!

— Да нет же, нет! Атомы очень подвижны. Вы, на Земле, приняли за истину некоторые обозначения, такие, как Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Ноги, Пальцы. И потому вы уже не можете быть чем захотите и стали раз и навсегда чем-то определенным.

— Отвяжись от меня! — взмолился Роби. — У меня сегодня контрольная, я должен собраться с мыслями.

Он сел на камень и зажал руками уши.

Песочный Человек, будто ожидая катастрофы, испуганно огляделся вокруг. Теперь, возвышаясь над Роби, он дрожал и плакал.

— У Земли могло быть любое из тысяч совсем других облиций. Мысль носилась по неупорядоченному космосу, при помощи названий наводя в нем порядок. А теперь уже никто не хочет подумать об окружающем по-новому, подумать так, чтобы оно стало совсем другим!

— Пошел прочь, — буркнул Роби.

— Сажая корабль возле тебя, я не подозревал об опасности. Мне было интересно узнать, что у вас за планета. Внутри моего шарообразного космического корабля мысли не могут менять мой облик. Сотни лет путешествую я по разным мирам, но впервые попал в такую ловушку! — Из его глаз брызнули слезы. — И теперь, свидетели боги, ты дал мне название, поймал меня, запер меня в клетку своей мысли! Надо же до такого додуматься — Песочный Человек! Ужасно! И я не могу противиться, не могу вернуть себе прежний облик! А вернуть надо обязательно, иначе я не вмещусь в свой корабль, сейчас я для него слишком велик. Мне придется остаться здесь навсегда. Освободи меня!

Песочный Человек визжал, кричал, плакал. Роби не знал, как быть. Он теперь безмолвно спорил с самим собой. Чего он хочет больше всего на свете? Бежать с Острова. Но ведь это глупо: его обязательно поймают. Чего еще он хочет? Пожалуй, играть. В настоящие игры, и чтобы не было психонаблюдения. Да, вот это было бы здорово! Гонять консервную банку или бутылку крутить, а то и просто играть в мяч — бросай в стену сада и лови, ты один, и никого больше. Да. Нужен красный мяч.

Песочный Человек закричал:

— Не...

И — молчание.

По земле прыгал резиновый красный мяч.

Резиновый красный мяч прыгал вверх-вниз, вверх-вниз.

— Эй, где ты? — Роби не сразу осознал, что появился мяч. — А это откуда взялось? — Он бросил мяч в стену, поймал его. — Вот это да!

Он и не заметил, что незнакомца, который только что на него кричал, уже нет.

Песочный Человек исчез.

Где-то на другом конце дышащего зноем сада возник низкий гудящий звук: по вакуумной трубе мчалась цилиндрическая кабина. С негромким шипением круглая дверь в толстой стене сада открылась. С тропинки послышались размеренные шаги. В пышной раме из тигровых лилий появился, потом вышел из нее мистер Грилл.

— Привет, Роби. О! — Мистер Грилл остановился как вкопанный, с таким видом, будто в его розовое толстошее лицо пнули ногой. — Что это там у тебя, мой милый? — закричал он.

Роби бросил мяч в стену.

— Это? Мяч.

— Мяч? — Голубые глазки Грилла заморгали, прищурились. Потом напряжение его покинуло. — А, ну конечно. Мне показалось, будто я вижу... э-э... м-м...

Роби снова бросил мяч в стену.

Грилл откашлялся.

— Пора обедать. Час Размышлений кончился. И я вовсе не уверен, что твои не утвержденные министром Локком игры его бы обрадовали.

Роби выругался про себя.

— Ну ладно. Играй. Я не скажу.

Мистер Грилл был настроен благодушно.

— Неохота что-то.

Надув губы, Роби принялся ковырять носком сандалии землю. Учителя вечно все портят. Затошнит тебя — так и тогда нужно будет разрешение.

Грилл попытался заинтересовать Роби:

— Если сейчас пойдешь обедать, я тебе разрешу видеовстречу с твоей матерью в Чикаго.

— Две минуты десять секунд, ни секундой больше, ни секундой меньше, — иронически сказал Роби.

— Насколько я понимаю, милый мальчик, тебе вообще все не нравится?

— Я убегу отсюда, вот увидите!

— Ну-ну, дружок, ведь мы все равно тебя поймаем.

— А я, между прочим, к вам не просился.

Закусив губу, Роби пристально посмотрел на свой новый красный мяч: мяч вроде бы... как бы это сказать... шевельнулся, что ли? Чудно. Роби его поднял. Мяч задрожал, как будто ему было холодно.

Грилл похлопал мальчика по плечу:

— У твоей матери невроз. Ты жил в неблагоприятной среде. Тебе лучше быть у нас, на Острове. У тебя высокий коэффициент умственного развития, ты можешь гордиться, что оказался здесь, среди других маленьких гениев. Ты эмоционально неустойчив, подавлен, и мы пытаемся это исправить. В конце концов ты станешь полной противоположностью своей матери.

— Я люблю маму!

— Ты *душевно к ней расположен*, — негромко поправил его Грилл.

— Я душевно к ней расположен, — тоскливо повторил Роби.

Мяч дернулся у него в руках. Роби озадаченно на него посмотрел.

— Тебе станет только труднее, если ты будешь ее любить, — сказал Грилл.

— Один бог знает, до чего вы глупы, — отозвался Роби.

Грилл окаменел.

— Не ругайся. А потом, на самом деле ты, говоря это, вовсе не имел в виду «бога» и не имел в виду «знает». И того и другого в мире очень мало — смотри учебник семантики, часть седьмая, страница четыреста восемнадцатая, «Означающие и означаемые».

— Вспомнил! — крикнул вдруг Роби, оглядываясь по сторонам. — Только что здесь был Песочный Человек, и он сказал...

— Пошли, — прервал его мистер Грилл. — Пора обедать.

В Робот-Столовой пружинные руки роботов-подавальщиков протягивали обед. Роби молча взял овальную тарелку, на которой лежал молочно-белый шар. За пазухой у него пульсировал и бился, как сердце, красный резиновый мяч. Удар гонга. Он быстро заглотал еду. Потом все бросились, толкаясь, к подземке. Словно перышки, их втянуло и унесло на другой конец Острова, в Класс Социологии, а потом, под вечер, — снова назад, теперь к играм. Час проходил за часом.

Чтобы побыть одному, Роби ускользнул в сад. Ненависть к этому безумному, никогда и ничем не нарушаемому распорядку, к учителям и одноклассникам пронзила и обожгла его. Он сел на большой камень и стал думать

о матери, которая так далеко. Вспоминал, как она выглядит, чем от нее пахнет, какой у нее голос и как она гладила его, прижимала к себе и целовала. Он опустил голову, закрыл лицо ладонями, и в них полились ручьем его детские слезы.

Красный резиновый мяч выпал у него из-за пазухи.

Роби было все равно. Он думал сейчас только о матери.

По зарослям пробежала дрожь. Что-то изменилось, очень быстро.

В высокой траве бежала, удаляясь от него, женщина!

Она поскользнулась, вскрикнула и упала.

Что-то поблескивало в лучах заходящего солнца. Женщина бежала туда, к этому серебристому и поблескивающему предмету. Бежала к шару, К серебряному звездному кораблю! Откуда она здесь? И почему бежит к шару? Почему упала, когда он на нее посмотрел? Кажется, она не может встать! Он вскочил, бросился туда. Добежав, остановился над женщиной.

— Мама! — не своим голосом закричал он.

По ее лицу пробежала дрожь, и оно стало меняться, как тающий снег, потом отвердело, черты стали четкими и красивыми.

— Я не твоя мама, — сказала женщина.

Роби не слышал. Он слышал только, как из его трясущихся губ вырывается дыхание. От волнения он так ослабел, что едва держался на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели не понимаешь? — От ее лица веяло холодным безразличием. — Я не твоя мать. Не называй меня никак! Почему у меня обязательно должно быть название? Дай мне вернуться в корабль! Если не дашь, я убью тебя!

Роби точно ударили.

— Мама, ты и вправду не узнаешь меня? Я Роби, твой сын! — Ему хотелось уткнуться в ее грудь и выплакаться, хотелось рассказать о долгих месяцах неволи. — Прошу тебя, вспомни!

Рыдая, он шагнул вперед и прижался к ней.

Ее пальцы сомкнулись на его горле.

Она начала его душить.

Он попытался закричать. Крик был пойман, загнан назад в его готовые лопнуть легкие. Он забил ногами.

Пальцы сжимались все сильнее, в глазах у него темнело, но тут в глубинах ее холодного, чужого, безжалостного лица он нашел объяснение.

Он увидел там остаток Песочного Человека.

Песочный Человек. Звезда, падающая в летнем небе. Серебристый шар корабля, к которому бежала женщина. Исчезновение Песочного Человека, появление красного мяча, а теперь — появление матери. Все стало на свои места.

Матрицы. Формы. Привычные представления. Модели. Вещество. История человека, его тела, всего, что существует во вселенной. Он задыхался.

Он не сможет думать, и тогда она обретет свободу.

Мысли путаются. Тьма. Невозможно шевельнуться. Нет больше сил, нет. Он думал, это его мать. Однако это его убивает. А что, если подумать не о матери, а о ком-нибудь другом? Попробовать хотя бы. Попробовать. Он опять стал брыкаться. Стал думать в обступающей тьме, думать изо всех сил.

«Мать» издала вопль и стала съеживаться.

Он сосредоточился.

Пальцы начали таять, оторвались от его горла. Лицо размылось. Тело съежилось и стало меньше.

Роби был свободен. Ловя ртом воздух, он с трудом поднялся на ноги.

Сквозь заросли он увидел сияющий на солнце серебристый шар. Пошатываясь, Роби двинулся к нему, и тут из уст мальчика вырвался ликующий крик — в такой восторг привел его родившийся внезапно замысел.

Он торжествующе засмеялся. Снова стал, не отрывая взгляда, смотреть на *это*. Остатки «женщины» менялись у него на глазах, как тающий воск. Он превращал *это* в нечто новое.

Стена сада завибрировала. По пневматической подземке, шипя, неслась цилиндрическая кабина. Наверняка мистер Грилл! Надо спешить, не то все сорвется.

Роби побежал к шару, заглянул внутрь. Управление простое. Он маленький, должен поместиться в кабине — если все удастся. Должно удался. Удастся обязательно.

От гула приближающегося цилиндра дрожал сад. Роби рассмеялся. К черту мистера Грилла! К черту этот Остров!

Он втиснулся в корабль. Предстоит узнать столько нового, и он узнает все — со временем. Он еще только одной ногой стоит на самом краешке знания, но эти крохи знания уже спасли ему жизнь, а теперь сделают для него даже больше.

Сзади донесся голос. Знакомый голос. Такой знакомый, что его бросило в дрожь. Он услышал, как крушат кустарник детские ножки. Маленькие ноги маленького тела. А тонкий голосок умолял.

Роби взялся за рычаги управления. Бегство. Окончательно, и никто не догадается. Совсем простое. Удивительно красивое. Гриллу никогда не узнать.

Дверца шара захлопнулась. Теперь — в путь.

На летнем небе появилась звезда, и внутри ее был Роби.

Из круглой двери в стене вышел мистер Грилл. Он стал искать Роби. Мистер Грилл быстро шагал по тропинке, и жаркое солнце било ему в лицо.

Да вот же он! Вот он, Роби. На полянке, впереди. Маленький Роби Моррисон смотрел на небо, грозил кулаком, кричал, обращаясь непонятно к кому. Мистер Грилл, во всяком случае, больше никого не видел.

— Здорово, Роби! — окликнул Грилл.

Мальчик вздрогнул и заколыхался — точнее, колыхнулись его плотность, цвет и форма. Грилл поморгал и решил, что виновато солнце.

— Я не Роби! — закричал мальчик. — Роби убежал! Вместо себя он оставил меня, чтобы обмануть вас, чтобы вы за ним не погнались! Он и меня обманул! — вопил и рыдал ребенок. — Не надо, не смотрите на меня, не смотрите! Не думайте, что я Роби, от этого мне только хуже! Вы думали найти здесь его, а нашли меня и превратили в Роби! Сейчас вы окончательно придаете мне его форму, и теперь уже я никогда, никогда не стану другим! О боже!

— Ну что ты, Роби...

— Роби никогда больше не вернется. Но я буду им всегда. Я был женщиной, резиновым мячом, Песочным Человеком. А ведь на самом деле я только скопление подвижных атомов, и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно пятился. Его улыбка стала неестественной.

— Я нечто необозначенное! Никаких названий для меня не может быть! — пронзительно кричал ребенок.

— Да-да, конечно. А теперь... теперь, Роби, ты только подожди здесь... здесь, а я... я... я свяжусь с Психопалатой.

И вот по саду уже бегут многочисленные помощники.

— Будьте вы прокляты! — завизжал, вырываясь, мальчик. — Черт бы вас побрал!

— Ну-ну, Роби, — негромко сказал Грилл, помогая втащить мальчика в цилиндрическую кабину подземки. — Ты употребил слово, которому в действительности ничто не соответствует!

Пневматическая труба всосала кабину.

В летнем небе сверкнула и исчезла звезда.

ВЕЛЬД¹

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь, причем. — Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. — Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они прошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну, — сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она одна стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее», — заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двухмерные стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд — трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца, — предложил он, — уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь, — сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди

¹Название диких степей Южной Африки

опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопных копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари, — услышал он голос жены.

— Стервятники...

— Смотри-ка, львы, вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

— Какое-нибудь животное. — Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца. — Зебру... или жирафенка...

— Ты уверен? — Ее голос звучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, — шутиливо ответил он. — Я вижу только обглоданные кости да **стервятников**, которые подбирают ошметки.

— Ты не слышал крика? — спросила она.

— Нет.

— Так с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в **который** раз — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства — за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные — да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной гобелена... Желтый цвет львиной шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскричала Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремительно бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего, не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно — Африка в вашей гостиной! — но все это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

— Мне страшно. — Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. — Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

— Послушай, Лидия...

— Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

— Конечно... конечно. — Он погладил ее волосы.

— Обещаешь?

— Разумеется.

— И запи детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

— Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.

— Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

— Ладно. — Он неохотно запер тяжелую дверь. — Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

— Не знаю... Не знаю. — Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. — Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?

— Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?

— Да. — Она кивнула.

— И штопать мои носки?

— Да. — Порывистый кивок; глаза полны слез.

— И заниматься уборкой?

— Да, да... Конечно!

— А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим?

— Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом — и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмывать детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.

— Наверно, слишком много курю.

— У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворное чуть больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

— Я?.. — Он помолчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

— О, Джорджи! — Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. — Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь — она вздрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет, — ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Мы забыли кетчуп, — сказал он.

— Простите, — произнес тонкий голосок внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская... — подумал Джордж Хедли. — Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. Удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях у льва... Снова и снова смерть.
— Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Откуда-то донесся львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание львов... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в стране чудес, или фальшивую черепаху, или Аладдина с его волшебной лампой, или Джека Тыквенную Голову из страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую, — всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе Пегаса, или розовые фонтаны фейерверка, или слышал ангельское пение. А теперь перед ним желтая раскаленная Африка, огромная печь, которая дышит убийством. Может быть, Лидия права. Может, и впрямь надо на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека, но если пылкая детская фантазия чрезмерно увлекается каким-то одним мотивом?... Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык, чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хедли стоял один в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полная иллюзия настоящих зверей — если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужинающую жену.

— Уходите, — сказал он львам.

Они послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

— Пусть появится Аладдин с его лампой, — рявкнул он.

По-прежнему вельд, и все те же львы...

— Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

— Аладдин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната, — сказал он, — поломалась. Не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или *не может* послушаться, — ответила Лидия. — Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— Заставил?

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя в вертолете.

— Вы как раз успели к ужину, — сказали родители вместе.

— Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, — ответили дети, отмахиваясь руками. — Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, — позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее, — продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю, — сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, — усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет, — невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я не помню никакой Африки. — Питер повернулся к Венди. — А ты?

— Нет.

— А ну, сбегай, проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — Позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам, — сказал Питер.

— Что мне рассказывать, когда я сам видел.

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся, пойдем-ка.

Но Венди вернулась.

— Никакой Африки нет, — доложила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим, — ответил Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве — очаровательная таинственная Рима, на длинных распушенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать, — велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке?

— Мой старый бумажник, — ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю, — ответил он, — ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервны, а тут еще такая комната...

— Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь избавиться от своих неврозов.

— Ой, так ли это... — Он посмотрел в потолок.

— Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем — непослушание, секреты от родителей...

— Кто это сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно — они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их отпрыски. Мы их портим, они нас.

— Они переменялись с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад? — когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Дэвида Маккллина и попрошу его взглянуть на эту Африку.

— Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновенно позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят, — сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

— Да, — отозвался он. — Они проникли в детскую комнату.

— Эти крики... они мне что-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

— Отец, — сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего? — резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...

— Я думал, мы может играть во что хотим.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую, — холодно произнес Питер. — Никогда.

— Так позволю сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

— Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.

— Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

— Хорошо, ступай, играй в Африке.

— Так вы решили скоро выключить наш дом?

— Мы об этом подумывали.

— Советую тебе подумать еще раз, отец.

— Но-но, сынок, без угроз!

— Отлично. — И Питер отправился в детскую.

— Я не опоздал? — спросил Дэвид Макклин.

— Завтрак? — предложил Джордж Хедли.

— Спасибо, я уже. Ну, так в чем же дело?

— Дэвид, ты разбираешься в психике?

— Как будто.

— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда ты заметил что-нибудь особенное?

— Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую, — объяснил отец семейства, — а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот, — сказал Джордж Хедли. — Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

— Ну-ка, дети, ступайте в сад, — распорядился Джордж Хедли. — Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены, как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это, — сказал Джордж Хедли. — Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Дэвид Макклин сухо усмехнулся.

— Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

— Давно это продолжается?

— Чуть больше месяца.

— Да, ощущение неприятное...

— Мне нужны факты, а не чувства.

— Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

— Неужели до этого дошло?

— Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

— Ты это и раньше чувствовал?

— Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

— Я не пустил их в Нью-Йорк.

— Еще?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

— Ага!

— Тебе это что-нибудь говорит?

— Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердце. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих — для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить комнату. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком резким шоком для ребят — вдруг запереть навсегда детскую.

— Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

— Теперь я чувствую себя преследуемым, — произнес Макклин. — Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

— А львы — совсем как настоящие, верно? — сказал Джордж Хедли. — Ты не допускаешь возможности...

— Что?!

— ...что они могут стать настоящими?

— По-моему, нет.

— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

— Нет.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключили, — сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей, — ответил Дэвид Макклин. — До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. — Твой?

— Нет. — Лицо Джорджа окаменело. — Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, метались по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

— Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж, — сказала Лидия Хедли, — включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате. — Не позволяй отцу убивать все. — Он повернулся к отцу. — До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! — кричали они.

— Джордж, — сказала ему жена, — это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запрыгали дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на

аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом, — вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар!

— Гордыня, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

— Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей не было видно.

— Венди, Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. — Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками. — Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключить детскую и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вследа, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

— Вот и я, — сказал Дэвид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. — О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин приметил вдали львов — они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончали есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь: настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены; старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а может быть, даже в Калифорнию, — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, а там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комод он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я вам буду писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишете, не надо.

— Мы были рады и счастливы, — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что тебе нельзя остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли...

Она содрогнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались. Мол, подумать страшно! Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже видно

станет, что я не мальчик. Тогда посду и навешу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубом и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладное с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда тебе исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Несподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал

шаги по траве, ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — Кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило, и они тянутся к нему вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны к фонтанчику для питья.

— Еду на недельку погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаем немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный

мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, что ты издалика, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?

...И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нсту у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж.

— Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена.

— Хватит на всех, хватит и на гостя...

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидела. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости, да одышка, и все они умрут, и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я

знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девятеро из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой беле-сый шершень ожег его ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй не воюй, плачь не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл! В эту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей работы мне не видать. Все мое дело — чтоб мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает

тоскливо? И, наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому, пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и конечно. Рано или поздно всему приходит конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побегал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Бобб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — Он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей

изад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два — голова, три-четыре — отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетаая на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда сдешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся, и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не надслай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редсает туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо! — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе, — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустые улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

БЕРЕГ НА ЗАКАТЕ

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках, Том прислушался.

Вечерело, из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не щелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльцо блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы, словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под Матисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развеивает ярко-желтый флаг. И иногда флаг черный или медно-красный. Женщина вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом настает день, как сегодня...

Том опустил обломок на все растущую грудку плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы

следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались и давно уже убрались восвояси.

— Чико... Что мы тут делаем?

— Живем как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах пятна от снятых картинок, на полу ковром песок. Комнаты от встра смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегает на бесконечный берег волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам приводил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда ускользали неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли не за ту и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимали вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесосы, выдирали жемчужинку из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда для забавы ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья, — Чико ухмыльнулся. — Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико... — Том прикусил нижнюю губу, договорил не сразу: — Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь, — заторопился Том, — может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери, — медленно произнес Чико и крепко стиснул ручищами сито. — Послушай, парень, ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Всей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико.

— Я, пожалуй, на той неделе уйду...

— Заткнись! Заткнись и работай.

Чико яростно тряхнул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью — полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добы-

чу, монеты поблескивали на проволочной сетке, точно металлические шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а...

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

Отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал по берегу мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там... там...

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— ...женщина... у Северной скалы... чудная какая-то!

— Женщина?! — воскликнул Чико и захохотал. — Нет уж, хватит!

— А чем она чудная? — спросил Том.

— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите! Страсть какая чудная!

— Утопленница, что ли?

— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите... чудно... — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда прибежал. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.

— Я не вру! Честное слово! — Мальчик нетерпеливо переступил с ноги на ногу. — Ох, пожалуйста, скорей!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Навряд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтоб нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают, — возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду, — сказал Том.

— Спасибо. Ой, спасибо, мистер!

И мальчик побежал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, щурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба

казались моложе своих лет, потому что в коротко остриженных волосах седина незаметна. Дул свежий ветер, полны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда? — сказал Том. — Вдруг мы придем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать о том, сколько удивительных тварей живет в море, и теперь в мерном дыхании прибора ему слышались их имена «Аргонавты, — нашептывали волны, — треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской слон, — нашептывали они, — лосось и камбала, белуга, белый кит и касатка, и морская собака...» Удивительные у них имена, и всегда стараешься представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смсешь ступить с безопасной твердой земли, а все равно они там, и эти имена, и еще тысячи других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей-фрегатом с могучими крыльями, что улетаёт за тридцать земель и возвращается через годы, повидав все моря и оксаны.

— Ой, скорее! — Мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо. — Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнес, — посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчишка и неотрывно глядел на песок.

Быть может, красшком глаза Том увидел на песке что-то такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дольше он смотрел, тем растеряней, ошеломленной становилось его лицо, и опять стекленели глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже не заметил ничего.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок.

И тотчас у него самого лицо стало такое же, как у этого мальчика. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, пальцы сжались в кулаки, губы дрогнули и приоткрылись,

и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались вобрать.

Солнце стояло совсем низко, еще десять минут, и оно скроется за гладью оксана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пряди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длиною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были они зеленые-зеленые.

Лицо ее...

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза.

Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо как луна средь бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят, смотрят... Нежные и пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегая, скрывает и вновь обнажает волна — набежит и отхлынет, набежит и отхлынет... Розовеют кончики грудей, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкает и искрится темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером из пены и алмазов. Меж двумя половинками этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистой воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова избегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родную глубь. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или морщинка, ни единый стежок

или шов; и кажется — а быть может, не только кажется, — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ним.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорит чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужели померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Ну да, — продолжал он. — Просто ее сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт...

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам, недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся... — Ему словно не хватало голоса.

Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну не знаю... а может... может быть...

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели, и вздрагивали под дыханием ветра и волн, и наплывали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет, нет! — Так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки и пальцы чуть дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще... пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все тело, пусть унесет ее всю назад в морскую глубь.

— Том... — начал Чико и запнулся, потом договорил: — Ты бы сходил поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слышал, что я говорю?

— Да, но...

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куда-нибудь, уж не знаю... в университет, или в аквариум на Тюленьем берегу, или... черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай... — Он потряс Тома за плечо. — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам. — Вы же сами говорите, что она настоящая, верно? Так какого беса, спрашивается, мы все ждем?

— Чико, — сказал Том, — ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо же кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико, — сказал Том, — уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгребайте побольше песка, чтобы волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка получше серой амебы. — Он взбежал на ближнюю дюну, крикнул оттуда: — А ну давайте работайте! — И исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик.

Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том опять наклонился и увидел под твердым маленьким подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может быть давно, жабры; сейчас они плотно закрылись, их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробирала дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рявкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх по берегу, потом на два дюйма вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом, уходя, на шесть дюймов вниз, к воде.

— Но ведь... — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине.

Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянное, испуганное и несчастное.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал: «Да, она настоящая, та самая, моя... но... она мертва. А может, и не мертва, но если останется здесь, умрет».

— Нельзя ее упустить, — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы... мы... — запнулся, покачал головой. — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая женщине путь к морю.

Нахлынула огромная волна. А потом схлынула, и остался один только песок, и на нем ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдаль... а потом позади, на дюнах, взревел грузовик.

Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго сходили по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без усталости, то и дело сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насквозь, хоть выжимай. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не сдвинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно и то же! Пальцем не шевельнет, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты-то тоже всрен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что его слова слышно было расслышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит...

Они поехали берегом дальше, остановили машину.

Чико минуты три сидел не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в пятьдесят пятьдесят восьмом? А мы с тобой сидим на краю постели, ночь ведь, и отвсчаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут — вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все распрашиваемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они сидели в темноте на ступеньках крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу.

— Том... на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял, что никуда он теперь отсюда не уйдет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн, и плавать среди зсленых кружев и слепящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускнеющей пеленой. Ненадолго оксан темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят не мигая и ждут.

КАНИКУЛЫ

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и оксан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было беспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс: безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилося чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развеивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шпот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедем?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрывая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед растеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут, на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись — и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда, поутру блестели машины перед коттеджами, но не слышно ничего «до свидания», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развортывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы Ему осточертеем, и Он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начиная все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю, и морс, и все,

что растет, — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей!

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый вестер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцами по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимусм в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июле попадаем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападём на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедём по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось в песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцпенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

«Что, — думала она, — что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?»

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них; лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

«Он написал наше желание? — думала женщина. — Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?»

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это?

Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени часек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море, — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик.

— Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко.

Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

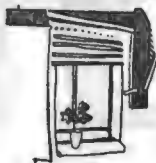
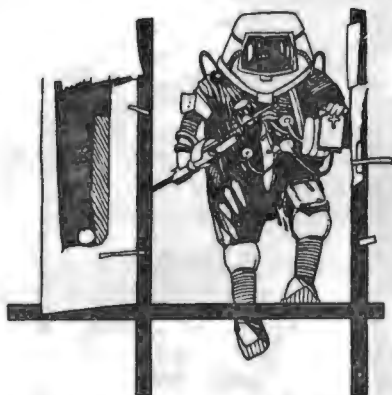
— До свидания, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

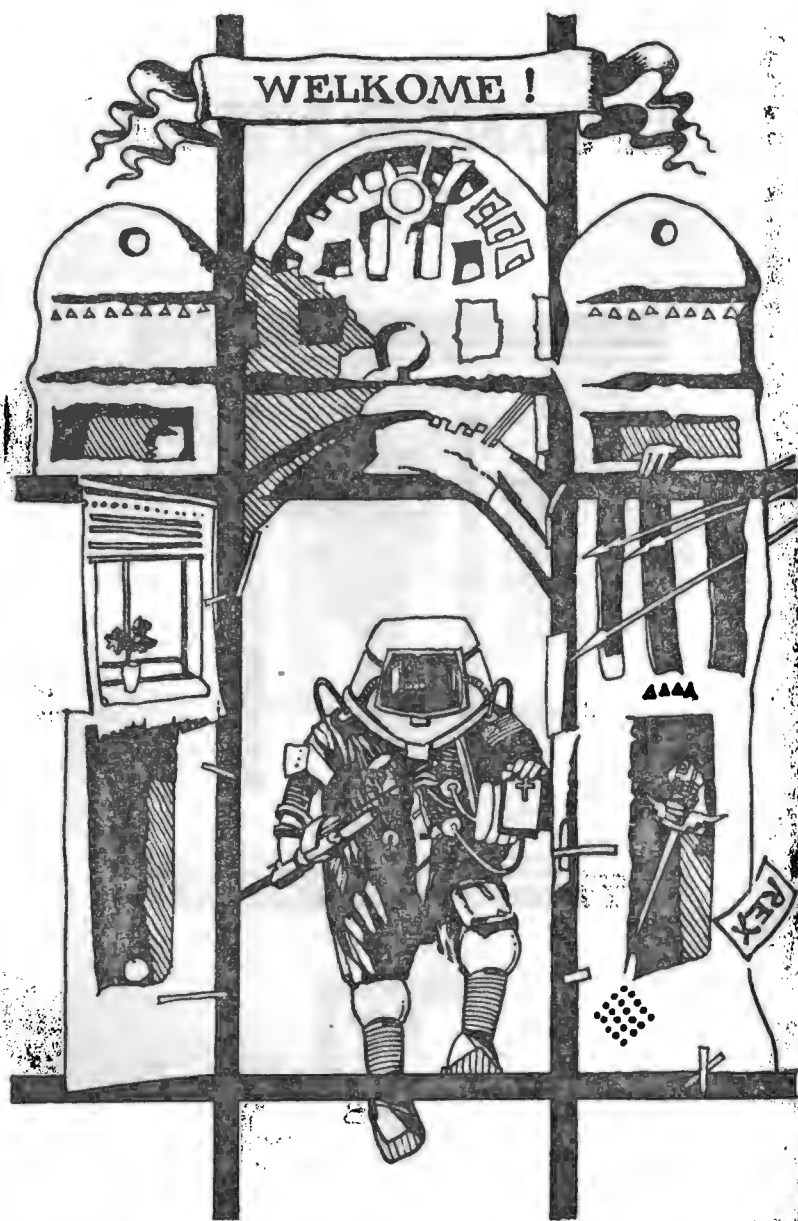
Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ





«Великое дело — способность удивляться,
— сказал философ. — Космические
полеты снова сделали всех нас детьми».

Январь 1999

РАКЕТНОЕ ЛЕТО

Только что была огайская зима: двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам.

И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили открытой дверь псарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, а на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава.

Ракетное лето. Из уст в уста с ветром из дома в открытый дом — два слова: *Ракетное лето*. Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Лыжи и санки стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли.

Ракетное лето. Высунувшись с веранд под дробную капсель, люди смотрели всрх, на алеющее небо.

Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето...

Февраль 1999

ИЛЛА

Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер

уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега и древнис шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков.

Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.

Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед.

Теперь они уже не были счастливы.

В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.

Что-то должно было произойти.

Она ждала.

Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.

Но все оставалось по-прежнему.

Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, глядя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге; древнис напевы не приедались его пальцам.

Она подумала без волнения; он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.

Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза.

Брак даже молодых людей делает старыми, давно знаковыми...

Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры.

Она крепко, нервно зажмурилась.

И сон явился.

Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновенье спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.

Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.

В треугольной двери показался ее супруг.

— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.

— Нет! — почти крикнула она.

— Мне почудилось, ты кричала.

— В самом деле? Я задремала и видела сон!

— Днем? Это с тобой не часто бывает.

Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.

— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она.

— Этот сон...

— Ну? — Ему явно не терпелось вернуться к книге.

— Мне снился мужчина.

— Мужчина?

— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.

— Что за нелепость: это же великан, урод.

— Почему-то, — она медленно подбирала слова, — он не казался уродом. Несмотря на высокий рост. И у него — ах, я знаю, тебе это покажется вздором, — у него были голубые глаза!

— Голубые глаза! — воскликнул мистер К. — О боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь — черные волосы?

— Как ты угадал?! — воскликнула она.

— Просто назвал наименее правдоподобный цвет, — сухо ответил он.

— Да, черные волосы! — крикнула она. — И очень белая кожа. Совершенно необычный мужчина! На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной.

Она улыбалась.

— С неба — какая чушь!

— Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце, — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. — Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета,

потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю, — это был длинный серебристый корабль, круглый, чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь и вышел этот высокий мужчина.

— Работала бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны.

— А мне он понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. — Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа! Какой странный мужчина — и, однако, очень красивый.

— Самовнушение.

— Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно, он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно... Он посмотрел на меня и сказал: «Я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниел Йорк...»

— Нелепое имя, — возразил супруг. — Таких вообще не бывает.

— Конечно, нелепое, ведь это был сон, — покорно согласилась она. — Еще он сказал: «Это первый полет через космос. Нас всего двое в корабле — я и мой друг Берт».

— *Еще одно нелепое имя.*

— Он сказал: «Мы из города на *Земле*, так называется наша планета», — продолжала миссис К. — Это его слова. Так и сказал — *Земля*. И говорил он не на нашем языке. Но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно.

Мистер К отвернулся. Ее голос остановил его.

— Илл! — тихо позвала она. — Ты никогда не задумывался... ну... *есть ли люди на третьей планете?*

— На *третьей* планете жизнь невозможна, — терпеливо разъяснил супруг. — Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода.

— А как было бы чудесно, если бы там *жили* люди! И умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях,

— Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.

Близился вечер, когда она, ступая между колоннами, источающими дождь, запела. Один и тот же мотив, снова и снова.

— Что это за песня? — рявкнул в конце концов супруг, проходя к огненному столу.

— Не знаю.

Она подняла на него глаза, удивляясь сама себе. Озадаченно поднесла ко рту руку. Солнце садилось, и по

мере того, как дневной свет угасал, дом закрывался, будто огромный цветок. Между колоннами подул ветерок, на огненном столе жарко бурлило озерко серебристой лавы. Ветер перебирал кирпичные волосы миссис К, тихонько шепча ей на ухо. Она молча стояла, устремив затуманившийся взор золотистых глаз вдаль, на бледно-желтую гладь морского дна, словно вспоминая что-то.

Глазами тост произнеси,

И я отвечу взглядом, —

запела она тихо, медленно, нежно.

Иль край бокала поцелуй —

И мне вина не надо.¹

Миссис К повторила мелодию, уже без слов, закрыв глаза, и руки ее словно порхали по ветру. Наконец она умолкла.

Мелодия была прекрасна.

— Впервые слышу эту песню. Ты сама ее сочинила? — строго спросил он, испытующе глядя на нее.

— Нет. Да. Право, не знаю! — Она была в смятении.

— Я даже не понимаю слов, это другой язык!

— Какой язык?

Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву.

— Не знаю. — Через мгновение мясо было готово, она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. — Ах, наверно, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю почему.

Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо в шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно-медленно вошла в комнату ночь, темным вином заполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица.

Она снова стала напевать странную песню.

Он вскочил со стула и гневно прошествовал к двери.

Позднее он доел ужин один.

Встав из-за стола, потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил:

— Съездим на огненных птицах в город, развлечемся?

— Ты серьезно? — спросила она. — Ты не заболел?

— А что тут странного?

— Но мы уже полгода нигде не были!

— По-моему, неплохая мысль.

— С чего это вдруг ты так заботлив?

— Ну, хватит, — брюзгливо бросил он. — Поедешь или нет?

¹ Стихи в переводе Я.Берлина.

Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь, сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день, то, что не должно было произойти и все же могло, могло случиться... Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни.

— Я...

— Для тебя же лучше, — настаивал он. — Поехали.

— Я устала, — ответила она. — Как-нибудь в другой раз.

— Вот твой шарф. — Он подал ей флакон. — Мы уже который месяц никуда не выезжали.

— Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю. — Она избегала глядеть на него.

— Дела, — сказал он.

— Дела? — прошептала она.

Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и, трепеща, обвилась вокруг ее шеи.

На ровном прохладном песке, светясь, словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром, в воздухе плескался белый балдахин, множеством зеленых лент привязанный к птицам.

Илла легла под балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвизгнув, ушли вниз пески; мимо, мимо потянулись голубые холмы, оттеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя, словно тысячи каленых искр, словно багрово-желтый фейерверк, все дальше в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин — трепещущий белый лепесток.

Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома — словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и грезами. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они, будто лунный блик, будто горящий факел.

Она глядела только на небо.

Муж что-то сказал.

Она глядела на небо.

— Ты слышала, что я сказал?

— Что?

Он шумно выдохнул.

— Могла бы быть повнимательнее.

— Я задумалась.

— Никогда не знал, что ты такая любительница природы. Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба, — сказал он.

— Оно очень красиво.

— Я вот о чем подумал, — медленно продолжал супруг.

— Не позвонить ли сегодня Халлу? Договориться, что мы приедем — на недельку, не больше! — к ним в Голубые горы. Чем не идея?..

— Голубые горы! — Она схватилась одной рукой за край балдахина и резко повернулась к нему.

— Я ведь только предлагаю.

— И когда ты думаешь ехать? — нервно спросила она.

— Да можно отправиться хоть завтра утром, — подчеркнуто небрежно бросил он. — Сама же знаешь: раньше начнешь, скорее...

— Но мы еще *никогда* не уезжали так рано!

— Ну, в этом году в виде исключения... — Он улыбнулся. — Нам полезно переменить обстановку. Пожить в тиши, в покое. Словом, сама понимаешь. У тебя ведь нет *других* планов? Поедем, решено?

Она вздохнула, помедлила, потом ответила:

— Нет.

— Что? — Его возглас испугал птиц. Балдахин дернулся.

— Нет, — твердо сказала она. — Я не поеду.

Он посмотрел на нее. Разговор был окончен. Она отвернулась.

Птицы летели дальше — десять тысяч гонимых ветром угольков.

На рассвете солнце, пронизав лучами хрустальные колонны, растворило туман, на котором покоилась спящая Илла. Всю ночь она парила над полом, как бы плавающая на мягком ложе из тумана, который пролился из стен, едва Илла прилегла. Всю ночь она проспала на этой недвижимой реке, точно челн среди немого потока. Теперь туман улетучивался, и наконец река спала, оставив Иллу на берегу пробуждения.

Она открыла глаза.

Над ней стоял муж. Было похоже, что он стоит тут, наблюдая, уже не один час. Почему-то Илла не могла смотреть ему в глаза.

— Тебе опять снился этот сон! — сказал он. — Ты разговаривала, не давала мне уснуть. Тебе *непременно* надо показаться врачу.

— Ничего со мной не случится.

— Ты много говорила во сне!

— Да? — Она поспешно села.

В комнате было холодно. Серый утренний свет проявил черты Иллы.

— Что тебе снилось?

Она молчала, вспоминая.

— Корабль. Он снова спустился с неба, и из него вышел высокий человек и заговорил со мной. Он шутил, смеялся, и мне было хорошо.

Мистер К коснулся рукой колонны. Окутанные паром струйки теплой воды вытеснили холодок из комнаты. Лицо мистера К было бесстрастно.

— А потом, — продолжала она, — этот мужчина, у которого такое странное имя Натаниел Йорк, сказал, что я прекрасна, и... и поцеловал меня.

— Ха! — крикнул муж и отвернулся, играя желваками.

— Но это всего лишь сон. — Ей стало весело.

— Ну и помалкивай про свои нелепые женские сны!

— Ты ведешь себя, как ребенок. — Она откинулась на последние клочья химического тумана. Мгновение спустя тихо рассмеялась.

— Я еще *что-то* вспомнила, — призналась она.

— Ну, *что*, говори, что! — вскричал муж.

— Илл, ты такой раздражительный!

— Говори! — потребовал он. — У тебя не должно быть секретов от меня!

На нее смотрело сверху его мрачное, суровое лицо.

— Я никогда не видела тебя таким, — ответила Илла; ей было и страшно и забавно. — Ничего такого не было, просто этот Натаниел Йорк сказал... словом, он сказал мне, что увезет меня на своем корабле, увезет на небеса, возьмет меня с собой на свою планету. Конечно, чепуха.

— Вот именно, чепуха! — Он едва не сорвал голос. — Ты бы послушала себя со стороны: заигрывать с ним, разговаривать с ним, петь с ним, и так всю ночь напролет, о боги! *Послушала бы себя!*

— Илл!

— Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле?

— Илл, не повышай голос.

— К черту мой голос! — Он в гневе наклонился над ней. — В этом твоём *сне* ... — он стиснул ее запястье, — корабль сел в Зеленой долине, да? Отвечай!

— Ну, в долине...

— Сел сегодня, под вечер, да? — не унимался он.

— Да, да, кажется, так. Но это же только сон!

— Ладно. — Он сердито отбросил ее руку. — Хорошо, что ты не лжешь! Я слышал все, что ты говорила во сне, каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время.

Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленный молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз — уж не сошел ли он с ума!.. Наконец встала и подошла к нему.

— Илл, — прошептала она.

— Ничего, ничего...

— Ты болен.

— Нет. — Он устало, через силу улыбнулся. — Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая. — Он грубовато погладил ее. — Заработался. Извини. Я, пожалуйста, пойду, прилягу...

— Ты так вспылil.

— Теперь все прошло. Прошло. — Он перевел дух. — Забудем об этом. Да, я вчера слышал анекдот про Уэла, хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, я расскажу анекдот, а об этом больше не будем говорить, ладно?

— Это был только сон.

— Разумеется. — Он машинально поцеловал ее в щеку. — Только сон.

В полдень солнце палило, и очертания гор струились в его лучах.

— Ты не поедешь в город? — спросила Илла.

— В город? — Его брови чуть поднялись

— Ты *всегда* уезжаешь в этот день. — Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты.

— Нет. Слишком жарко. И поздно.

— Вот как. — Она закончила свое дело и пошла к двери. — Я скоро вернусь.

— Постой! Ты куда?

Она была уже в дверях.

— К Пао. Она пригласила меня!

— Сегодня?

— Я ее сто лет не видела. Это же недалеко.

— В Зеленой долине, если не ошибаюсь?

— Ну да, тут рукой подать, и я решила... — Она очень торопилась.

— Извини меня, — сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности. — Я совершенно забыл: я же пригласил к нам сегодня доктора Нлле!

— Доктора Нлле! — Она подалась к двери.

Он поймал ее за локоть и решительно втащил в комнату.

— Да.

— А как же Пао...

— Пао подождет, Илла. Мы должны принять Нлле.

— Я на несколько минут...

— Нет, Илла.

— Нет?

Он отрицательно качнул головой.

— Нет. К тому же до них очень далеко идти. Через всю Зеленую долину, за большой канал, потом вниз... И сегодня очень, очень жарко, и доктору Нлле будет приятно увидеть тебя. Хорошо?

Она не ответила. Ей хотелось вырваться и убежать. Хотелось кричать. Но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню, и с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеля ими.

— Илла, — буркнул он, — ты *останешься* дома, ясно?

— Да, — сказала она после долгого молчания. — Останусь.

— Весь день?

Ее голос звучал глухо:

— Весь день.

Шли часы, а доктор Нлле все не появлялся. Казалось, муж Иллы не очень-то удивлен этим. Уже под вечер он, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие — длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце. Он обернулся — на его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла, маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства; маска, выпуклости и впадины которой в точности отвечали его худым щекам, подбородку, лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно жужжало — оружие, способное с визгом извергнуть полчища золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок.

— Куда ты собрался? — спросила она.

— Что? — Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. — Раз доктор Нлле запаздывает, черта с два стану я его ждать. Пойду поохочусь. Скоро вернусь. А ты останешься здесь, и никуда отсюда, ясно? — Серебристая маска сверкнула.

— Да.

— И скажи доктору Нлле, что я приду. Только поохочусь.

Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу.

Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам: наводить чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен. Она работала усердно и расторопно, но порой ею овладевала какая-то истома, и она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн.

Она затаила дыхание и замерла в ожидании.

Приближается...

Вот-вот это произойдет.

Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление — это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марсево. Воздух давит на уши, и ты натянут как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах, небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом. Цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая. Волосы чуть шевелятся на голове. Где-то в доме поют часы: «Время, время, время, время...» Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода.

И вдруг — гроза! Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного приюба и громовой черноты.

Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч.

Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь — и она *стрелой* метнется навстречу...

«Сумасшедшая Илла! — мысленно усмехнулась она. — Что за мысли будоражат твой праздный ум?»

И тут — свершилось.

Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверканье металла.

У Иллы вырвался крик.

Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы. Но там уже ничего...

Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит.

Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку.

Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась Зеленая долина, но ничего не увидела.

«Сумасшедшая! — Она вернулась в комнату. — Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь. Приди в себя».

Она села.

Выстрел.

Ясный, отчетливый, зловещий звук.

Она содрогнулась.

Выстрел донесся издалека. Один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел. А за ним второй, четкий, холодный, отдаленный.

Она опять взрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик. Стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее.

Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль...

Смолкло.

Несколько минут она простояла во дворе, бледная. Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои, из одного в другой, руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали; в сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа.

И вот издалека слышались шаги, хруст мелких тамешков под ногами.

Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги.

Шаги нерешительно замедлились перед домом.

Заговорить? Воскликнуть: «Входи, входи же!»?

Она подалась вперед.

Вот шаги уже на крыльце. Рука повернула щеколду.

Она улыбулась двери.

Дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица.

Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала.

Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул две мертвые пчелы, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты, а Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала.

— Что ты делаешь? — спросила она.

— Ничего, — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску.

— Ружье... я слышала, как ты стрелял. Два раза.

— Охотился, только и всего. Потянет иногда на охоту... Доктор Няле пришел?

— Нет.

— Постой-ка. — Он противно щелкнул пальцами. — Ну, конечно, *теперь* я вспомнил. Мы же условились с ним на *завтра*. Я все перепутал.

Они сели за стол. Она глядела в свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде.

— В чем дело? — спросил он, не поднимая глаз, бросая куски мяса в бурлящую лаву.

— Не знаю. Не хочется есть, — сказала она.

— Почему?

В небе родился ветер; солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной.

— Я пытаюсь вспомнить, — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа.

— Что вспомнить? — Он потягивал вино.

— Песню. Эту красивую, чудесную песню. — Она закрыла глаза и стала напевать, но песня не получилась. — Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда. — Она плавно повела руками, точно ритм движений мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. — Не могу вспомнить.

Она заплакала.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю почему, плачу — не знаю почему, но плачу.

Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали.

— До завтра все пройдет, — сказал он.

Она глядела на него, глядела только на нагую пустыню и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе, а издали доносился крепнувший голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом.

— Да, — повторила она, — до завтра все пройдет.

Август 1999

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и

далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижные пруды, от горизонта до горизонта блестя каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемо длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегали заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебрястой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.

На одной эстраде пела женщина.

По рядам слушателей пробежал шелест.

Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу. Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.

Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кое-кто вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:

Идет, блистая красотой
Тысячезвездной ясной ночи.
В соревнованьи света с тьмой
Изваяны чело и очи.

Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.

— Что это за слова? — недоумевали музыканты.

— Что за песня?

— Чей язык?

Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.

— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.

— Что за мелодию ты играл?

— А ты сам что играл?

Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод объял их, точно с неба пал белый снег.

В темных аллеях под факелами дети пели:

...Пришла, а шкаф уже пустой,
Остался песик с носом!

— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?

— Она просто *пришла* нам в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!

Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами взошла зеленая звезда.

На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.

— Что это за мелодия?

В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:

— Ну, успокойся, успокойся же. Спи. Ну, что случилось? Дурной сон?

— Завтра произойдет что-то ужасное.

— Ничего не может произойти, у нас все в порядке.

Судорожное всхлипывание.

— Я чувствую, *это* надвигается все ближе, ближе, ближе!..

— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи...

Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студеном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и безлюдны каменные амфитеатры.

И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку...

Август 1999

ЗЕМЛЯНЕ

Вот привязались, стучат и стучат!

Миссис Ттт сердито распахнула дверь.

— Ну, в чем дело?

— Вы говорите *по-английски*? — Человек, стоявший у входа, опешил.

— Говорю, как умею, — ответила она.

— *Чистейший английский язык!*

Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое; все они были заметно взволнованы — сияющие, измазанные с головы до ног.

— Что вам угодно? — резко спросила миссис Ттт.

— Вы — *марсианка*! — Человек улыбался. — Это слово вам, конечно, не знакомо. Так говорят у нас, на Земле. — Он кивнул на своих спутников. — Мы с Земли. Я — капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марсе. Вот, прибыли. *Вторая* экспедиция! До нас была Первая экспедиция, но ее судьба нам не известна. Так или иначе, мы прилетели. И вы — первый житель Марса, которого мы встретили!

— Марсианка? — Брови ее взметнулись.

— Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно?

— Элементарная истина, — фыркнула она, меряя их взглядом.

— А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята?

— Так точно, капитан! — откликнулся хор.

— Это планета Тирр, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя.

— Тирр, Тирр. — Капитан устало рассмеялся. — *Чудесное* название! Но скажите же, добрая женщина, как *объяснить*, что вы так великолепно говорите по-английски?

— Я не говорю, — ответила она, — я думаю. Телепатия. Всего хорошего!

И она хлопнула дверью.

Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал.

Она распахнула дверь.

— Ну, что еще? — спросила она.

Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней уверенности. Он протянул к ней руки.

— Мне кажется, вы не совсем *поняли*...

— Чего? — отрезала она.

Его глаза округлились от изумления.

— Мы прилетели с *Земли*!

— Мне некогда, — сказала она. — У меня сегодня куча дел — обед, уборка, шитье, всякая всячина... Вам, вероятно, нужен мистер Ттт, так он наверху, в своем кабинете.

— Да, да, — озадаченно произнес человек с Земли, моргая. — Ради бога, позовите мистера Ттт.

— Он занят. — И она снова захлопнула дверь.

На сей раз стук был уж совсем неприличным.

— Знаете что! — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять несожиданностью. — Так не принимают гостей!

— Мой чистый пол! — возмутилась она. — Грязь! Убирайтесь прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь.

Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки.

— Сейчас не время придирааться к пустякам, — решительно заявил он. — Такое событие! Его нужно отпраздновать!

Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят.

— Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке, — закричала она, — то я вас поленом!..

И она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась — раскрасневшаяся, потная. Ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как наскомос... Резкий, металлический голос.

— Обождите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Ттт. Какое там у вас дело к нему?

Человек выругался так, словно она ударила его молотком по пальцу.

— Скажите ему, что мы прилетели с Земли, что это впервые!

— Что впервые? — Она подняла вверх смуглую руку. — Ладно, это неважно. Я сейчас.

Звук ее шагов прошелестели по переходам каменного дома.

А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо — недвижимое, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных следов.

Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос. Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне.

— Закурим? — сказал один из них.

Другой достал сигареты, они закурили. Они выдыхали исторопливые бледные струйки дыма. Разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы.

— Двадцать пять минут, — заметил он. — Что у них там происходит?

Он подошел к окну и выглянул наружу.

— Жаркий денек, — сказал один из космонавтов.

— Да уж, — лениво протянул другой, разморенный полуденным зноем.

Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме — ни звука. Только собственное дыхание слышно.

Целый час прошел в безмолвии.

— Уж не случилось ли из-за нас какой беды? — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда.

Миссис Ттт стояла посреди комнаты, поливая цветы.

— А я все думаю, что я такое забыла... — сказала она, заметив капитана. Она вышла на кухню. — Извините. — Она протянула ему клочок бумаги. — Мистер Ттт слишком занят. — Она повернулась к своим кастрюлям. — Да и все равно вам нужен не он, а мистер Ааа. Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле голубого канала, там мистер Ааа расскажет вам все, что вы хотите знать.

— Нам ничего не надо узнавать, — возразил командир, надув толстые губы. — Мы и так уже знаем.

— Вы получили записку, что еще вам надо? — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться.

— Ладно, — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал. Точно ребенок, глядящий на голую рождественскую елку. — Ладно, — повторил он. — Пошли, ребята.

И все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня.

Полчаса спустя мистер Ааа, который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи, на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые, щурясь, глядели на него.

— Вы мистер Ааа? — справились они.

— Я.

— Нас послал к вам мистер Ттт! — крикнул командир.

— Что за причина? — спросил мистер Ааа.

— Он был занят!

— Ну, знаете, это... — презрительно произнес мистер Ааа. — Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься?

— Сейчас это несущественно, сэр! — крикнул командир.

— Для меня — существенно. У меня накопилась куча книг, их нужно прочесть. Мистер Ттт совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу не размахивать руками, сударь, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. И потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать.

Четверо людей внизу растерянно топтались, разинув рты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах.

— Ну так вот, — продолжал поучать мистер Ааа, — как, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Ттт вести себя так неуучтиво?

Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел:

— Мы прилетели с Земли!

— По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски, — брюзжал мистер Ааа.

— Космический корабль. Мы прилетели на ракете. Вон она!

— И всдь он не в первый раз позволяет себе такое безобразис.

— Понимаете — с Земли!

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю сго, да-да.

— Мы четверо — я и вот эти трое — экипаж моего корабля.

— Вот возьму и позвоню сейчас же!

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует! — крикнул мистер Ааа и пропал из окна, точно кукла в театре.

Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась перебранка. Капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу ракету — такую изящную, стройную и родную.

Мистер Ааа вынырнул в окошке, торжествуя:

— Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите — дуэль!

— Мистер Ааа, — терпеливо начал капитан.

— Застрелю его насмерть, так и знайте!

— Мистер Ааа, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели шестьдесят миллионов миль.

Мистер Ааа впервые обратил внимание на капитана.

— Постойте, как вы сказали — откуда вы?

Лицо командира осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим: — Наконец-то, теперь все в порядке! — И громко мистеру Ааа: — Шестьдесят миллионов миль — с планеты Земля!

Мистер Ааа зевнул.

— В это время года — от силы пятьдесят миллионов, не больше. — Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. — Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок, и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Иопр, там изложите все мистеру Иии. Он именно тот человек, который вам нужен. А не мистер Ттт, этот кретин, — уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я — это не по моей линии.

— Линии, линии! — передразнил его командир. — Причем тут линия, когда надо принять людей с Земли?

— Не говорите глупостей, это всем известно! — Мистер Ааа сбежал по лестнице. — Всего хорошего!

И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль.

Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал:

— Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает.

— Что, если уйти, а потом вернуться, — уныло произнес один из его товарищей. — Взлететь и снова сесть. Чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу.

— Может быть, так и сделаем, — буркнул измученный капитан.

Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга, на них были маски — золотые, голубые, розовые, ради приятного разнообразия, маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурые, сообразно нраву владельца.

Земляне, все в испарине после долгого перехода, остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер Иии.

— Вон там, — кивком указала девочка.

Капитан нетерпеливо, осторожно опустился на одно колено и заглянул в ее милое детское личико.

— Послушай, девочка, что я тебе расскажу.

Он посадил ее к себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручонки, словно приготовился рассказать ей сказку на ночь, сказку, которую

складывают в уме не торопясь, с множеством обстоятельных и счастливых подробностей.

— Понимаешь, малютка, с полгода тому назад на Марс прилетела другая ракета. В ней был человек по имени Йорк со своим помощником. Мы не знаем, что с ними случилось. Быть может, они разбились. Они прилетели на ракете. И мы, мы тоже прилетели на ракете. Вот бы ты на нее посмотрела! Большая-пребольшая ракета! Так что мы — *Вторая* экспедиция, а перед нами была Первая. Мы долго летели, с самой Земли...

Девочка бездумно высвободила одну руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю, а капитан все твердил свое. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени, она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски; капитан ласково встряхнул ее и продолжал втолковывать ей свою историю.

— Мы — земляне, — говорил он. — Ты мне веришь?

— Да. — Девчурка искоса глядела, что чертят в пыли пальчики ее ног.

— Ну вот и умница. — Командир наполовину добродушно, наполовину злобно ущипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. — Мы построили себе ракету. Ты *веришь*?

Девочка сунула в нос палец.

— Ага.

— И... нет-нет, дружок, вынь пальчик из носа... и я командир космического корабля, и...

— Еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете, — продекламировала кроха, зажмурив глазки.

— Восхитительно! Как ты угадала?

— Телепатия. — Она небрежно вытерла пальчик о коленку.

— Ну? Неужели это тебе ничуть неинтересно? — вскричал командир. — Разве ты *не* рада?

— Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру Иии. — Она уронила игрушку на землю. — Он охотно поговорит с вами.

И она убежала, сопровождаемая по пятам игрушечным пауком.

Командир сидел на корточках, протянув вперед руку и глядя вслед девочке. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой...

Мистер Иии сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо...

— Немного внимания, — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. — Мы — с Земли, у нас тут ракета, нас четверо — три космонавта и командир, мы совершенно вымотались, хотим есть, нам бы найти где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде, пусть нам пожмут руки, крикнут «ура», скажут: «Поздравляем, старики!» Вот, пожалуй, и все.

Мистер Иии был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом.

— Боюсь, у меня нет здесь бланков. — Он перерыл все ящики стола. — Куда я их задевал? — Он нахмурился. — Где-то... где-то здесь... А, вот они! Прощу вас! — Он решительно протянул капитану бумаги. — Вам придется это подписать.

— Читать всю эту белиберду?

Толстые стекла очков воззрились на капитана.

— Но ведь вы сами сказали, что вы с Земли? В таком случае вам остается только подписать.

Капитан поставил свою подпись.

— Команда тоже должна подписаться?

Мистер Иии поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом.

— Им тоже подписаться? Ха-ха-ха! Это великолепно! Они... они... — У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давясь смехом, рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. — Им — подписаться!..

Космонавты нахмурились.

— Что тут смешного?

— Им — подписаться! — выдохнул мистер Иии, обессиленный хохотом. — Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру Ыы! — Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. — Как будто все в порядке. — Он кивнул. — Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым. — Он рассыпался мелким смешком.

— Согласие на что?

— Ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот. Возьмите этот ключ.

Капитан вспыхнул.

— О, это великая честь.

— Это не от города, болван! — рявкнул мистер Иии.
— Ключ от Дома. Ступайте по коридору, отприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера Ыыы.

Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись.

— Ну, что еще? В чем дело? — спросил мистер Иии.
— Чего вы ждете? Чего хотите? — Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо.
— Выкладывайте!

— Боюсь, вы даже не в состоянии... — начал капитан.
— То есть я хочу сказать... попытаться, подумать о том...
— Он замялся. — Мы немало потрудились, такой путь проделали, может быть, стоит, ну, что ли, пожалть нам руки и сказать... ну, хотя бы: «Молодцы!» — Он смолк.

Мистер Иии небрежно сунул ему руку.

— Поздравляю! — Его губы растянулись в холодной улыбке. — Поздравляю. — Он отвернулся. — А теперь мне пора. Не забудьте про ключ.

И, не обращая на них больше никакого внимания, словно они растаяли, мистер Иии заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше пяти минут, и за все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понуриив головы, с потухшими глазами. Выходя, мистер Иии сосредоточенно разглядывал свои ногти...

В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли, захлопнули дверь и осмотрелись кругом.

Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками, разговаривали. Щелчок замка заставил их обернуться, и все воззрились на четверых людей, одетых в форму.

Один марсианин подошел к ним и поклонился.

— Я мистер Ууу, — представился он.

— А я — капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с Земли, — ответил капитан без всякого энтузиазма.

Мгновенно зал точно взорвался!

Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая сто-

лы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятия, подняли всю четверку на руки. шесть раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала, шесть раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая.

Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу:

— Вот это да! Совсем *другое* дело!

— Здорово! Сразу бы так! Э-гей! Ух ты! Э-э-э-эх!

Они торжественно подмигивали друг другу, они вскинули руки, хлопая в ладоши.

— Э-гей!!

— Ура! — вопила толпа.

Марсиане поставили землян на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался.

— Спасибо вам, большое спасибо. Это замечательно...

— Расскажите о себе, — предложил мистер Ууу.

Капитан откашлялся.

Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей, каждый из них произнес коротенькую речь, смущению принимая громовые овации.

Мистер Ууу похлопал капитана по плечу.

— Приятно встретить здесь земляка! Я ведь тоже с Земли.

— То есть как это?

— А вот так. Нас тут много с Земли.

— Вы? С Земли? — Капитан вытаращил глаза. — Не может этого быть! Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же тогда веке начались космические полеты? В его голосе было разочарование. — Да вы откуда, из какой страны?

— Туизреол. Я перенесся сюда силой духа, много лет назад.

— Туизреол... — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа...

— Вот мисс Ррр, она тоже с Земли. *Верно*, мисс Ррр?

Мисс Ррр кивнула и как-то странно усмехнулась.

— И мистер Ююю, и мистер Щщщ, и мистер Ввв!

— А я с Юпитера, — представился один мужчина, приосанившись.

— А я с Сатурна, — ввернул другой, хитро поблескивая глазами.

— Юпитер, Сатурн... — бормотал капитан, моргая.

Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул

залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены. И только одна дверь. Капитан нахмурился.

— Чепуха какая-то. Где находится Туиэреол? Далеко от Америки?

— Что такое — Америка?

— Вы не слышали про Америку?! Говорите, что сами с Земли, а не знаете Америки!

Мистер Ууу сердито вздернул голову.

— Земля — сплошные моря, одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю.

— Пойдите, — капитан отступил на шаг, — да вы же самый настоящий марсианин! Желтые глаза. Смуглая кожа...

— Земля сплошь покрыта джунглями, — гордо произнесла мисс Ррр. — Я из Орри, страны серебряной культуры!

Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера Ууу на мистера Ююю, с мистера Ююю на мистера Ззз, с мистера Ззз на мистера Ннн, мистера Ххх, мистера Ббб. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал:

— Вы поняли, что это такое?

— Что, капитан?

— Это вовсе не торжественная встреча, — устало произнес он. — И не импровизированный прием. И не банкет. И мы здесь не почетные гости. А они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза. Прислушайтесь к их речам!

Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обзревали странный зал.

— Теперь я понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали к кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера Иии... Ну, а уж он дал точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали...

— Куда мы попали, командир?

Плечи капитана поникли.

— В сумасшедший дом.

Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемешку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось. Одинокие

фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу.

— Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно.

— Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?

— Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много. — Он показал на фигуры спящих. — Это же параноики, все до одного! Но как они нас встретили! Мне даже на минуту показалось, — в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, — что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речи... Ведь здорово было, а?..

— Сколько нас продержат здесь, командир?

— Пока мы не докажем, что мы не психи.

— Ну, это просто.

— *Надеюсь*, что так...

— Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан?

— М-да... Поглядите вон в тот угол.

Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой нагой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая.

Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом — кедровым посохом и наконец обрела свой первоначальный вид.

Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз.

— Колдовство, черная магия, — прошептал один из землян.

— Нет, галлюцинации. Они передают нам свой бред, так что мы видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия.

— Это вас и тревожит, капитан?

— Да. Если галлюцинации кажутся нам — и не только нам всем — такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, не удивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон та женщина способна превращаться в статую; вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод нашей больной фантазии.

Из темноты донесся вздох отчаяния.

Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Из рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями.

Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется.

Мистер Ыы появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, подзвать их к себе и провести в свой маленький кабинет.

Это был добродушный улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру.

— Ну, что вас беспокоит?

— Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так, — сказал капитан.

— Напротив, я вовсе не считаю *всех* вас сумасшедшими. — Психиатр направил на капитана маленькую указку. — Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации.

Капитан хлопнул себя по колену.

— Так *вот* в чем дело! Вот почему мистер Иии расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки!

— Да, мистер Иии рассказал мне об этом. — Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. — Отличная шутка. Так о чем я говорил? Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают.

— Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте. Мистер Ыы был озадачен.

— Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально.

— Ничего, валяйте, лечите! Вы сами убедитесь, что мы все здоровы.

— Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги, все ли оформлены для «лечения». — Он полистал папку. — Так... Видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в Доме, более легкая форма... Но когда дело заходит так далеко, как у вас, — с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми ося-

зательными и оптическими восприятиями, — то, будем говорить начистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Капитан с ревом вскочил на ноги.

— Ну вот что, хватит нам голову морочить! Начинайте — обследуйте нас, стучите молотком по колену, послушайте сердце, заставьте присесть, задавайте вопросы!

— Говорите на здоровье.

Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал.

— Невероятно, — задумчиво пробормотал он. — В жизни не слышал такого детализированного фантастического бреда.

— Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль! — взревел капитан.

— С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?

— Конечно. Он — в вашей картотеке на букву «К».

Мистер Ыы внимательно просмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик.

— Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля.

— Разумеется, нет, кретин! Я пошутил. А теперь скажите: сумасшедшие острят?

— Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее.

Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете.

— Та-ак. — Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. — Можно войти внутрь? — спросил он с хитрецей.

— Входите.

Мистер Ыы вошел в корабль — и застрял там.

— Всякос бывало в моей грешной жизни, но такого...

— Капитан ждал, жуя сигару. — Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом. Более подозрительных пентюхов...

— Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй — ненормальный. Немудрено, что они такие недоверчивые.

— Все равно, мне это осточертело!

Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус, наконец он вышел из корабля.

— Ну, *теперь-то* вы убедились! — крикнул капитан, словно глухой.

Психиатр закрыл глаза и почесал нос.

— Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-то

сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую «ракету». — Он постучал пальцем по корпусу. — Я ее слышу — слуховая иллюзия. — Он втянул носом воздух. — Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. — Он поцеловал обшивку ракеты. — Я ошущаю ее вкус: вкусовая иллюзия!

Он пожал руку капитана.

— Разрешите поздравить вас! Вы психопатический гений! Это — это просто верх совершенства! Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятий — поразительна, невероятна. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом! Ваше безумие совершенно до изумления!

— Мое безумие... — Капитан побледнел.

— Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравитаторы, пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки — я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками — подо всем! Такая концентрация воли! И все — все, сколько я ни проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус! Позвольте мне вас обнять!

Наконец он оторвался от капитана.

— Я напишу об этом монографию; она будет лучшей моей работой! В следующем месяце прочту доклад в Марсианской Академии наук! Одна ваша *внешность* чего стоит! Вы ухитрились изменить даже цвет глаз — вместо желтого голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая! А этот костюм, и пять пальцев на руках вместо шести! Подумать только, полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике! Да еще ваши три приятеля...

Он достал маленький пистолет.

— Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек! Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок?

— Стойте, бога ради! Не стреляйте!

— Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище: я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. Ах, какую статистику я напишу по сегодняшним наблюдениям — «Распад невротических иллюзий»!

— Я с Земли! Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти...

— Знаю, знаю, — ласково сказал мистер Ыыы и выстрелил.

Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали.

Мистер Ыы вытаращил глаза.

— Вы продолжаете существовать? Это бесподобно! Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве! — Он направил на них пистолет. — Ничего, я вас заставлю исчезнуть.

— Нет! — крикнули космонавты.

— Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито отметил мистер Ыы, убивая одного за другим всех троих.

Они неподвижно лежали на песке, несколько не изменившись.

Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты.

— Она не пропала! Они не исчезли! — Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги.

Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он выкинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну.

— Галлюцинации, — лихорадочно бормотал он. — Вкус. Зрительные образы. Запах. Ощущение.

Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена.

— Сгиньте! — завопил мистер Ыы, обращаясь к убитым. — Сгинь! — крикнул он ракете.

Он посмотрел на свои дрожащие руки.

— Заразился, — прошептал он в отчаянии. — Перешло ко мне. Телеспатия. Гипноз. Теперь и я безумен. Все виды мнимых восприятий. — На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. — Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть.

Раздался выстрел. Мистер Ыы упал.

Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же, рядом, лежал мистер Ыы.

Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем пригорке, никуда не исчезая.

Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль.

Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги, его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Огайо? Разве он плохой гражданин? Так в чем же дело, почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле: любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами! Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку и искусство! Можете оставаться на Земле, если хотите! Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс! Что надо сделать, где расписаться, с кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету?

Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. И вовсе ему не хочется на Марс, говорили они. Разве он не знает, что Первая и Вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли?

Но это еще надо доказать, никто не знает этого *точно*, кричал он, вцепившись в проволоку. А может быть, там молочные реки и кисельные берега, может быть, капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться. Ну так как — откроют ему ворота, пустят в ракету Третьей экспедиции, или ему придется вламываться силой?

Они посоветовали ему заткнуться.

Он увидел, как космонавты идут к ракете.

— Подождите меня! — закричал он. — Не оставляйте меня в этом ужасном мире, я хочу улететь отсюда, скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на Земле!

Они силой оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час, а он прильнул к заднему окошку и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя, и услышал могучий гул, и ощутил мощное сотрясение — это серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем не привлекательное утро заурядного понедельника.

ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячееках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос — началась *Третья* экспедиция на Марс.

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди перебодали. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

— Марс! — воскликнул штурман Люстиг.

— Старина Марс! — сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

— Добро, — произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием: «Прекрасный Огайо».

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижимый в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с

таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побелели.

— Черт меня побери, — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. — Чтоб мне провалиться!

— Этого просто не может быть, — сказал Сэмюэль Хинкстон.

— Господи, — произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

— Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

— Значит, выходим? — спросил Люстиг.

— Отставить, — сказал капитан Джон Блэк. — Надо еще разобраться, что это такое.

— Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

— Маленький городок, похожий на земные города, — добавил археолог Хинкстон. — Невобразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеяно глянул на него.

— Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

— По-моему, это маловероятно, капитан.

Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

— Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет пятьдесят тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых, — поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, — логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо!

— Капитан Уильямс, ну конечно же! — вскричал Хинкстон.

— Что?

— Капитан Уильямс и его тройка! Или Натанисл Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

— Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили

работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, — возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое семьдесят лет: Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья — вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И, пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

— Да к тому же, — добавил Люстиг, — Уильямс и его люди, и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали *эту* сторону.

— Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

— Черт возьми, — сказал Хинкстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах солнечной системы мышление и цивилизация развивалась сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!

— Я предпочел бы обожать немного, — сказал капитан Джон Блэк.

— Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога!

— Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

— Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно — такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

— Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем мы столкнулись.

— С чем столкнулись? — вмешался Люстиг. — Да ни с чем. Обыкновенный славный, тихий, зеленый городок, и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

— Когда вы родились, Люстиг?

— В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

— А вы, Хинкстон?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто и на родину вернулся.

— Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать *некоторых* стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид — и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он *слишком* похож на Грин-Блафф. — Командир повернулся к радисту. — Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

— Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет — от силы сорок.

— Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

— Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

— Ладно, передайте людям — привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щелбстала неумолимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли «Прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сыпало, невнятно глосавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы.

Теперь звучала другая пластинка.

Мне бы июньскую ночь,
Лунную ночь — и тебя...

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже.

Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта, гроыхала, подпрыгивая, телега.

— Капитан, — сказал Сэмюэль Хинкстон, — как хотите, но похоже — нет, *иначе* просто быть *не может*, — полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

— Нет.

— Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? — Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. — Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

— Невозможно, Хинкстон.

— Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

— Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

— Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру.

— И все эти годы жили здесь? — спросил командир.

— Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка навещались на Землю.

— У вас это звучит почти правдоподобно.

— Не почти, а вполне! Доказательства перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.

Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сном. Капитан Джон Блэк ощутил, как

вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме удивительно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошестелли легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году этак тысяча девятьсот девятым.

— Чем могу быть полезна? — спросила она.

— Прошу прощения, — нерешительно начал капитан Блэк, — но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него недоумевающими темными глазами.

— Если вы что-нибудь продаете... — заговорила женщина.

— Нет, нет, постойте! — вскричал он. — Какой это город?

Она смерила его взглядом.

— Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

— Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

— Вы из бюро переписи населения?

— Нет.

— Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

— Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с Земли.

— Вы хотите сказать, из-под земли? — удивилась она.

— Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

— Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Грин-Блафф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засемила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру.

Три товарища переглянулись.

— Высадим дверь, — предложил Люстиг.

— Нельзя. Частная собственность. О господи!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

— Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

— Это как же так?

— Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями.

— Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хинкстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в Большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг.

— А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

— Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад.

— Ну, слышали? — Люстиг круто обернулся. — Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели *в прошлое!* Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

— Разве я за этим летел? — заговорил капитан. — Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

— Кто в этом городе поверит нам? — отозвался Хинкстон. — Ох, в опасную игру мы ввязались!.. Это же *премя*, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?

— Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

— Я привык во всем добираться до смысла, — сказал командир. — А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон подумал.

— Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле *Земля*, а никакой не Марс.

— Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы попали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать.

— В самую точку, капитан! — воскликнул Люстиг.

— Без промаха! — добавил Хинкстон.

— Добро. — Капитан вздохнул. — Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение *правильно*... — Он улыбнулся. — Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди жителей!

— Вы уверены? — сказал Люстиг. — Как-никак, эти люди вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

— Наше оружие лучше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.

— Капитан, — произнес он.

— В чем дело, Люстиг?

— *Капитан...* Нет, вы только... Что я вижу!

По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:

— Эй, послушайте!

— Остановите его! — Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

— Бабушка, дедушка! — звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

— Дэвид! — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. — Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

— Бабушка, дедушка! — всхлипывал Дэвид Люстиг. — Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была открыта настежь.

— Входи же, входи, мальчуган. Тебя ждет чай со льда, свежий, пей вволю!

— Я с друзьями. — Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хинкстона. — Капитан, идите же.

— Здравствуйте, — приветствовали их старики. — Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги

вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

— Пейте на здоровье. — Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

— И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстиг.

— С тех пор как умерли, — с ехидцей ответила она.

— С тех пор как... что? — Капитан Блэк поставил свой стакан.

— Ну да, — кивнул Люстиг. — Они уже тридцать лет как умерли.

— А вы сидите как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан.

— Полно, сударь! — Старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. — Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. — Потрогайте.

Капитан потрогал.

— Ну как, настоящая?

Он кивнул.

— Так чего же вам еще надо? — торжествующе произнесла она. — К чему вопросы?

— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

— А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути Господни.

— Так что же, здесь — царство небесное? — спросил Хинкстон.

— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснял нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?

— Хороший вопрос, — сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

— Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

— Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

— Но вы ведь еще придете? — всполошились старики.
— Мы ждем вас к ужину.

— Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь.

Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

— Что это? — спросил Хингстон.

— Сейчас узнаем. — И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали: «Ура!» Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки — мать с одной стороны, отец или сестра с другой — и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

— Стойте! — закричал капитан Блэк.

Одна за другой наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

— Дезертиры! — воскликнул командир. — Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!..

— Капитан, — сказал Люстиг, — не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

— Это не оправдание!

— Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

— У них был приказ, черт возьми!

— А как бы вы поступили, капитан?

— Я бы выполнял прика... — Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

— Джон! — крикнул он и бросился к ним.

— Что? — Капитан Блэк попятился.

— Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

— Ты?.. — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, *кто* же еще!

— Эдвард! — Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. — Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но, постой, *как* же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнушными, непослушными ногами. — Мать и отец живы? Где они?

— В нашем старом доме, на Дубовой улице.

— В старом доме... — Глаза капитана светились восторгом и изумлением. — Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он приметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся.

— Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

— Да... Да... — Капитан зажмурился. — Сейчас я открою глаза, и тебя не будет. — Он моргнул. — Ты здесь! Господи. Эд, ты *великолепно* выглядишь!

— Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

— Капитан, — сказал Люстиг, — если я понадоблюсь, я — у своих стариков.

— Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

— Вот и наш дом. Вспоминаешь?

— Еще бы! Спорим, я первый добежу до крыльца!

Они побежали взапуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

— Я — первый! — крикнул Эдвард.

— Еще бы, — еле выдохнул капитан, — я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня *всегда* обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях была мама — полная, розовая, сияющая. За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

— Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказывал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее — совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудкой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер успокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

— Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, — сказала мама.

— Завтра утром проснусь, — сказал капитан, — и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

— К чему такие мысли! — воскликнула она ласково.

— Не пытайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы.

— Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

— Ты устал, сынок. — Отец указал мундштуком трубки: — Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами — все как было.

— Но мне надо собрать моих людей.

— Зачем?

— Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

— Доброй ночи, сынок. — Мама поцеловала его в щеку.
— Как славно, что ты опять дома.

— Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

— Слишком много сразу, — промолвил капитан. — Я обессилел от усталости. Столько событий в один день! Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей пропитан впечатлениями...

Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

— Так вот он какой, Марс, — сказал капитан, раздеваясь.

— Да, вот такой. — Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубашу, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало — сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон — он тихо наигрывал «Всегда».

Блэку вспомнилась Мерилин.

— Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу.

— Да. — Помешкал и добавил: — Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

— Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

— Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

— Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец мог рассуждать логично. До того всё были сплошные эмоции Громогласный оркестр, знакомые лица родни... Зато теперь...

«Каким образом? — дивился он. — Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это — неизреченная благостность божественного провидения? Неужто Бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?»

Он взвесил теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так, и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово.

И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая мысль. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если *предположить*. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим — просто так, курьеза ради, — что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получался любопытный. Тслепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все это продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем *иные*, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои

мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все, как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда действительно были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и *еще висели* в домах картины Максфилда Парриша, когда были бисерные портьеры, и песенка «Прекрасный Огайо», и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из *моего сознания*? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по *моим* воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад, — разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать, — да тут от счастья вообще онемсеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и сделают

то же с ничего не подозревающими спящими землянами...

Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх.

Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, потруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

— Ты куда?

— Что?

Голос брата стал ледяным.

— Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

— За водой.

— Ты не хочешь пить.

— Хочу, правда же хочу.

— Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды.

Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядя, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежевскрытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит.

Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять — то ли мэр, то ли кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет «внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь...»

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающей меди в город, и в этот день все отдыхали.

И ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧАМИ
СЕРЕБРИТ ПРОСТОР ЛУНА...

Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал — просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.

Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хэтэуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.

Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат... Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать *этой*, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми, и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.

Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:

— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?

— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.

Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.

Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполниту. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла

целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.

— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и масть кутнуть.

Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.

— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.

Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни — пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс!

Но пока все помалкивали.

Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбежал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все это уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но его заставили замолчать. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки; еда казалась очень вкусной, вино — еще вкуснее.

В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк и оттуда вышел Хетэуэй, врач и геолог, — у каждого участника экспедиции были две специальности, для экономии места в ракете. Хетэуэй, не торопясь, подошел к капитану.

— Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер.

Хетэуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера:

— Вон тот город мертв, капитан, мертв уж много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город, в двухстах милях отсюда...

— Ну?

— Еще на прошлой неделе там жили.

Спендер встал.

— Марсиане, — добавил Хетэуэй.

— А где они теперь?

— Умерли, — сказал Хетэуэй. — Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов!словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самое большее дней десять назад.

— А в других городах? Хоть *что-нибудь* живое вы видели?

— Ничего. Я потом еще не в одном побывал. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.

— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.

— Вы не поверите.

— Что их убило?

— Ветрянка, — коротко ответил Хетэуэй.

— Не может быть!

— Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк — все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, *сделали* с марсианами.

— И нигде никаких признаков жизни?

— Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но, даже если так, быюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета.

Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка, господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и — погибает. Часть марсиан умерла еще до нашей эры — пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть. Но остальные! Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с изысканным, или грозным, или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми, их доконала ветрянка, детская болезнь, болезнь,

которая на Земле не убивает даже детей! Это неправильно, несправедливо. Это все равно что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скосил грибок! Хоть бы дали марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь *иную* причину смерти. Так нет же — какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть, это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром!

— Ладно, Хэтэуэй, теперь перекусите.

— Спасибо, капитан.

И все! Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.

Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче.

Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.

Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов, он не мог угадать каких: цветы, химические вещества, пыль, ветер...

— Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подписал эту блондиночку, — черт, забыл, как ее звали... Гинни! — орал Биггс. — Девчонка была что надо!

Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими, прозрачными веками.

— Вот Гинни и говорит мне... — продолжал Биггс.

Раздался дружный хохот.

— Ну, я ей и вмазал! — выкрикнул Биггс, не выпуская из рук бутылки.

Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями — точно холодные льдины на дне высохшего моря...

— Какая девочка, блеск! — Биггс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. — Сколько их было — такой не попадалось!

В воздухе стоял резкий запах потного тела Биггса. Спендер дал костру потухнуть.

— Эй, Спендер, уснул, что ли, подкинь дров! — крикнул Биггс и снова присосался к бутылке. — Ну так вот, однажды ночью мы с Гинни...

Один из космонавтов, по фамилии Шенке, принёс свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.

— Э-эх! — вопил он. — Живем!

— Ого-го! — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.

Трое стали в ряд и задрыгали ногами, наподобие девиц из бурлеска, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чсроки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его сжик и гладко выбритые молодые щеки.

Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря, огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер.

Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то сосал губную гармонику, другой дул в грешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Биггс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.

— Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чсроки капитану и затянул песню.

Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга! Что за ночь! Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично, хотя бы первые дни».

— Хватит. — Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость.

Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.

Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.

Биггс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук.

— Я нарекаю тебя, нарекаю тебя, нарекаю тебя... — заплетающимся языком бормотал Биггс. — Нарекаю тебя именем Биггс, Биггс, канал Биггса...

Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биггсу. Он ударил Биггса сперва по зубам, потом в ухо. Биггс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Биггс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.

— Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что? — допытывались они.

Биггс выбрался на берег и встал на ноги, вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держат.

— Так, — сказал он и шагнул вперед.

— Прекратить! — рявкнул капитан Уайлдер.

Спендера выпустили. Биггс замер, глядя на капитана.

— Ладно, Биггс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться! Спендер, пойдемте со мной!

Всеселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру.

— Может быть, вы объясните, в чем дело? — сказал он.

Спендер смотрел на канал.

— Не знаю. Мне стало стыдно. За Биггса, за всех нас, за этот содом. Господи, какое безобразие!

— Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу.

— Но где уважение, командир? Где чувство пристойности?

— Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов.

— Слушаюсь, командир. Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что Они видят, как мы дураков корчим.

— Они?

— Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно.

— Безусловно, мертвые, — ответил капитан. — Вы думаете, Они знают, что мы здесь?

— Разве старое не знает всегда о появлении нового?

— Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.

— Я верю в вещи, сделанные трудом, а все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги, наверно, есть, и широкие каналы, башни с часами, стояла — ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с двенадцатью ногами, почему мы можем знать? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался, — я скажу «да». А они здесь, вокруг нас, — вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена. Пользуясь этими вещами, мы всегда, неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так — мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени, для кого-то здешние горы, представления о них связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них как с гуся вода. Мы можем сколько угодно

соприкасаться с Марсом — настоящего общения никогда не будет. В конце концов это доведет нас до бешенства и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем шкуру и перекроем ее по своему вкусу.

— Мы не разрушим Марс, — сказал капитан. — Он слишком велик и великолепен.

— Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте, среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь — здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое, *собственное* имя.

— Это уже ваше дело, археологов, раскапывать старые названия, а мы — что ж, мы согласны ими пользоваться.

— Кучка людей вроде нас — против всех дельцов и трестов? — Спендер поглядел на отливающие металлом горы. — Они *знают*, что мы сегодня появились здесь и будем пакостить им; они должны нас ненавидеть.

Капитан покачал головой.

— Здесь нет ненависти. — Он прислушался к ветру. — Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне, — велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Биггс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались! Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь —

выше голову! Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.

Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, тербил аккордеон, и пыль покрыла исцелованную губную гармонику. Она засорила им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался.

Но веселье тоже стихло.

Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.

— А ну, ребята, давай! — Биггс, в чистой сухой одежде, выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет. — Давайте все сюда!

Никто не тронулся с места.

— Эй, Уайти, что же твоя гармоника?

Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.

— Вы что, на поминках, что ли? — не унимался Биггс.

Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.

— Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем. — Биггс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку.

Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.

— Кто хочет, может пойти со мной в город, — объявил капитан. — Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие — на всякий случай.

Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось четырнадцать, включая Биггса, который стал в строй, гогоча и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться.

— Ну, потопали! — заорал Биггс.

Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали: вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном горо-

де, возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины верхом на закованном в латы коне немых кровей, с невиданной родословной.

Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем, слышалось невнятное бормотание, странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтам, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат... Город был полон видений.

— Э-гей! — крикнул Биггс, выпрямившись и сложив ладони рупором. — Эй, кто тут есть в городе, отзовись!

— Биггс! — сказал капитан.

Биггс умолк.

Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо вопрошал: как сумели они построить такой долговечный город? Побывали ли они на Земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили они и ненавидели, как мы? И были ли их безрассудства такими же, когда они совершали их?

Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их; тихий ветер овеивал их.

— Лорд Байрон, — сказал Джефф Спендер.

— Какой лорд? — Капитан повернулся к нему.

— Лорд Байрон, поэт, жил в девятнадцатом веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь остался кто-то, кто может чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт.

Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.

— Что же это за стихотворение? — спросил капитан.

Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая, на мгновение зажмурился, затем его тихий

голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все слушали его, не отрываясь:

Не бродить уж нам почам,
Хоть душа любви полна,
И по-прежнему лучами
Серебрят простор луна.

Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам.

Меч сотрет железо пожен,
И душа источит грудь,
Вечный пламень невозможен,
Сердцу нужно отдохнуть.
Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам почам
В серебристой лунной мгле.¹

Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.

Бигс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам, густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Бигсу. Его продолжало рвать.

Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.

Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.

Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.

— Вы не спите, командир?

— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.

Мак-Клюр подумал.

— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.

Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.

Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они верну-

¹ Стихи в переводе Ю.Вронского.

лись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще он нытик и брюзга. Ушел, и черт с ним!

Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал...

Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Бигтс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.

Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Бигтса. Бигтс открыл глаза.

— Будь я проклят! — воскликнул Бигтс.

— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.

— Что ты сказал? — спросил Бигтс.

— Я убью тебя.

— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?

— Встань, умри как мужчина.

— Бога ради, убери пистолет.

Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Бигтс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.

Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете; несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил кок.

— А вот и наш Одинокий Волк идет, — сказал кто-то.

— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!

Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.

— Дались тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то чернос варено в миске. — Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался.

— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?

Четверо космонавтов отложили свои вилки.

— Марсианина? Где?

— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?

— Я-то знаю, что бы я чувствовал, — сказал Чероки. — В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказывал из истории Оклахомы. Так что если тут остались марсиане, я их понимаю.

— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.

Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твоё, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.

— Ну, так вот, — сказал Спендер. — Я встретил марсианина.

Они недоверчиво смотрели на него.

— Там, в одном из мертвых поселений. Я не подозревал, что встречу его. Даже и не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом он подходил все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, — это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы, — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдёте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.

— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.

— Очень жаль.

Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.

Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.

— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.

Чероки не ответил.

— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал.

Наконец к Чероки вернулся дар речи.

— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.

— Они это заслужили.

— Ты сошел с ума!

— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно-бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!

Лицо Спендера окаменело.

— Я-то думал, хоть *ты* меня поймешь.

— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.

Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.

Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.

— Перестань! Сейчас же! — приказал он своему телу.

Каждая клеточка судорожно дрожала.

— Перестань!

Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмирненных коленях.

Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: «Нет!», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнувшихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.

Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.

По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.

— Собрать всех людей! — приказал капитан.

Паркхилл побежал вдоль канала.

Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий сжик и скуластое лицо.

Экипаж собрался.

— Кого не достает?

— Все того же Спендера. Бигтса мы нашли в канале.

— Спендер!

Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.

— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.

— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!

Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.

— Возьмите лопаты, — сказал он.

Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.

Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.

— Пошли, — сказал он.

Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десяти тысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.

Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».

Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.

Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог...

Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.

Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.

Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.

Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходитьсь, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать...

«Я слишком тонкое изделис, чтобы превращать меня в крошево, — подумал Спендер. — Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно... Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому, что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?»

Деять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.

Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.

Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.

Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.

Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.

— Сигарету, — предложил капитан.

— Спасибо. — Спендер взял одну.

— Огоньку?

— Свой есть.

Они затянулись раз-другой в полной тишине.

— Жарко, — сказал капитан.

— Очень.

— Как вы тут, хорошо устроились?

— Отлично.

— И сколько думаете продержаться?

— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.

— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.

— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные исправны, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстано-вить нужное настроение.

— Восстановили?

— Не совсем. Но вполне достаточно.

Капитан разглядывал свою сигарету.

— Почему вы так поступили?

Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.

— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.

— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.

— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные прини-

мают его, так сказать, воскресными дозами, кос-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое...

— Думаете, что они дознались, что к чему?

— Уверен.

— И по этой причине вы стали убивать людей.

— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался — криливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, то они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну, скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?

Капитан молчал и слушал.

Спендер продолжал:

— А все прочие воротили? Боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы! История не простит Кортеса.

— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.

— А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и на других все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.

— Но вышло иначе.

— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои

колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.

— Расчет верный.

— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцати человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали?

— Вы все продумали, — признал капитан.

— Вот именно.

— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.

— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и ухлопаю вас одного за другим.

Капитан кивнул.

— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.

— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Но лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и сго, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с

приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.

— А марсиане, выходит, *нашли* верный путь? — остведомился капитан.

— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.

— Прямо идеал какой-то!

— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.

— Мои люди ждут меня.

— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.

Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.

Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.

— Вот вам ответ, капитан.

— Не вижу.

— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.

— Язычество какое-то.

— Напротив, это символы Бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.

— Послушать вас, так марсиане были довольно наивны.

— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда.

Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Земляне рассуждают: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».

Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.

— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.

— Вам стоит только захотеть.

— Вы предлагаете это *мне*?

— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставляйте и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.

— Это все довольно заманчиво.

— И все же вы не останетесь?

— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.

— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.

— Вы оптимист.

— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?

Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.

— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это...

— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.

— Пожалуй.

— Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы.

— Что?

— Я с самого начала решил пощадить вас.

— Вот как...

— Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.

— Нет, — сказал капитан. — В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.

— Даже если у вас будет возможность остаться здесь?

— Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли.

Они вернулись на прежнее место.

— Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз.

— Благодарю. Не пойду. — Спендер вытянул вперед одну руку. — И еще одно, напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят, пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще. Если от всего этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет...

— Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливого.

— Вы странный человек, — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе, навстречу теплему ветру.

Капитан наконец вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дожидаться. Он шурился на солнце и тяжело дышал.

— Выпить есть у кого? — спросил капитан.

Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.

— Спасибо.

Он глотнул. Вытер рот.

— Ну, так, — сказал капитан. — Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать.

— Я раскрою ему его проклятую башку, — буркнул Сэм Паркхилл.

— Нет, только в сердце, — сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.

— Его проклятую башку, — повторил Паркхилл.

Капитан швырнул ему флягу.

— Вы слышали мой приказ? Только в сердце.

Паркхилл что-то буркнул себе под нос.

— Пошли, — сказал капитан.

Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.

«Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и *не хочешь* им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?..»

Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина: клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в *своей* правоте? Не будем от этого думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»

Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им приходилось по пяти минут отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.

Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.

— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.

Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.

— Что вы затеяли? — спросил он обессиленную руку и пистолет.

Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.

— Господи, что это я!

Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.

Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет, сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.

— Эй, ты! — крикнул Паркхилл. — У меня тут пуля припасена для твоего черепа!

Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же, — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, ляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человеку, ну, пока не поздно».

Спендер не двигался с места.

«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.

Он взял свой пистолет. Понаблюдав, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядев на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера

Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.

— Нет, Паркхилл, — сказал капитан. — Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет никто из вас. Я сам.

Он поднял пистолет и прицелился.

«Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан. — Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение».

Он кивнул головой Спендеру.

— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. — Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!

Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.

— Уходи, Спендер, уходи живей!

Тридцать секунд истекли.

Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.

— Спендер, — сказал он, выдыхая.

Он спустил курок.

Крохотное облачко каменной пыли закружилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.

Капитан встал и крикнул своим людям:

— Он мертв.

Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегают вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.

Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.

Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:

— В грудь?

Капитан опустил взгляд.

— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.

— Кто ведает? — произнес кто-то.

А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.

«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»

Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.

«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он. — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним, и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».

Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:

— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали.

— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с *такими*, как он?

Равнина, скалы, голубое небо дышали зноем, от которого звенело в ушах.

— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.

Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.

Они постояли в древнем склепе.

— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.

Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.

На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

Август 2001

ПОСЕЛЕНЦЫ

Земляне прилетали на Марс.

Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: **ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ!** И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какис-нибудь десятки — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стояло

только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу — сначала он с кулак размером, затем — с лимон, с булавочную головку, наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.

Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться на себя...

Февраль 2002

САРАНЧА

Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековать на привычный лад чужой мир, стесать все нисобычно, рот ошестинен гвоздями, словно стальнотрубная пасть хищника сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.

За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Десятою с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие...

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле удлиненной бензоколонки.

— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.

Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.

— Ничего.

— А как тебе Марс нравится, старина?

— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь *все* не так, *все* по-другому. Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это *марсианская* погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь *все* не так.

— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.

— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва, воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже *время* шиворот-навыворот. Иной раз мне кажется, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит бог, тут самое подходящее место для старого

человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на рождество семьдесят лет назад — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура... А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Скольких узоров! Так вот, это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать всков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.

Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.

Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс — всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.

Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как *выглядит* Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время, и вот какое оно на вид и слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, нынче так и кажется, что его можно даже *поцупать*.

Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.

Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые лунной белые здания, в которых уже много всков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.

Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку,

и прошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.

Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какос-то движенье, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке.

С гор спускалось нечто необычное.

Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью морозящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел, будто в колодец.

Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!», но губы его не шевельнулись. Потому что это был *марсианин*. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.

У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.

Первым решился Томас.

— Привет! — сказал он.

— Привет! — сказал марсианин на своем языке.

Они не поняли друг друга.

— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.

Оба нахмурились.

— Вы кто? — спросил Томас по-английски.

— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.

— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.

— Меня зовут Томас Гомес.

— Меня зовут Мью Ка.

Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.

Вдруг марсианин рассмеялся.

— Подождите!

Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.

— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!

— Вы так быстро выучили мой язык?

— Ну что вы!

Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.

— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.

— Выпьете чашечку? — предложил Томас.

— Большое спасибо.

Марсианин соскользнул со своей машины.

Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.

Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.

— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.

— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.

— Видели, что произошло? — прошептали они.

Оба похолодели от испуга.

Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.

— Господи! — ахнул Томас.

— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.

— Эй! — крикнул Томас.

— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.

Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.

Он поглядел на марсианина, стоящего на фоне неба.

— Звезды! — сказал Томас.

— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.

Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими, словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.

— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.

— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.

Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке, — подумал он, — я существую».

Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.

— Я не бесплотный, — негромко сказал он. — *Живой!*

Томас озадаченно глядел на него.

— Но если я существую, значит, вы — мертвый.

— Нет, вы!

— Привидение!

— Призрак!

Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой — ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров...

«Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»

Они стояли на древнем шоссе, и оба не шевелились.

— Откуда вы? — спросил наконец марсианин.

— С Земли.

— Что это такое?

— Там. — Томас кивком указал на небо.

— Давно?

— Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?

— Нет.

— А вы все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве вы этого не знаете?

— Это неправда.

— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.

— Что за вздор, *мы живы!*

— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.

— Я не спасся, не от чего мне было спастись. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.

Томас посмотрел и увидел развалины.

— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!

Марсианин рассмеялся.

— Мертв? Я ночевал там вчера!

— А я его просежал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?

— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.

— На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас.

— Улицы чистые!

— Каналы давно высохли, они пусты.

— Каналы полны лавандового вина!

— Город мертв.

— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегут *вов* там по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем пить, пить, любить. Неужели вы *не видите?*

— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойсском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...

Марсианин встрепнулся.

— Вы говорите — в *той* стороне?

— Да, там, где ракеты. — Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. — Видите?

— Нет.

— Да вон же, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.

— Не вижу.

Теперь рассмеялся Томас.

— Да вы ослепли!

— У меня отличное зрение. Это вы не видите.

— Ну хорошо, а новый *поселок* вы видите? Или тоже нет?

— Ничего не вижу, кроме океана — и как раз сейчас отлив.

— Уважасмый, этот океан испарился сорок веков тому назад.

— Ну, знаете, это уж чересчур.

— Но это правда, уверяю вас!

Лицо марсианина стало очень серьезным.

— Пойдите. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушай-

тес! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние.

Томас прислушался и покачал головой.

— Нет.

— А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?..

Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.

— А может быть?..

— Что?

— Вы сказали «с неба»?

— С Земли.

— Земля — название, пустой звук... — произнес марсианин. — Но... час назад, когда я сжал через перевал...

— Он коснулся своей шеи сзади. — Я ощутил...

— Холод?

— Да.

— И теперь тоже?

— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во Вселенной...

— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.

Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.

— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!

— Нет, это вы из Прошлого, — сказал землянин, поразмыслив.

— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?

— Две тысячи второй!

— Что это говорит мне?

Томас подумал и пожал плечами.

— Ничего.

— Все равно что я бы вам сказал, что сейчас 4462853 год по нашему летоисчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?

— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я Будущее. Я жив, а вы мертвы!

— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот: два

странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?

— Да. Вам страшно?

— Кому хочется увидеть Будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть Прошлое, но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли? — Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город. — Но вон же они! Я их *вижу*. И мне достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили.

Точно так же вдали ждали Томаса ракеты, и поселок, и женщины с Земли.

— Мы никогда не согласимся друг с другом, — сказал он.

— Согласимся не соглашаться, — предложил марсианин. — Прошрое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет — завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы — не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.

Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест.

Их руки не соприкоснулись — они растворились одна в другой.

— Мы еще встретимся?

— Кто знает? Возможно, когда-нибудь.

— Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике.

— А мне — попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось.

— До свидания, — сказал Томас.

— Доброй ночи.

Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже, землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.

— Господи, что за сон, — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виски, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье.

«Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях...

Ночь была темна. Луны зашли. Лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа, ничего. И так было до конца этой прохладной темной ночи.

БЕРЕГ

Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна не похожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза как шляпки гвоздей, руки, одубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем, они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огонь.

Они были первыми мужчинами на Марсе.

Каковы будут первые женщины — знали все.

Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия, и Океания только смотрели, как исчезают в выси римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне.

Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка.

И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к Господу Богу...

ИНТЕРМЕДИЯ

Они привезли с собой пятнадцать тысяч погонных футов оregonской сосны для строительства Десятого города и семьдесят девять тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79. А теперь споем 94». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки — это работали писатели; или скрипели перья — там творили поэты; или царила тишина — там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинци-

ального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув...

Апрель 2003

МУЗЫКАНТЫ

В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытый дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушиваться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга преступить запреты их строгих родительниц. Они бегали вразупуски:

— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!

Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегашь по опавшей листве.

Горстью звучных камешков высипали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город, и все двери открыты... И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец всыплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»

И вот они в мертвом городе, мальчишечья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадо-ривают друг друга свистящим шепотом:

— Ну, давай!

Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым всбагают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчиш-

ки кричат! Рсбра — паучьи ноги, рсбра — гулкис струны арфы, и черной выюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода.

Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного... Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут Пожарные!

И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.

Матери проверяют ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай: обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.

К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны, потехе пришел конец.

Июнь 2003

...ВЫСОКО В НЕБЕСА

— Слышал?

— Что?

— Негры-то, черномазые!

— Что такое?

— Уезжают, сматываются, драпают — неужели не слышал?

— То есть как это сматываются? Да как они могут?

— Могут. Уже...

— Какая-нибудь парочка?

— Все до одного! Все негры южных штатов!

— Не-е...

— Точно!

— Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку?

Пауза.

— На Марс.

— То есть — на планету Марс?

— Именно.

Они стояли под раскаленным навесом на веранде скобяной лавки. Один бросил раскуривать трубку. Другой плюнул в горячую полуденную пыль.

— Не могут они уехать, ни в жизнь.

— А вот уже уезжают.

— Везде говорят, и по радио только что передавали.

Они зашевелились — казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэль Тис, хозяин скобяной лавки, натянуто рассмеялся.

— А я-то не возьму в толк, что стряслось с Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли напрямик на Марс, дурень черномазый?

Мужчины фыркнули.

— А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, воровства я не потерплю ни от кого.

— Слушайте!

Они повернулись, раздраженно толкая друг друга.

В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая, по светло-коричневой пыли дороги. Медленно, медленно нарастала лавина — мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки. А речь людей — частиц могучего потока — звучала, как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, рокошущая, неотвратимая. В этом медленном темном потоке, рассекшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки, слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стенные часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки; беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек, тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась, а люди на террасе скобяной лавки сидели подобно ошетиनिвшимся псам и не знали, что предпринять: чинить плотину было поздно.

Сэмюэль Тис все еще не мог поверить.

— Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают *попасть* на Марс?

— Ракеты, — сказал дед Квортэрмэйн.

— У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?

— Скопили денег и построили.

— Первый раз слышу.

— Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где — не знаю. Может, в Африке.

— Как же так? — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде. — А законы на что?

— Они как будто войны никому не объявляли, — мирно ответил дед.

— Откуда же они полетят, черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами? — крикнул Тис.

— По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс.

— Надо звонить губернатору, вызвать полицию! — бесновался Тис. — Они обязаны были предупредить заранее.

— Твоя благоверная идет, Тис.

Мужчины повернулись.

По раскаленной улице, в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломенные лица, и все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки. Заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, шурясь на своего разгневанного, надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.

— Отец, пошли домой, я никак не могу уломать Люсинду!

— Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни!?

— Она уходит. Что я буду делать без нее?

— Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду.

— Но она все равно как член семьи, — причитала миссис Тис.

— Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкала из-за всякой...

Всхлипывания жены остановили его. Она утирала глаза.

— Я ей говорю: «Люсинда, останься, — говорю, — я прибавлю тебе жалованье, будешь свободна два вечера в неделю, если хочешь», — а она словно каменная! Никогда ее такой не видела. «Неужто ты меня не любишь, —

говорю, — Люсинда?» «Люблю, — говорит, — и все равно должна уйти, так уж получилось». Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и... и пошла. Дошла до дверей, а там уже два узла приготовлены. Стала, у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверно; совсем остыл, как я уходила...

Тис едва не ударил ее.

— К черту, слышишь, марш домой! Нашла место представление устраивать!

— Но, отец...

Сэмюэль исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова, с серебряным пистолетом в руке.

Его жены уже не было.

Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости; ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение. Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла.

— Клянусь богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу.

Мужчины ждали.

Река мирно катила мимо, сквозь дремотный полдень.

— Что, Сэм, — усмехнулся дед Квортэрмэйн, — видать, придется тебе самому черную работу делать.

— Я и по белому не промахнусь. — Тис не глядел на деда.

Дед отвернулся и замолчал.

— Эй, ты, постой-ка! — Сэмюэль Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под уздцы лошадь, на которой сидел высокий негр. — Все, Белтер, слезай, приехали!

— Да, сэр. — Белтер соскользнул на землю.

Тис смерил его взглядом.

— Ну, как же это называется?

— Понимаете, мистер Тис...

— В путь собрался, да? Как в той песне... сейчас вспомню... «Высоко в небеса» — так, что ли?

— Да, сэр.

Негр ждал, что последует дальше.

— А ты не забыл, Белтер, что должен мне пятьдесят долларов?

— Нет, сэр.

— И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?

— Сэр, тут такой переполох, я совсем запамятовал.

— Он запомнил... — Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде. — Черт возьми, мистер, ты знаешь, что ты будешь делать?

— Нет, сэр.

— Ты останешься здесь и отработаешь мне эти пятьдесят зеленых, не будь я Сэмюэль В. Тис.

Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом.

Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу, на черный поток, неудержимо струящийся между лавками, черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках, черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал.

— Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово!

— Послушай-ка, Белтер. — Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы, посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого господ-бога. — А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?

— Знаю то, что мне рассказывали.

— Ему рассказывали! Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали! — Он, небрежно так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо. — Помяни мое слово, Белтер, вы взлетите вверх, как шутиха в день четвертого июля, и — бам! Готово, один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу. Эти болваны-ученые не смыслят ни черта, они вас всех укокошат!

— Мне все равно.

— И очень хорошо! Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовища кровожадные, глазища — во! Как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее, в закусочной у нас продают по десяти центов штука? Ну так вот, как налетят они на вас — весь мозг из костей высосут!

— Мне все равно, все равно, все равно. — Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.

— А холодина там! И воздуха нет, упадешь там и задрываешься как рыба. Разинешь пасть и помрешь. Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это — по душе тебе?

— Мало ли что мне не по душе, сэр... Пожалуйста, сэр, отпустите меня. Я опоздаю.

— Отпущу, когда захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти, и ты это отлично

знаешь. Значит, путешествовать собрался? Ну, так вот что, мистер «Высоко в небеса», возвращайся домой, черт дери, и отработай пятьдесят зелененьких! Срок тебе — два месяца.

— Но, сэр, если я останусь отработывать, я опоздаю на ракету!

— Ах, горе-то какое! — Тис попытался изобразить печаль.

— Возьмите мою лошадь, сэр.

— Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег.

Тис ликовал. Настроение у него было чудесное.

У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурил голову.

Вдруг от толпы отделился старик.

— Мистер?

Тис глянул на него.

— Ну?

— Сколько должен вам этот человек, мистер?

— Не твое собачье дело!

Старик повернулся к Белтеру.

— Сколько, сынок?

— Пятьдесят долларов.

Старик протянул черные руки к окружавшим его людям.

— Нас двадцать пять. Каждый даст по два доллара, и быстрее, сейчас не время спорить.

— Это еще что такое? — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.

Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал Белтеру.

— Сынок, — сказал он, — ты не опоздаешь на ракету.

Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся.

— Не опоздаю, сэр, теперь не опоздаю!

Тис заорал:

— Сейчас же верни им деньги!

Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг, но Тис не взял денег; тогда негр положил их на пыльную землю у его ног.

— Вот ваши деньги, сэр, — сказал он. — Большое спасибо.

Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика: они сжали рядом и вместе скрылись из виду.

— Сукин сын! — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. — Сукин сын...

— Подними деньги, Сэмюэль, — сказал кто-то с веранды.

То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили:

— У кого есть, помогают тем, у кого нет! И все получают свободу! Один богач дал бедняку двести зелененьких, чтобы тот рассчитался! Еще один дал другому десять зелененьких, пять, шестнадцать — и так повсюду, все так делают!..

Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль.

Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало, злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него.

— Бам! Еще ракета взлетела! — вопил он во всю глотку. — Бам! Боже мой!

Черные головы смотрели вперед, никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся.

— Тр-р-рах! Все ракеты вдребезги! Крики, ужас, смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что, я остаюсь здесь, на матушке-Земле. Старушка не подведет! Ха-ха!

Постукивали копыта, взбивая пыль. Дребезжали фургоны на разбитых рессорах.

— Бам! — Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо. — Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеором по ракете, и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоров! А вы не знали? Точно! Как картечь, даже гуще! И посыплются ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки! Ржавые банки, набитые черной треской! Пошли хлопать, как хлопушки: бам! бам! бам! Десять тысяч убитых, еще десять тысяч. Летают вокруг Земли в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко, владыка небесный! Слышите, эй, вы там! Слышите?!

Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гардинные карнизы, несет куда-то в далекое черное море.

Два часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль

мягким ковром легла на строения, на сидящих мужчин, на высокис, изнывающие от духоты деревья.

Тишина.

Мужчины на веранде прислушались.

Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. Спозаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку, тут и там пели голоса; под мимозами смеялись влюбленные; где-то журчал смех негрят, плескавшихся в ручье; на полях мелькали спины и руки; из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы.

Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели камни на берегу — излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко созревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах; сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остоп соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня.

Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде скобяной лавки.

— Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас. Вроде все шло на лад. Что ни день, новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили, один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать, кругом равноправие! Мало им этого? Зарабатывают почти что не хуже любого белого — и вот тебе на, сорвались с места.

В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.

— Разрази меня гром, Тис, это твой Силли едет.

Велосипедист остановился возле крыльца, на нем сидел цветной, парнишка лет семнадцати, угловатый, нескладный — длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся.

— Что, совесть заговорила, вернулся? — сказал Тис.

— Нет, хозяин, я просто привез велосипед.

— Это почему же — в ракету не влазит?

— Да нет, хозяин, не в том дело...

— Можешь не объяснять, в чем дело! Слазь, я не позволю тебе красть мое имущество! — Он толкнул парня. Велосипед упал. — Пошел в лавку, медяшки чистить.

— Что вы сказали, хозяин? — Глаза парня расширились.

— То, что слышал! Надо ружья распаковать и ящик вскрыть — гвозди пришли из Натчеца...

— Мистер Тис...

— Наладить ларь для молотков...

— Мистер Тис, хозяин!

— Ты еще стоишь здесь?! — Тис свирепо сверкнул глазами.

— Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной? — спросил парень извиняющимся голосом.

— И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра? — сказал Тис.

— Боюсь, что так, хозяин.

— Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда. — Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумаги. — Помнишь эту штуку?

— Что это, хозяин?

— Твой трудовой контракт. Ты подписал его, вот твой крестик, видишь? Отвечай.

— Я не подписывал, мистер Тис. — Парень весь трясся. — Кто угодно может поставить крестик.

— Слушай, Силли. Контракт: «Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса два года, начиная с 15 июля 2001 года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за четыре недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена». Вот, — Тис стукнул ладонью по бумаге, сго глаза блестели. — А будешь артачиться, пойдем в суд.

— Я не могу! — вскричал парень; по сго щекам покатились слезы. — Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда.

— Я отлично тебя понимаю, Силли, да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень, хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу, и выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли. — Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу.

Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза.

— Может... может, кто из этих джентльменов...

Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Тиса.

— Это как же понимать: ты хочешь, чтобы твое место занял белый? — холодно спросил Тис.

Дед Квортэрмэйн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал:

— Слышь, Тис, а как насчет меня?

— Что?

— Я берусь работать вместо Силли.

Остальные притихли.

Тис покачивался на носках.

— Дед... — произнес он предостерегающе.

— Отпусти парня, я почищу, что надо.

— Вы... в самом деле, взаправду? — Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.

— Конечно.

— Дед, — сказал Тис, — не суй свой паршивый нос в это дело.

— Не держи мальчика, Тис.

Тис подошел к Силли и схватил его за руку.

— Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи.

— Не надо, мистер Тис!

Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький, дребезжащий «форд», увозивший последних цветных.

— Это мои, мистер Тис. О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!

— Тис, — сказал один из мужчин, вставая, — пусть уходит.

Второй поднялся.

— Я тоже за это.

— И я, — вступил третий.

— К чему это? — Теперь заговорили все. — Кончай, Тис.

— Отпусти его.

Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:

— Вот, значит, как?

— Да, вот так, — отозвался кто-то.

Тис отпустил парня.

— Ладно. Катись. — Он ткнул рукой в сторону лавки.

— Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?

— Нет, хозяин!

— Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!

Силли покачал головой.

— Я возьму с собой.

— Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!

— Я возьму с собой, — мягко настаивал парнишка.

Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал «форд»; Силли сел в машину, хлопнула дверца.

Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.

— И что же ты собираешься делать *там*.

— Открою *свое* дело, — ответил Силли. — Хочу завести скобяную лавку.

— Ах ты дрянь, так вот ты зачем ко мне нанимался, задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку!

— Нет, хозяин, я никогда не думал, что *так* получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?

— Вы небось придумали имена вашим ракетам?

Цветные смотрели на свои единственные часы — на приборной доске «форда».

— Да, хозяин.

— Небось «Илия» и «Колесница», «Большое колесо» и «Малое колесо», «Вера», «Надежда», «Милосердие»?

— Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис.

— «Бог-сын» и «Святой дух», да? Скажи, малый, а одну ракету называли в честь баптистской церкви?

— Нам пора ехать, мистер Тис.

Тис хохотал.

— Неужели ни одну не называли «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?

Машина тронулась.

— Прощайте, мистер Тис.

— А есть у вас ракета «Рассыпьте, мои косточки»?

— Прощайте, мистер!

— А «Через Иордань»? Ха! Ладно, катись, отваливай на своей ракете, давай, лети, пусть взрывается, я плакать не буду!

Машина покатилась прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису:

— Мистер Тис, мистер Тис, а что вы теперь будете делать *по ночам*? Что будете делать *ночью*, хозяин?

Тишина. Машина растаяла вдали. Дорога опустела.

— Что он хотел сказать, черт возьми? — недоумевал Тис. — Что я буду делать по ночам?..

Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло.

Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них — темные силуэты, торчат

колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвою спящих деревьев. И злые глаза... Гудок, еще гудок, он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя, и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы — встречный востер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева, и стук в дверь лачуги!

— Так вот он про что, сукин сын! — Тис выскочил из тени на дорогу. — Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами?! Ах ты гад, подлюга...

Вопрос Силли попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле. Что мы будем делать *по ночам*? — думал он. — Теперь, когда *все* уехали...» На душе было пусто, мозг оцепенел.

Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны.

— Ты что задумал, Сэм? — спросил кто-то.

— Убью эту сволочь.

— Не распаяйся так, — сказал дед.

Но Сэмюэль Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине.

— Кто со мной?

— Я прокачусь, пожалуй, — отозвался дед, вставая.

— Еще кто?

Молчание.

Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэль Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марсво.

Развилка. Стоп.

— Куда они поехали, дед?

Дед Квортэрмэйн прищурился.

— Прямо, сдается мне.

Они продолжали путь. Одиноко ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста, но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.

— Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?

— Что? — спросил дед, присматриваясь.

Вдоль дороги непрерывной цепочкой, аккуратными кучками лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с беделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поно-

шенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрустала, когда-то нежно звеневшие на востру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен Конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как, наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом вдоль пыльных обочин, словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись напрямик на голубые небеса.

— «Не хотим жечь», как же! — злобно крикнул Тис. — Я им говорю — сожгите, так нет, тащили всю дорогу и сложили здесь — напоследок еще раз посмотреть на свое барахло, вот оно, полюбуйте! Эти черномазые невесты что о себе воображают.

Он гнал мешину дальше, километр за километром, насзжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.

— Так! Черт дери... Еще! Так!

Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву, Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.

— А, сукины дети! — Сэмюэль Тис стряхнул с себя пыль и вышел из машины, чуть не плача от ярости.

Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу.

— Теперь мы уж их никогда не догоним, никогда.

Насколько хватало глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни, под жарким ветром, в свете угасающего дня.

Час спустя Тис и дед, усталые, подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя в небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул:

— Смотрите!

— К черту! — прорычал Тис.

Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие ввысь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли.

На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце.

Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на

полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненые стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку. Кто-то начертил в пыли человечка.

Сэмюэль Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал:

— А вы заметили? Он до самого конца говорил мне «хозяин», ей-богу!

2004–2005

НОВЫЕ ИМЕНА

Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк...

Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питавших высохшие теперь моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудями обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ-СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРНТАУН, ГРЭЙН-ВИЛЛА, ДЕТРОЙТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.

А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригород, Отдохни Малость, — и первые покойники легли в свои могилы...

Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться —

«подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.

И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться...

Апрель 2005

ЭШЕР II

«Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера...»

Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она перед ним, на невысоком черном пригорке — Усадьба, и на угловом камне начертано: 2005 год.

Мистер Бигелоу, архитектор, сказал:

— Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль.

Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной как вороново крыло траве у их ног шуршали чертежи.

— Дом Эшеров, — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. — Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы в восторге!

Мистер Бигелоу прищурился.

— Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?

— Да!

— Колорит такой, какой нужен? Картина *тоскливая и ужасная*?

— *Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая!*

— Стены — *угрюмые*?

— Поразительно!

— Пруд достаточно «черный и мрачный»?

— Невообразимо черный и мрачный.

— А осока — она окрашена, как вам известно, — в меру «чахлая и седая»?

— До отвращения!

Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:

— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..

— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!

— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».

Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, признаки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди угадай.

Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где-то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную, безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глухнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.

— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?

— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?

— Нет.

— Название «Эшер» вам ничего не говорит?

— Ничего.

— Ну, а *такое* имя: Эдгар Аллан По?

Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.

— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в 1975.

— А, — понимающе кивнул мистер Бигелоу. — Один из *этих*!

— Вот именно, Бигелоу, один из этих. Его и Лавкрафта, Готорна и Амброза Бирса, все повести об ужасах и страхах, все фантазии, да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки, еще в пятидесятых и шестидесятых годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические убеждения и предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного — будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.

— Понятно.

— Устрашаемые словом «политика» (которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом «коммунизма», да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью!), понукаемые со всех сторон — здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут, — искусство и литература вскоре стали похожи на опромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выколотую струйку «чистого» материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных!

— Неужели?

— Да-да! Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное! Все, что не попадало в эту категорию, — прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии — бей в лет. И вот воскресным утром, тридцать лет назад, в 1975 году их поставили к библиотечной стенке: Санта-Клауса и Всадника без головы, Белоснежку, и Домового, и Матушку-Гусыню — все в голос рыдали! — и расстреляли их, потом сожгли бумажные замки и царевен-лягушек, старых королей и всех, кто «с тех пор зажил счастливо» (в самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо!), и Никогда превратилось в Никогда! И они развели по ветру прах Заколдованного Рикши вместе с черепками Страны Оз, изрубили Глинду Добрую и Озму, разложили Многоцветку в спектроскопе, а Джека Тьяквенную Голову подали к столу на Балу Биологов! Гороховый Стручок зачах в бюрократических зарослях! Спящая Красавица была разбужена поцелуем научного работника и

испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от чего она стала такой крохотной, что уже не могла больше кричать: «Чем дальше, тем любопытственнее!» Волшебное Зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все Красные Короли и Устрицы!

Он сжал кулаки. Господи, как все это близко, точно случилось вот сейчас! Лицо его побагровело, он задыхался.

Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и наконец сказал:

— Извините. Не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, Костер был только на пользу.

— Вон отсюда! — вскричал Стендаль. — Ваша работа завершена, теперь убирайтесь, болван!

Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел.

Мистер Стендаль остался один перед домом.

— Слушайте, вы! — обратился он к незримым ракетам. — Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, Чистые Души, а вас, что ни день, все больше и больше здесь, вы слетаетесь, словно мухи на падаль. Так я вам тут кое-что покажу. Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистером По. Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность!

Он погрозил небу кулаком.

Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина.

— Ваша фамилия Стендаль?

— Да.

— Гаррет, инспектор из управления Нравственного Климата.

— Ага, вы таки добрались до Марса, блюстители Нравственного Климата? Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь...

— Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле. — Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону Дома. — Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?

— Это замок с привидениями, если вам угодно.

— Не угодно, Стендаль, никак не угодно. «С привидениями» — не годится.

— Все очень просто. В нынешнем, две тысячи пятом году Господа Бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль элект-

ронных лучей, латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и беслые призраки, порождение химии и изобретательности.

— Именно этого я опасался, — сказал Гаррет с улыбочкой. — Боюсь, придется снести ваш домик.

— Я знал, что явитесь, едва проведаете.

— Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и Огневая Команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это миллиона в три стало...

— Четыре миллиона! Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство — двадцать пять миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно: только закончил строительство, как вы уже здесь со своими Демонтажниками. Может, позвольте мне потешиться моей Игрушкой, ну, хотя бы двадцать четыре часа?

— Вам известен Закон. Как положено: никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии.

— Вы скоро начнете жечь мистеров Бэббитов! Право же, позвольте мне насладиться.

— Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. Двадцать лет назад. На Земле. Вы и ваша библиотека.

— О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда, забыты Оз и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки — у меня и еще у нескольких частных лиц, пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. Изорвали в клочья мои пятьдесят тысяч книг и сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами; и вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел «По ком звонит колокол»! Тридцать различных постановок. Все реалистичные. О, реализм! Ох, уж этот реализм! Чтоб его...

— Рекомендовал бы воздержаться от сарказма!

— Мистер Гаррет, вы ведь обязаны представить полный отчет?

— Да.

— В таком случае, любопытства ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.

— Хорошо. Показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет.

Дверь Дома Эшеров со скрипом распахнулась. Повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны, точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи.

По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувырнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох.

— Поразительно! — Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть.

В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гаррета, постукивая пальцем по засаленным картам.

— Смерть! — крикнула она.

— Вот именно *такие* вещи я и подразумевал... — сказал Гаррет. — Весьма предосудительно!

— Я разрешу вам лично сжечь ее.

— В самом деле? — Гаррет просиял. Но тут же нахмурился. — Вы так легко об этом говорите.

— Для меня достаточно было устроить все это. Чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу.

— Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением.

Гаррет смотрел — мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облако, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла.

Невесть откуда возникла обезьяна.

— Брысь! — крикнул Гаррет.

— Не бойтесь. — Стендаль похлопал животное по черной груди. — Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот!

Он взьерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус.

— Вижу. — Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота. — Но к чему это, мистер Стендаль, в чем смысл всего *этого*? Что вас довело?..

— Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно. — Он кивнул обезьяне. — Пора. *Давай*.

Обезьяна убила мистера Гаррета.

— Почти готово, Пайкс?

Пайкс оторвал взгляд от стола.

— Да, сэр.

— Отличная работа.

— Даром хлеб не едим, мистер Стендаль, — тихо ответил Пайкс; приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы. — Так...

— Вылитый мистер Гаррет.

— А с ним что делать, сэр? — Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гаррет.

— Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гаррета, верно?

Пайкс подтащил Гаррета к кирпичному мусоросжигателю.

— Всего хорошего.

Он втолкнул мистера Гаррета внутрь и захлопнул дверь.

Стендаль обратился к роботу Гаррету.

— Вам ясно ваше задание, Гаррет?

— Да, сэр. — Робот приподнялся и сел. — Я должен вернуться в управление Нравственного Климата. Представить дополнительный доклад. Оттянуть операцию самое малое на сорок восемь часов. Сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование.

— Правильно, Гаррет. Желаю успеха.

Робот поспешно прошел к ракете Гаррета, поднялся в нее и улетел.

Стендаль повернулся.

— Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело. Как вы думаете?

— Учитывая, что мы ждали двадцать лет, — даже очень весело!

Они подмигнули друг другу.

Ровно семь. Стендаль взглянул на часы. Теперь уже недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок, попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.

— За наш успех.

Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж отведет он душу на старости лет... Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев,

копилась ненависть... И в оцепснелой душе исподволь, медленно зрел замысел. Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса.

Именно Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего! Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище, вот кто Пайкс! «Лучше, чем Лон Чени, патриарх?» — спросил себя Стендаль. Чени, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел... Да, лучше, чем Чени. Лучше того, другого старинного актера — как его, Карлофф, кажется? Гораздо лучше! А Люгоси! Никакого сравнения! Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же: его ограбили, отняли право на выдумку, и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя!

Бедняга Пайкс — невероятный, обезоруженный Пайкс! Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы, вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева, хватали, комкали, бросали в печь, сжигали! Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен, пятьдесят тысяч книг? Да. Да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды — что может быть естественнее — они встретились и заговорили, и разговоры их растянулись на бессчетные ночи, как не было счета и чашкам кофе, и из потока слов и горького настоя родился — Дом Эшера.

Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей. Улыбаясь, он пошел встретить их.

Роботы ждали — взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные, с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для не живых и не мертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы — обосо пола, но бесполое. С лицами, но безликие, существовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которое смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь... Но вот громко взвизгнули гвозди. Одна за другой

поднимаются крышки. По ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затаил один механизм, пущенный в ход. Еще один, еще, и вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика: близнецы Твиддам и Твидди, Телячья Голова, Соня, бледные утопленники — соль и зыбкие водоросли вместо плоти. Посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создания из льда и сверкающей мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, Тик-так, Страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, Синяя Борода — бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки. Поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и, будто изваянный из глыбы чешуйчатого эмсевики, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь: вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот... Тысячи крышеск снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на Дом Эшера. Ночь колдовства началась.

На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей.

Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах, за ними следовали женщины с замысловатейшими прическами.

— Вот он *какой*, Эшер!

— А где же дверь?

И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене и крикнул:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косопьки вниз.

Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развеиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в Дом.

Самые видные социологи! Самые проникательные психологи! Самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи! Вот они все тут, между серых стен.

— Добро пожаловать!

Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лонг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей.

— Входите, входите!

Мисс Гиббс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драммонд и еще два десятка блестящих женщин.

Все без исключения видные, виднейшие лица, члены Общества Борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников — «всех святых» и Гая Фокса, убийцы летучихмышей, истребители книг, факельщики; все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, поглубже первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие неполадки. А уж потом, когда прочно утвердилась Безопасность, эти Душители Радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой Нравственный Климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья! Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.

— Добро пожаловать в безбрежные покои Смерти! — крикнул он.

— Послушайте, Стендаль, что все это *значит*?

— Увидите. Всем раздеться! Вон там есть кабины. Наденьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины — в эту сторону, женщины — в ту.

Гости стояли в некотором замешательстве.

— Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь. Это... это похоже на кошунство.

— Чспуха, *костюмированный бал*!

— Боюсь, это все противозаконно. — Мистер Стеффенс настороженно шмыгал носом.

— Полно! — рассмеялся Стендаль. — Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!

Дом сверкал жизнью и красками, шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали минниатюрную кадрили под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулий, извергавших холодное, хмельное, пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес! Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах. Мужчины увивались за ними. По стенам скользили

тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.

— Да мы все упыри! — рассмеялся мистер Флетчер. — Мертвецы!

Семь залов, каждый иного цвета: один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал, между фантастическими роботами, между Сонями и Сумасшедшими Шляпниками, Троллями и Великанами, Черными Котами и Белыми Королевми носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо. Точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.

— Мистер Стендаль!

Шепотом...

— Мистер Стендаль!

Рядом с ним стояло чудовище в маске Смерти. Это был Пайкс.

— Нам нужно поговорить наедине.

— В чем дело?

— Вот. — Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты, болты.

Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.

— Гаррет? — спросил он шепотом.

Пайкс кивнул.

— Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель.

Оба глядели на зловещие винты.

— Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, — сказал Пайкс. — Наши планы рухнут.

— Это еще неизвестно. — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. — Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка!

— Что случилось?

— Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет оченъ уж приглядываться, то просто не заметит подмены.

— Конечно!

— Следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту, *собственной* персоной! Еще вина, Пайкс!

Зазвонил большой колокол.

— Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета.

Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.

— Мистер Стендаль?

— Мистер Гаррет, *подлинный* Гаррет?

— Он самый. — Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей. — Решил, лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал Демонтажников. Через час они придут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова.

Стендаль поклонился.

— Спасибо за предупреждение. — Он сделал жест рукой. — А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?

— Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?

— Убедитесь сами, мистер Гаррет.

— Разврат, — сказал Гаррет.

— Самый гнусный, — подтвердил Стендаль.

Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная, как сыр.

— Что сейчас случилось, какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!

Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.

— Ужасно! — причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась. Захлопала глазами и повернулась: — Мисс Блант!

— Да. — Мисс Блант стояла рядом с ней.

— Но я только что видела вас в каминной трубе!

— Нет, — рассмеялась мисс Блант. — Это был робот, моя копия. Искусная репродукция!

— Но, но...

— Утрите слезы, милочка. Я жива-здоровая. Разрешите мне взглянуть на себя. Так вот *где* я! Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?

Мисс Блант удалилась смеясь.

— Хотите выпить, Гаррет?

— Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место. Оно *вполне* заслуживает разрушения. На мгновение мне... — Гаррет выпил вина.

Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стеффенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стеффенса утащили в яму и оставили там, связанного по рукам и ногам, глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому

телу опускалось, качаясь, острое как бритва лезвие огромного маятника.

— Это я там внизу? — спросил мистер Стеффенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодезцем. — Очень, очень странно наблюдать собственную гибель.

Маятник качнулся в последний раз.

— До чего реалистично, — сказал мистер Стеффенс, отворачиваясь.

— Еще вина, мистер Гаррет?

— Да, пожалуйста.

— Теперь уже недолго. Скоро придут Демонтажники.

— Слава богу!

И опять, в третий раз, — крик.

— Ну что еще? — нервно спросил Гаррет.

— Теперь моя очередь, — сказала мисс Драммонд. — Глядите.

Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом.

— Пойдите, я же помню *это!* — ахнул инспектор Нравственного Климата. — Это же из старых, запрещенных книг... «Преждевременное погребение». Да и остальное: колодец, обезьяна, дымоход... «Убийство на улице Морг». Я сам сжег эту книгу, ну конечно же!

— Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче.

— Господи, *какое* у вас воображение!

На их глазах погибли еще пятеро: один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.

— Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас? — спросил Стендаль.

— Разумеется, — ответил Гаррет. — Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны.

— Тогда пошли. Сюда.

И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы.

— Что вы хотите мне здесь показать? — спросил Гаррет.

— Вас, убитого.

— Моего двойника?

— Да. И еще кое-что.

— Что же?

— Амонтильдо, — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем.

Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.

— Что-что?

— Вы никогда не слыхали про амонтильядо?

— Нет!

— И не узнаете вот это? — Стендаль указал на нишу.

— Откуда мне знать?

— Это тоже? — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.

— Что это такое?

— Пошли, — сказал Стендаль.

Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.

— Боже мой, что вы делаете? — вскричал Гаррет, гремя цепями.

— Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который куёт железо, пока оно горячо, это неучтиво. Вот так!

— Вы заковали меня в цепи!

— Совершенно верно.

— Что вы собираетесь сделать?

— Оставить вас здесь.

— Вы шутите.

— Весьма удачная шутка.

— Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?

— Никакого двойника нет.

— Но как же *остальные*?! —

— Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники, роботы, стояли рядом и смотрели.

Гаррет молчал.

— Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого, Монтрезор!» — сказал Стендаль. — А я отвечу: «Да, ради всего святого». Ну, что же вы? Давайте. *Говорите.*

— Болван!

— Что, я вас упрашивать должен? Говорите. Говорите: «Ради всего святого, Монтрезор!»

— Не скажу, идиот. Выпустите меня отсюда. — Он уже протрезвел.

— Вот. Наденьте. — Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.

— Что это?

— Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас.

— Стендаль!

— Надевайте, говорят вам!

Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.

— У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило? — справился Стендаль, берясь за лопатку, раствор, кирпичи.

— Что вы делаете?

— Замуровываю вас. Один ряд выложен. А вот и второй.

— Вы сошли с ума!

— Не стану спорить.

— Вас привлекут к ответственности за это!

Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор.

Из тонущей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики. Стена росла.

— Лязгайте как следует, прошу вас, — сказал Стендаль.

— Чтобы было сыграно на славу!

— Выпустите, выпустите меня!

Осталось уложить один, последний кирпич. Вопли не прекращались.

— Гаррет? — тихо позвал Стендаль.

Гаррет смолк.

— Гаррет, — продолжал Стендаль, — знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет.

Гаррет молчал.

— Все должно быть в точности, — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. — Позвоните тихонько бубенчиками.

Бубенчики звякнули.

— А теперь, если вы изволите сказать: «Ради всего святого, Монтрезор», я, возможно, освобожу вас.

В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова:

— Ради всего святого, Монтрезор.

Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза. Вложил последний кирпич и плотно заделал его.

— *Requiescat in pace*¹, дорогой друг.

Он быстро покинул катакомбы.

В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло.

Появилась Красная Смерть.

¹Спи спокойно (лат.)

Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз всё оглядел. Выбежал из Дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.

— Готово, Пайкс?

— Готово.

Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения, и, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади Пайкс тихо и напевно декламирует:

— «...на моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров».

Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.

Август 2005

СТАРЫЕ ЛЮДИ

И наконец — как и следовало ожидать — на Марс стали прибывать старые люди; они отправлялись по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы.

Люди немощные и дряхлые, люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами, люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третьеклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки тоже наконец появились на Марсе...

Сентябрь 2005

МАРСИАНИН

Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя, дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.

— Первый дождь сезона, — заметил Лафарж.

— Чудесно... — вздохнула жена.

— Благодарить!

Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.

— Вот одно только... — произнес Лафарж, глядя на свои руки.

— Ты о чем? — спросила жена.

— Если бы мы могли взять с собой Тома...

— Лаф, ты опять!

— Нет, нет, прости меня, я не буду.

— Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на Земле.

— Верно, верно, — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. — Я больше не заговорю об этом. Просто, ну... очень уж недостает мне наших поездок в Грин-Лон-Парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали...

Голубой дождь ласковыми струями поливал дом.

В девять часов они легли спать; молча, рука в руке, лежали они, ему — пятьдесят пять, ей — шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя.

— Энн, — тихо позвал он.

— Да? — откликнулась она.

— Ты ничего не слышала?

Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя.

— Ничего, — сказала она.

— Кто-то свистел, — объяснил он.

— Нет, я не слышала.

— Пойду посмотрю на всякий случай.

Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер.

У крыльца стояла маленькая фигура.

Молния распорол небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.

— Кто там? — крикнул старик, дрожа.

Молчание.

— Кто это? Что вам надо?

По-прежнему ни слова.

Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.

— Кто вы такой? — крикнул Лафарж снова.

Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку.

— Чего ты так кричишь?

— Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать, — сказал старик, дрожа. — Он похож на Тома!

— Пойдем спать, тебе почудилось.

— Он и сейчас стоит, взгляни сама.

Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь — и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.

— Уходи! — сказала она, отмахиваясь рукой. — Уходи!

— Скажешь, не похож на Тома? — спросил старик.

Фигурка не двигалась.

— Мне страшно, — произнесла женщина. — Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!..

И она ушла в спальню, причитая себе под нос.

Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студенной влаги.

— Том, — тихо сказал он. — Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, — я не стану запира́ть дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик.

И он прикрыл дверь, не заперев ее.

Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.

— Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой. — Она всхлипнула.

— Ладно, ладно, — ласково успокаивал он ее, обнимая.

— Спи.

Наконец она уснула.

И тут его настороженный слух тотчас уловил: наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», — сказал он сам себе.

Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

Утром светило жаркое-жаркое солнце.

Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом.

На коврике никого не было.

Лафарж вздохнул.

— Стар становлюсь, — сказал он.

И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.

— Доброе утро, отец!

— Доброе утро, Том.

Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.

— Чудесный день сегодня!

— Да, хороший, — настороженно отозвался старик.

Мальчик держался как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой.

Старик шагнул вперед.

— Том, как ты сюда попал? Ты жив?

— А почему мне не быть живым? — Мальчик поднял глаза на отца.

— Но, Том... Грин-Лон-Парк, каждое воскресенье... цветы... и... — Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его за руку. Старик ощутил пальцы — крепкие, теплые.

— Ты в самом деле здесь, это не сон?

— Разве вы *не хотите*, чтобы я был здесь? — Мальчик встревожился.

— Что ты, Том, конечно, хотим!

— Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут.

— Но твоя мать, такая неожиданность...

— Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам.

И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.

— Доброе утро, Лаф и Том. — Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок. — Правда, чудесный день?

Том повернулся к отцу, улыбаясь:

— Что я говорил?

Вместе, вдвоем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку вина из одуванчиков, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством.

Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:

— Сколько же тебе лет теперь, сынок?

— Разве ты не знаешь, папа? Четырнадцать, конечно.

— А кто ты такой *на самом деле*? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть! Кто ты?

— Не надо. — Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.

— Мне ты можешь сказать, — настаивал старик, — я пойму. Ты марсианин, наверно? Я тут слышал разные басни про марсиан, правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди

нас, то в облике змеян. Вот и ты, если приглядеться: будто бы и Том, и не Том...

— Зачем, зачем это?! Чем я вам не хорош? — спросил мальчик, спрятав лицо в ладонях. — Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!

Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.

— Том, вернись!

Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.

— Куда это он? — спросила Энн; она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу.

— Ты что-нибудь сказал, напугал его?

— Энн, — заговорил он, беря ее за руку, — Энн, ты помнишь Грин-Лон-Парк, помнишь ярмарку, и как Том заболел воспалением легких?

— Что ты *такое* говоришь? — Она рассмеялась.

— Так, ничего, — тихо ответил он.

Вдали, у канала, медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома.

В пять часов вчераше, на закате, Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца.

— Ты опять начнешь меня расспрашивать?

— Никаких вопросов, — сказал Лафарж.

Блеснула белозубая улыбка.

— Вот это здорово.

— Где ты был?

— Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... — Он замаялся, подбирая нужное слово. — Я чуть не попал в западню.

— Что ты хочешь этим сказать — «в западню»?

— Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... после этого я не смог бы вернуться сюда, к вам, не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказывать, я сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить.

— И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.

Мальчик побежал умываться.

А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.

— Добрый вечер, брат Лафарж, — сказал он, придерживая лодку.

— Добрый вечер, Саул, что слышно?

— Всякое. Ты ведь знаешь Номленда — того, что живет в жестяном сарайчике на канале?

Лафарж оцепенел.

— Знаю, ну и что?

— А какой он негодяй был, тоже знаешь?

— Говорили, будто он потому Землю покинул, что человека убил.

Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.

— А помнишь фамилию человека, которого он убил?

— Гиллингс, кажется?

— Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа этак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что! Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и двадцать минут назад — люди мне рассказали — пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда.

— Ну и ну, — сказал Лафарж.

— Вот какие дела-то бывают! — подхватил Саул. — Ладно, Лафарж, пока, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.

— Ужин на столе, — крикнула миссис Лафарж.

Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.

— Том, — сказал он, — ты что делал сегодня вечером?

— Ничего, — ответил Том с полным ртом. — А что?

— Да нет, я так просто. — Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город.

— Уж который месяц не была там, — сказала она.

Том отказался идти.

— Я боюсь города, — объявил он. — Боюсь людей. Мне не хочется.

— Большой парень — и такие разговоры! — настаивала Энн. — Слышать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила.

— Но, Энн, если мальчику не хочется... — вступился старик.

Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это, — думал он, — что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что — пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы

остаться среди нас и обрести наконец свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри — он Том, и все тут.

Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя... Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали, пусть это всего один день, и он потом исчезнет, и пустота станет невыносимей, темные ночи — еще темней, дождливые ночи — еще сырей... Лишать нас этого — все равно что попытаться вырвать у нас кусок из рта...»

И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Том вскрипнул; верно, что-то приснилось.

— Люди, — бормотал Том во сне. — Меняюсь и меняюсь... капкан...

— Полно, полно, парень. — Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.

Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег.

— Ну, вот и приехали! — Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.

— Лучше бы я остался дома, — сказал Том.

— Прежде ты так не говорил, — возразила мать. — Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город.

— Держитесь ко мне поближе, — прошептал Том. — Я не хочу, чтоб меня поймали.

Энн услышала эти слова.

— Что ты там болтаешь, пошли!

Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.

— Я с тобой, Томми. — Он поглядел на спящую мимо толпу, и ему стало не по себе. — Мы не будем задерживаться долго.

— Вздор, — вмешалась Энн. — Мы на весь вечер приехали.

Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга; оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было.

— Где он? — сердито спросила Энн, — Что за манера — чуть что, куда-то удирать от родителей! Том!!

Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.

— Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы пойдём домой, — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое — мужчина и женщина. Он узнал их: Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними.

Встрепенувшись, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.

В одиннадцать часов Тома у причала не было.

— Ничего, мать, — сказал Лафарж, — ты только не волнуйся. Я найду его. Подожди здесь.

— Поскорее возвращайтесь.

Ее голос утонул в плеске воды.

Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высывались люди — ночь была теплая. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость, — устало подумал старик. — Наверно, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было...» Лафарж свернул в переулок, скользая взглядом по номерам домов.

— Это ты, Лафарж?

На крыльце, куря трубку, сидел мужчина.

— Привет, Майк.

— Что, повздорил с хозяйкой? Вышел провстриться, нервы успокоить?

— Да нет, просто гуляю.

— У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?

— Помню, — Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.

— Лавиния вернулась домой сегодня вечером, — сказал Майк, выпуская дым. — Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было... С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась.

— Где? — Лафаржу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось.

— На Главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю! Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.

— И ты ее видел?

— Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный берег Ломондского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом. Так она пела — заслушаешься! Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, — вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э, да тебе вроде нездоровится. Зайди-ка, глотни виски!

— Спасибо, Майк, не хочу. — Старик побрел прочь.

Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар — снова смерть, — как она это перенесет? Вспомнит первую смерть?.. И весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома, ради Энн! Бедняжка Энн, она ждет его на пристани...»

Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прехорошенькая девушка лет восемнадцати.

Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер.

Девушка обернулась, глянула вниз.

— Кто там?

— Это я, — сказал старик и, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся, только губы продолжали беззвучно шевелиться.

Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец»? Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.

Девушка перегнулась через перила в холодном, неверном свете.

— Я вас знаю, — мягко ответила она. — Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать.

— Ты должен вернуться! — Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать.

Освещенная лунной фигурка наверху отступила в тень и пропала, только голос остался.

— Теперь я больше не твой сын, — сказал голос. — Зачем только мы поехали в город...

— Энн ждет на пристани!

— Простите меня, — ответил тихий голос. — Но что я могу поделать. Я счастлива здесь, меня любят — как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно: они взяли меня в плен.

— Но подумай об Энн, какой это будет удар для нес...

— Мысли в этом доме чересчур сильны, я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.

— Но ведь ты же Том, это *ты* была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком — может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?

— Я ни то, ни другое, я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще нечто другое, и сейчас вы не в силах изменить этого нечто.

— Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, — умолял старик.

— Верно... — Голос звучал нерешительно. — Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла — уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я, — догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее — идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор: либо причинить боль им, либо вашей жене.

— У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату!

— Прошу вас, — голос дрогнул, — я устала.

Голос старика стал тверже.

— Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергнуть Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам.

— Не надо, пожалуйста! — Тень на балконе трепетала.

— Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!

— О, что вы делаете со мной!

— Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну, спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет, у тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.

Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, чтобы свершилось...

Тени колыхались, шелестели лианы.

Наконец тихий голос произнес:

— Хорошо, отец.

— Том!

В свете луны вниз по лианам скользнула юрая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки — принять ее.

В окнах сверху вспыхнуло электричество.

Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки.

— Кто там?

— Живей, парень!

Еще свет, еще голоса

— Стой, я буду стрелять! Винни, ты цела?

Топот спешащих ног...

Старик и мальчик пустились бежать через сад.

Раздался выстрел. Пуля ударила в стену возле самой калитки.

— Том, ты — в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через десять минут встретимся там! Давай!

Они побжали в разные стороны.

Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте.

— Эни, я здесь!

Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку.

— Где Том?

— Сейчас прибежит.

Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие; полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара... Где-то приглушенно звучала музыка.

— Почему его нет? — спросила мать

— Сейчас, сейчас.

Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили — где-то, каким-то образом — пока он спешил к пристави, бежал полуночными улицами между темных домов? Конечно, бежать было далеко, даже для мальчика, но все-таки Том должен был успеть раньше его...

Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка.

Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать: оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других

ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокaя фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и когда фигурка достигла причала, это был уже Том! Энн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно.

Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина... еще один... женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой: ведь это... это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно! И, однако же, они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать.

Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному всеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно устали на лодку. Они кричали.

— Ни с места, Лафарж! — Сполдинг держал в руке пистолет.

Теперь было ясно, что произошло... Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным лунной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты — для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя... Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут!.. Сколько лиц угадано в лице Тома — и все ложно!

Вдоль всего пути — преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути: неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах — и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывается с места и спешит вдогонку, едва проносилось мимо — словно лик, отраженный десятком тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, — бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое,

новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, кого *он* еще не видел.

И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, — как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло.

— Выходите из лодки, ну! — скомандовал Сполдинг.

Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.

— Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю.

— Стой, — вмешался полицейский, — он арестован! Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство.

— Нет, нет! — всхлипнула женщина. — Это мой муж! Что уж я своего мужа не знаю?!

Другие голоса твердили свое. Толпа напирала.

Миссис Лафарж заслонила собой Тома.

— Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!

А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая.

Том закричал.

Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый их призыв заставлял его лицо преображаться.

— Том! — звал Лафарж.

— Алиса! — звучал новый зов.

— Уильям!

Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.

Он лежал на камнях — застывал расплавленный воск, и в его лице были все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая.

Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.

- Он умер, — сказал кто-то наконец.

Пошел дождь.

Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо.

Они отвернулись и сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него.

Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты.

Энн молча начала плакать.

— Поехали домой, Энн, тут уж ничего не поделаешь, — сказал старик.

Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом, и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.

— Тсс, — вдруг произнес Лафарж среди ночи. — Ты ничего не слышала?

— Нет, ничего...

— Я все-таки погляжу.

Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить.

Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу.

Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор.

Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

Ноябрь 2005

«ДОРОЖНЫЕ ТОВАРЫ»

Уж очень далеской она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо.

На Земле назревала война.

Он вышел и посмотрел на небо.

Вот она, Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.

— Не могу поверить, — сказал лавочник.

— Это потому, что вы не там, — заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.

— Как это понять, святой отец?

— Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не верилось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже

когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.

— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?

— Повернут назад, наверно.

— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я, сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут.

— Думаете, если это та Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?

— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она как бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.

— Вряд ли.

— Пожалуй что, вы правы.

Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.

— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался...

Ноябрь 2005

МЕРТВЫЙ СЕЗОН

Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.

— Вот и все! — сказал он. — Прошу, сэр, полюбуйтеесь! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску. «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?

— Правда, Сэм, — подтвердила его супруга.

— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!

Жена смотрела на него и молчала.

— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец. — Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить — как его фамилия?..

— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера... На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдастся мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!

Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.

Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.

— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101-го Сеттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?

Жена разглядывала свои ногти.

— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.

— Не пройдет и месяца, — уверенно ответил он. — Чего ты кривишься?

— Не очень-то я полагаюсь на эту публику, там, на Земле, — ответила она. — Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.

— Покупателей, — он посмаковал это слово. — Сто тысяч голодных клиентов!

— Только бы не было атомной войны, — медленно произнесла жена, глядя на небо. — Эти атомные бомбы покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.

Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать.

Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:

— Сэм, тут к тебе приятель явился.

Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.

— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.

Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развевалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.

— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.

— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напущу!

— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.

— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне! Ни с того ни с сего. Да еще по два раза на день.

— Мы не причиним вам зла.

— Зато я вам причиню! — сказал Сэм, пятясь. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг на тебе — я им понадобился. Оставьте меня в покое.

— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.

— Если насчет участка, так он мой. Я построил сосисочную собственными руками.

— В известном смысле да, по поводу участка.

— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.

— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?

— Мой приемник скис.

— Значит, вам ничего не известно. Очень важные новости. Это касается Земли.

Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.

— Позвольте показать вам вот это.

— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.

Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске.

Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.

У Сэма перехватило дыхание.

Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.

— Это не оружие, — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. — Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — всё одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?

— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам. — Ну как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату!

— Что ты собираешься делать?

— Закопать его, что же еще?

— Не надо было убивать его.

— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!

Она молча принесла ему лопату.

К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.

— Жаль, конечно, что так получилось, — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. — Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.

— Да, — сказала жена.

— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.

— Какое оружие?

— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!

— Тсс, — произнесла Эльма, поднося палец к губам.

— Тсс.

— А мне наплевать, — сказал он. — Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, инкорпорейтед» вступит-ся, если что! — Он презрительно фыркнул. — Да эти марсиане и не посмеют...

— Смотри, — перебила его Эльма.

Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.

— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.

— Вот они и пришли, — сказала Эльма.

По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять-двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.

— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.

— И все-таки это, похоже, их корабли, — сказала она.

— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!

— Не осталось... — повторила она, кивая в сторону моря.

— Живо, нам надо убраться отсюда!

— Почему? — протяжно спросила она, заворуженно глядя на марсианские корабли.

— Они убьют меня! В машину, скорей!

Эльма не двигалась с места.

Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.

— Грузовик вроде не на ходу, — заметила Эльма.

— Песчаный корабль! Садись скорей!

— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О, нет.

— Садись! Я умею!

Он втолкнул ее, вскочил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу.

Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.

— Есть!

И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрусталя, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок

мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше... Очертания марсианских кораблей становилось все меньше, пока они не помчались за Сэмом.

— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!

— Они могли задержать тебя, если бы захотели, — устало ответила Эльма. — Просто им это не очень нужно.

Он засмеялся.

— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!

— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.

Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горящими чурками гикори, нечто подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.

Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.

На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие, как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овеивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.

— Поверните назад, — сказала она.

— Нет. — Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе, он колебался на грани между страхом и злобой. — Прочь с моего корабля!

— Это не ваш корабль, — ответило видение. — Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда море улетучилось и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.

— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился. — Прыгай, считаю до трех...

— Не надо! — вскричала девушка. — Я вам ничего дурного не сделала. И другие тоже. Мы пришли с миром!

— Раз, — молвил Сэм.

— Сэм! — сказала Эльма.

— Выслушайте меня, — просила девушка.

- Два, — жестко произнес Сэм, взводя курок.
- Сэм! — крикнула Эльма.
- Три, — сказал Сэм.
- Мы только... — начала девушка.

Пистолет выстрелил.

В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное. От выстрела, от огня, от удара девушка пала, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сидение опустело.

Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену. Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.

— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.

Он обратил к ней бледное лицо.

— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.

Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.

— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.

Он замотал головой, сжимая пальцами руль.

— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!

— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.

— Эльма, выслушай меня.

— Тебе нечего сказать, Сэм.

— Эльма!

Они проносились мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.

— Я им покажу! Я всем покажу!

— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.

— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним расправляюсь.

А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже

не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами. Они стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.

Раз, два, три... Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.

— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!

Эльма не ответила, даже не пошевелилась.

Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.

Но остальные корабли продолжали приближаться.

— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!

Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.

— Землянин, — воззвал голос откуда-то с высоты.

Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.

— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.

На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста — ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскресших кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.

— Все это недоразумение, — взмолился он, привстав над бортом; жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю

вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.

Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.

— Сдаюсь.

— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.

— Что?

— Ваш пистолет. — Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука. — Возьмите его. Уберите.

Он, все еще не веря, подобрал пистолет.

— А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку.

— Сейчас же?

— Сейчас же, — сказал голос. — Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами.

Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья-паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то был в ладони. Маски сверкали, поворачивались, холодным пламенем выжигали тени.

— Эльма! — Сэм неуклюже взобрался на корабль. — Поднимайся, Эльма. Мы возвращаемся. — Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять. — Они мне ничего не сделают, не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай.

— Что... Что? — Эльма растерянно озиралась, и, пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне, поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова.

Песок под кораблем убежал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка, корабли отшвартовались, и все сошли с кораблей.

Перед Сэмом и Эльмой остановился Глава марсиан: маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорезь, из которой плыли по ветру слова.

— Снаряжайте вашу лавку, — сказал голос. В воздухе мелькнула рука в алмазной перчатке. — Готовьте яства, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь!

— Стало быть, — заговорил Сэм, — вы разрешите мне остаться здесь?

— Да.

— Вы на меня не сердитесь?

Маска была сурова и жестка, бесстрашна и слепа.

— Готовьте свое кормилице, — тихо сказал голос. — И возьмите вот это.

— Что это?

Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.

— Это дарственная на все земли от серебряных гор до голубых холмов, от мертвого моря до далеских долин, где лунный камень и изумруды, — сказал Глава.

— Все м-мос? — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.

— Ваше.

— Сто тысяч квадратных миль?

— Ваши.

— Ты слышала, Эльма?

Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной; глаза ее были закрыты.

— Но почему, с какой стати вы мне дарите все это? — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз.

— Это не все. Вот.

Еще шесть свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель.

— Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса! — Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом. — Эльма, ты слышала?

— Слышала, — ответила Эльма, глядя на небо.

Казалось, она что-то разыскивает. Апатия мало-помалу оставляла ее.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал Сэм бронзовой маске.

— Это произойдет сегодня ночью, — ответила маска.

— Приготовьтесь.

— Ладно. А что это будет — неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока? Все десять тысяч ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими и их женами, сто тысяч человек, как говорили? Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил, говорил, что в этом поселке одной тысячей жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще пятьдесят тысяч через месяц — еще сто тысяч, а всего к концу года — пять миллионов с Земли! И на самой

оживленной магистрали на пути к рудникам — единственная сосисочная, моя сосисочная!

Маска парила на ветру.

— Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам.

В летучем лунном свете древние корабли — металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки — повернули и заскользили по зыбким пескам, и маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.

— Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь? — Он потряс ее за плечо. — Половина Марса — моя!

Она глядела на небо и ожидала чего-то.

— Пошли, — сказал он. — Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогревать булочки, персичный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, и чтобы чистота была — ни единого пятнышка! Эге-гей! — Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки. — Я счастлив, парень, счастлив, сэр, — запел он фальшивя. — Сегодня мой счастливый день!

Он работал, как одержимый: бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, крошил лук.

— Ты слышала, что сказал тот марсианин — неожиданность, говорит! Тут только одно может быть, Эльма. Эти сто тысяч человек прилетают раньше срока, сегодня ночью прилетают! Представляешь, какой у нас будет наплыв! До поздней ночи будем работать, каждый день, а там ведь еще туристы нахлынут, Эльма! Деньги-то, деньги какие!

Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.

— С минуты на минуту, — произнес он, радостно вдохнул прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. — А-ах!

Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба.

Прошло полчаса.

— Сэм, — сказала она. — Вон она. Гляди.

Он поглядел и увидел.

Земля. Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла Земля.

— Старушка Земля, — с нежностью прошептал он. — Дорогая старушка Земля. Шли сюда, ко мне, своих голодных и изнуренных. Э-э... как там в стихе говорится?

Шли ко мне своих голодных, Земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут, горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Да!

Он отошел в сторону полюбоваться своим детищем. Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря, единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполнском черном теле.

Он даже растрогался, глаза увлажнились от гордости.

— Тут поневоле смиренным проникнешься, — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. — Подходите, — обратился он к звездам, — покупайте. Кто первый?

— Сэм, — сказала Эльма.

Земля в черном небе вдруг преобразилась.

Она воспламенилась.

Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц — будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту Земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съежилась.

— Что это было? — Сэм глядел на зеленый огонь в небесах.

— Земля, — ответила Эльма, прижав руки к груди.

— Какая же это Земля, это не может быть Земля! Нет-нет, не Земля! Не может быть.

— Ты хочешь сказать: не могла быть? — сказала Эльма, смотря на него. — Теперь это уже не Земля, да, это больше не Земля — ты это хотел сказать?

— Не Земля, нет-нет, это была не она, — выл он.

Он стоял неподвижно, руки повисли как плети, рот открыт, тупо вытаращены глаза.

— Сэм, — позвала она. Впервые за много дней ее глаза оживились. — Сэм!

Он смотрел вверх, на небо.

— Что ж, — сказала она. С минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце. — Включай свет, больше света, заводи радиолу, раскрывай двери настужь! Жди новую партию посетителей — примерно через миллион лет. Да-да, сэр, чтобы все было готово.

Сэм не двигался.

— Ах, какое бесподобное место для сосисочной! — Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами. — Скажу тебе по секрету, Сэм, — прошептала она, наклоняясь к нему. — Похоже, начинается мертвый сезон...

НАБЛЮДАТЕЛИ

В тот вечер все вышли из своих домов и устались на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непривычно; они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она — Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетюшек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли; это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса: прямо противоположная задача. В общем-то Земля была для них все равно что мертвой. Они расстались с ней три или четыре года назад. Расстояние обезболивало душу, семьдесят миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали, Земля вновь стала обитаемой, память пробудилась, и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имярек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга.

В десять часов Земля как будто взорвалась и вспыхнула.

Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.

Они ждали.

К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.

— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.

— А что ему делается.

— Надо бы послать весточку маме.

— Она жива-здоровая.

— Ты уверен?

— Ладно, ты только не тревожься.

— Думаешь, с ней ничего не приключилось?

— Конечно же, пошли-ка спать.

Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали вспышки морзянки, и они читали:

АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ
НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ БОМБАРДИРОВКЕ.
ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ, ДОМОЙ, ДОМОЙ.

Они поднялись из-за столов.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ. ДОМОЙ, ДОМОЙ.

— Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?

— Будто не знаешь: послать письмо на Землю стоит пять монет. Не очень-то распишешься.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ.

— Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?

ДОМОЙ.

В три часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.

— А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер? К рассвету все полки магазина опустели.

Декабрь 2005

БЕЗМОЛВНЫЕ ГОРОДА

На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволоочных рейках у входов в немые закусочные нечистые, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли.

Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамо-машинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, тскла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилспленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов.

За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монету в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк. А то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы. И ящичек выскочит, сверкая и бренча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле...

По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами.

Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой принск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах, и раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину!

Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом.

— Будет сделано! — крикнул он.

Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовой. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток!

Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку десятидолларовыми бумажками и побегал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез десятидолларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника один доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай.

Вечером он наслаждался жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелсвый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат-радиолу, которая заиграла «Нашу старую шайку». Насовал пятак в двадцать автоматов по всему городу. Печальные звуки «Нашей старой шайки» заполнили ночь и пустынные улицы, а он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки.

С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-Авеню, утром вставал в девять, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса,

овощей, пирогов с лимонным кремом — запасая себе продукты лет на десять, пока не вернутся с Земли ракеты. Если они вообще вернутся.

А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах — розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил.

— Черт возьми, — сказал он. — Я же совсем один.

Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе, по огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он ринулся прочь из этого логова нечистой силы.

Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулка, когда услышал телефонный звонок.

Он прислушался.

«Где-то звонит телефон».

Он продолжал идти вперед.

«Сейчас кто-нибудь возьмет трубку», — лениво подумалось ему.

Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка.

И вдруг крикнул, вскакивая на ноги:

— Кто-нибудь! Силы небесные, да что это я!

Он лихорадочно озирался. В каком доме? Вон в том!

Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл.

Сорвал с рычага трубку.

— Алло! — крикнул он.

Зззззззззззззз.

— Алло, алло!

Уже повесили.

— Алло! — заорал он и стукнул по аппарату. — Идиот проклятый! — выругал он себя. — Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица! — Он стиснул руками телефонный аппарат. — Ну, позвони еще раз! Ну же!

До сих пор ему и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот.

Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящик. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса. Их тридцать — из которого звонили?

Он не знал.

Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее.

— Да там никого и не было, — пробурчал он. — Наверно, ветер где-то повалил телефонный столб и нечаянно получился контакт.

Но ведь он слышал щелчок, точно кто-то на том конце повесил трубку?

Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле.

— И вовсе не из-за телефона, — уверял он себя. — Просто мне больше нечего делать.

Он прислушался к тиканью своих часов.

— Она не позвонит больше, — сказал он. — *Ни за что* не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверно, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе! А я сижу здесь... Постой! — Он усмехнулся. — Почему я говорю «она»?

Он растерянно заморгал.

— С таким же успехом это мог быть и «он», верно?

Сердце угомонилось. Холодно и пусто, очень пусто.

Ему так хотелось, чтобы это была «она».

Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра.

Прислушался. Ни звука. Ни одной птицы. Ни одной автомашины. Только сердца стук. Толчок — перерыв — толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака.

— Тсс, — прошептал он. — *Слушай!*

Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой.

Она будет набирать номер за номером, думал он. Это должна быть женщина. Почему? Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет! Даже в голову не приходило. «Это должна быть женщина. Непременно должна, видит бог!»

Слушай.

Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон.

Он побежал. Остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов. Громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче! Миновал шесть домов, еще шесть! Совсем громко! Вот этот? Дверь была заперта.

Внутри звонил телефон.

— А, черт! — Он дергал дверную ручку.

Телефон надрылся.

Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом.

Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту.

Вконец обессилев, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. Пятьдесят тысяч фамилий.

Начал с первой фамилии.

Амелия Амз. Нью-Чикаго, за сто миль, по ту сторону мертвого моря. Он набрал номер.

Нет ответа.

Второй абонент жил в Нью-Нью-Йоркс, за голубыми горами, пять тысяч миль. Нет ответа.

Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой; дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку.

Женский голос ответил:

— Алло?

Уолтер закричал в ответ:

— Алло, господа, алло!

— Это запись, — декламировал женский голос. — Мисс Элен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно, будет записано на пленку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло? Это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно...

Он повесил трубку.

Его губы дергались.

Подумав, он набрал номер снова.

— Когда мисс Элен Аразумян вернется домой, — сказал он, — передайте, чтобы катилась к черту.

Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там скорее всего можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться, потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе. Обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши!

Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Ну, конечно же! Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой!

Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку.

Женский голос сказал:

— Алло?

— Если это запись, — отчеканил Уолтер Грипп, — я приеду и взорву к чертям ваше заведение.

— Это не запись, — ответил женский голос. — Алло! Алло, неужели тут *есть* живой человек! Где вы?

Она радостно взвизгнула.

Уолтер чуть не упал со стула.

— Алло!.. — Он вскочил на ноги, сверкая глазами. — Боже мой, какое счастье, как вас звать?

— Женеьева Селзор! — Она плакала в трубку. — О, господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!

— Я Уолтер Грипп!

— Уолтер, здравствуйте, Уолтер!

— Здравствуй, Женеьева!

— Уолтер. Какое чудесное имя. Уолтер, Уолтер!

— Спасибо.

— Но *где же вы*, Уолтер?

Какой милый, ласковый, нежный голос... Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги. Горели щеки.

— Я в Мерлин-Вилледж, — сказал он. — Я...

Зззз.

— Алло? — оторопел он.

Зззз.

Он постучал по рычагу. Ничего.

Где-то ветер свалил столб. Женеьева Селзор пропала так же внезапно, как появилась.

Он набрал номер, но аппарат был нем.

— Ничего, теперь я знаю, где она.

Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил заднее сиденье взятыми в доме продуктами и со скоростью восьмидесяти миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. Тысяча миль, подумал он. Терпи, Женеьева Селзор, я не заставлю тебя долго ждать!

Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу.

На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам.

Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал: Женеьева. Потом тихо запел. *«О Женеьева, дорогая, — пускай бежит за годом год. Но, дорогая Женеьева...»* На

душе было тепло. В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос: «Алло, о, алло, Уолтер! Это не запись. Где ты, Уолтер, где ты?»

Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету — прикоснулся к ней. Ветер разведал длинные черные волосы, чудные волосы. А губы — как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело будто легкий светлый туман, а мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки: «О Женеваева, дорогая, — пускай бежит за годом год...»

Он уснул.

Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь.

Оставил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул.

Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом.

Ничего подобного не произошло.

— Уснула. — Он пошел к двери. — Я уже тут! — крикнул он. — Алло, Женеваева!

Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом.

Он распахнул стеклянную дверь и вошел.

— Эгей! — Он смущенно рассмеялся. — Не прячься! Я знаю, что ты здесь!

Он обыскал все кабинки.

Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало.

— Женеваева, — произнес он.

Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел.

— Если ты вздумала подшутить...

Он сбавил ход.

— Постой-ка, нас разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда?! Свернула, наверно, на древнюю Морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня! А я здесь торчу, силы небесные, какой же я идиот!

Он нажал клаксон и пулей вылетел из города.

Он гнал всю ночь. И думал: «Что если я не застаю ее в Мерлин-Вилледж?»

Вон из головы эту мысль. Она должна быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует — один раз — в губы.

«Женевьева, дорогая», — насвистывал он, выжимая педалью сто миль в час.

В Мерлин-Вилледж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни; автомат, который играл сто часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк; безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо.

Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном, по шесть раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое, руки скользили по мокрой от пота баранке.

— Женевьева! — зывал он к пустынной улице.

Отворилась дверь косметического салона.

— Женевьева! — Он поставил машину и побежал через улицу.

Женевьева Селзор стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые, белые пальцы. Лицо — он увидел его, войдя в полосу света, — было круглое и толстое, глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги — толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы — неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе, их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки.

Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел.

Она уронила конфеты на тротуар.

— Вы Женевьева Селзор? — У него звенело в ушах.

— Вы Уолтер Грифф? — спросила она.

— Грипп.

— Грипп, — поправилась она.

— Здравствуйте, — выдавил он из себя.

— Здравствуйте. — Она пожала его руку.

Ее пальцы были липкими от шоколада.

— Ну, — сказал Уолтер Грипп.

— Что? — спросила Женевьева Селзор.

— Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер.

— А-а.

Девять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе-миньон, но Женевьева нашла, что оно недожарено, тогда Уолтер решил дожарить его и то ли пережарил, то ли пережог, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал:

— Пошли в кино!

Она сказала «ладно» и взяла его под руку липкими, шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом пятидесятилетней давности с Кларком Гейблом.

— Вот ведь умора, да? — хихикала она. — Ох, *умора!* Фильм кончился.

— Крути еще раз, — велела она.

— Снова? — спросил он.

— Снова, — ответила она.

Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.

— Ты совсем не то, что я ожидала, но все же ничего, — призналась она.

— Спасибо, — сказал он, чуть не подавившись.

— Ах, этот Гейбл. — Она ущипнула его за ногу.

— Ой, — сказал он.

После кино они пошли по безмолвным улицам «за покупками». Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку.

— Сколько тебе лет? — поинтересовался он.

— Угадай. — Она вела его по улице, капая на асфальт духами.

— Около тридцати? — сказал он.

— Вот еще, — сухо ответила она. — Мне всего двадцать семь, чтоб ты знал! Ой, вот еще кондитерская! Честное слово, с тех пор как началась эта заваруха, я живу, как миллионерша. Никогда не любила свою родню, так, болваны какие-то. Улетели на Землю два месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь — лей на себя духи, сколько хочешь, пей пиво, сколько влезет, ешь конфеты, и нскому тебе твердить: «Слишком много калорий!» Потому я *тут*.

— Ты тут. — Уолтер зажмурился.

— Уже поздно, — сказала она, поглядывая на него.

— Да.

— Я устала, — сказала она.

— Странно. У меня ни в одном глазу.

— О, — сказала она.

— Могу всю ночь не ложиться, — продолжал он. — Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу.

— Я устала. — Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.

— А я — как огурчик, — ответил он. — Просто удивительно.

— Пойдем в косметический салон, — сказала она. — Я тебе кое-что покажу.

Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.

— Когда я уезжала из Тексас-Сити, — объяснила она, — захватила с собой вот это. — Она развязала розовую ленточку. — Подумала: ведь я единственная дама на Марссе, а он единственный мужчина, так что...

Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.

— Вот.

Уолтер Грипп вытаращил глаза.

— Что это? — спросил он, преодолевая дрожь.

— Будто не знаешь, дурачок? Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное...

— Ей-богу, не знаю, что это.

— Свадебное платье, глупенький!

— Свадебное? — Он охрип.

Он закрыл глаза. Его голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда, в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее...

Он попытался.

— Очень красиво, — сказал он.

— Правда?

— Женевьева. — Он покосился на дверь.

— Да?

— Женевьева, мне нужно тебе кое-что сказать.

— Да?

Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами.

— Хочу сказать тебе... — продолжал он.

— Ну?

— До свидания!

Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину.

Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.

— Уолтер Грифф, вернись! — прорыдала она, вскинув руки.

— Грипп, — поправил он.

— Грипп! — крикнула она.

Машина умчалась по безмолвной улице, не свизирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли

яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке.

Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущее мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал — целую неделю, и еще один день, пока не оказался за десять тысяч миль от Мерлин-Вилледж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвиль-Спрингс, с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там; у него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на сто, запас сигарет на десять тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом.

Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон — он не отвечает.

Апрель 2026

ДОЛГИЕ ГОДЫ

Так уж повелось: когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хэтэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на Земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту.

Шел двадцатый год после Большой Войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтэуэй и его семья часто размышляли об этом.

В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок, заброшенного американского города.

Но вот буря утихла, прояснилось, и Хэтэуэй вышел посмотреть на Землю — зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше ввернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души, — подумал он. — Один я. И они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги.

Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой тридцатидюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. «Что ж, если я буду беречь себя, — подумал он, — еще лет двадцать проживу». Глядишь, кто-нибудь явится. Либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени.

— Я пойду погуляю, — крикнул он в дверь.

— Хорошо, — отозвалась жена.

Он не спеша пошел вниз между рядами развалин.

— «Сделано в Нью-Йорке», — прочитал он на куске металла. — Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли...

И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже пятьдесят веков стояло марсианское селение.

Он пришел на уединенное марсианское кладбище: небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овеваемом пустынными ветрами.

Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста, и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли.

— Ты простишь меня за то, что я сделал? — спросил он один из крестов. — Я был очнь, очень одинок. Ведь ты понимаешь?

Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони.

— Все ждешь и ждешь, и смотришь, — пробормотал он, — и, может быть, однажды ночью...

В небе горел красный огонек.

Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери.

— Смотришь еще раз... — прошептал он.

Красный огонек горел в том же месте.

— Вчера вечером его не было, — прошептал он.

Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо.

Через минуту — после долгого иступленного взгляда на небо — он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить.

— У меня хорошие новости, — сказал он. — Я смотрел на небо. Сюда летит ракета, она заберет всех нас домой. Рано утром будет здесь.

Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал.

В три часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Йорка.

Взял факел, пошел в этот город из пластика, и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю — такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хстэуэю и его семье.

Он вернулся в дом; сердце билось болезненно и часто.

— Видите? — Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. — Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок и кто-нибудь найдет нас! Выпьем же и порадуемся!

Он наполнил пять бокалов.

— Да, немало времени прошло... — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. — Помните день, когда разразилась война? Двадцать лет и семь месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети — мы были в это время в горах, занимались архсологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть до смерти не загнали наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших, — помнишь, помнишь? А потом оказалось, что отстали-то *только мы*, помнишь? Боже мой, сколько лет минуло. Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас. — Он поднял бокал. — И за наше долгое совместное ожидание.

Он выпил вино.

Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы. И у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам.

К рассвету все, что осталось от города, вестер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута: красное пятнышко на небе стало расти.

Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хстэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро.

— Мы приготовим им роскошный завтрак. — Хстэуэй радостно рассмеялся. — Надевайте свои лучшие наряды!

Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которые он за эти годы починил и наладил своими искусными, тонкими, нервными

пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать.

Он извлек из морозильника седые от инея коробки с бобами и клубничкой двадцатилетней давности. «Вылезай, несчастный», — и достал холодного цыпленка.

Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами.

Словно мальчишка, Хетэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки.

Он остановился в жарком мареве, источасмом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек.

Хетэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал: — Капитан Уайлдер!

— Кто это? — спросил капитан Уайлдер. — Он прыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. — Господи, да это же Хетэуэй!

— Совершенно верно, это я.

— Хетэуэй из моего первого экипажа, из Четвертой экспедиции.

Они внимательно оглядели друг друга.

— Давненько мы расстались, капитан.

— Очень давно. Я рад вас видеть.

— Я постарел, — сказал Хетэуэй без обиняков.

— Я и сам уже не молод. Двадцать лет мотался: Юпитер, Сатурн, Нептун.

— Как же, слышал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. — Старик огляделся. — Вы столько путешествовали, наверное, не знаете даже, что произошло...

— Догадываюсь, — ответил Уайлдер. — Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас, нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп, в десяти тысячах миль отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер, даже марсиан не осталось. А как Земля?

— Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удастся разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?

— Да. Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на Землю.

— Вы возьмете нас с собой?

Капитан на миг опешил.

— Ах, да, разумеется, у вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, двадцать пять лет назад, верно? Когда построили Первый Город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети...

— Сын, две дочери...

— Да-да, припоминаю. Они здесь?

— В нашей лагуне, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?

— Сочтем за честь, мистер Хетэуэй. — Капитан Уайлдер повернулся к ракете. — Остановить корабль!

Они шли вверх по откосу — Хетэуэй и капитан Уайлдер, за ними еще двадцать человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный разреженный воздух. Показалось солнце, день выдался ясный.

— Помните Спендера, капитан?

— Никогда не забывал...

— Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло все, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались.

— А этот... как его? Паркхилл, Сэм Паркхилл, что с ним стало?

— Открыл сосисочную.

— Похоже на него.

— А через неделю — война, и он вернулся на Землю. — Хетэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. — Простите. Переволновался. После стольких лет — и вдруг встреча с вами. Отдохну немного.

Он почувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс, скверно...

— У нас есть врач. — сказал Уайлдер. — Не обижайтесь, Хетэуэй, я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим...

Позвали доктора.

— Сейчас пройдет, — твердил Хетэуэй. — Это все ожидание, волнение.

Он задыхался. Губы посинели.

— Понимаете, — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, — ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на Землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы.

— Вот. — Доктор подал ему желтую таблетку. — Вам бы лучше тут отдохнуть подольше.

— Ерунда. Еще чуточку посижу, и все. До чего я рад видеть вас всех. Рад слышать новые голоса.

— Таблетки действуют?

— Отлично. Пошли!

Они поднялись на горку.

— Алиса, погляди, кого я привел! — Хетэуэй нахмурился и просунул голову в дверь. — Алиса, ты слышишь?

Появилась его жена. Следом вышли две дочери, высокие, стройные, за ними еще более рослый сын.

— Алиса, помнишь капитана Уайлдера?

Она замаялась, посмотрела на Хетэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась.

— Ну, конечно, капитан Уайлдер!

— Помнится, миссис Хетэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер.

Она горячо пожала ему руку.

— Мои дочери, Маргарет и Сьюзен. Мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?

Рукопожатия, смех, оживленная речь.

Капитан Уайлдер потянул носом.

— Неужели имбирные пряники?

— Хотите?

Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хетэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумнодвигающихся высоких дочерей. Рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких, без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хетэуэй.

— Сколько вам лет, Джон?

— Двадцать три, — ответил тот.

Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему:

— Капитан Уайлдер, тут что-то не так.

Сын пошел за стульями.

— Что вы хотите сказать, Уильямсон?

— Мне сорок три года, капитан. Двадцать лет назад я учился вместе с молодым Хетэуэем. Он говорит, что ему теперь всего двадцать три, но это одна *видимость*. Это все неправильно. Ему должно быть сорок два, самое малое. Что все это значит, сэр?

— Не знаю.

— На вас лица нет, сэр.

— Мне нездоровится. И дочери тоже — я их видел лет двадцать назад, а они не изменились, ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего десять минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились.

— Прошу! О чем это вы так серьезно разговариваете? — Миссис Хетэуэй проворно налила супу в их миски. — Улыбнитесь же! Мы все вместе опять, путешествие завершено, вы почти дома!

— Да-да, конечно. — Капитан Уайлдер засмеялся. — Вы так чудесно, молодо выглядите миссис Хетэуэй!

— Ах, эти мужчины!

Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разругавшееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелки, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей.

Уильямсон сбегал вниз по склону

— Куда это он?

— Проверить ракету, — ответил Уайлдер. — Так вот, Хетэуэй, на Юпитере ничего нет человеку там делать нечего. На Сатурне и Плуtone — тоже...

Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса; он думал только об одном: сейчас Уильямсон бежит вниз, скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ...

— Спасибо.

Маргарет Хетэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело.

Сидевший против капитана Хетэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченный взгляд на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия.

Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду пока капитан не шепнул через плечо:

— Ну?

— Я нашел это место, сэр.

— Ну, ну?

Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот.

Уильямсон сказал:

— Я прошел на кладбище.

— Видели четыре креста?

— Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться. — Он стал читать по белой бумажке: — Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хетэуэй. Умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года.

— Спасибо, Уильямсон. — Уайлдер закрыл глаза.

— Девятнадцать лет назад, сэр. — Рука Уильямсона дрожала.

— Да.

— Но кто же *эти*?

— Не знаю.

— Что вы собираетесь предпринять?

— Тоже не знаю.

— Расскажем остальным?

— Попозже. Продолжайте есть, как ни в чем не бывало.

— Мне что-то больше не хочется, сэр.

Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хетэуэй встал.

— За ваше здоровье. Я так рад быть вместе с друзьями. И еще за мою жену и детей — без них, в одиночестве, я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета.

Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев; они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза.

Хетэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустил на колени и взял руку старика.

— Уайлдер? — голос Хетэуэя был едва слышен. — Я испортил вам завтрак.

— Чепуха.

— Прощайтесь за меня с Алисой и детьми.

— Сейчас я их позову.

— Нет-нет, не надо! — задыхаясь, прошептал Хетэуэй.

— Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали! Не надо!

Уайлдер повиновался.

Хетэуэй умер.

Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хетэуэя. Он подошел к Алисе Хетэуэй, глянул ей в лицо и сказал:

— Вы знаете, что случилось?

— Что-нибудь с моим мужем?

— Он только что скончался: сердце. — Уайлдер следил за выражением ее лица.

— Очень жаль, — сказала она.

— Вам не больно? — спросил он.

— Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль.

Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые маникюренные ногти, тонкие запястья. Посмотрел на ее длинную, нежную белую шею и умные глаза. Наконец сказал:

— Мистер Хетэуэй великолепно сделал вас и детей.

— Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть.

— С вами ему было легче.

— Да, из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку — всюду загораются огни и город начинает шуметь, точно в нем десять тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хетэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, и он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара — и мистер Хетэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать — чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю даже, он сам того хотел.

— Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят четыре креста. Думаю, это отвечает его желанию.

Она легко коснулась рукой его запястья.

— Я уверена в этом.

Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножью холма; семья следовала за ней. Двое несли Хетэуэя на крытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хетэуэй много лет назад начинал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской.

Каково это, спрашивал он себя, жить на планете с женой и тремя детьми — и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием? Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет, частица за частицей, то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все что угодно.

Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу.

Они вернулись к ракете под вечер.

Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.

— Что будем делать с *ними*?

— Не знаю, — сказал капитан.

— Может, вы их выключите?

— Выключить? — Капитан несколько удивился. — Мне это не приходило в голову.

— Но вы же не повезете их с собой?

— Нет, это ни к чему.

— Неужели вы хотите оставить их здесь вот *таких*, какие они есть?

Капитан протянул Уильямсону пистолет.

— Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня.

Пять минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги, весь в испарине.

— Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне. И остальные. Жена предложила мне чашку чая. Боже мой, это было бы просто убийство!

Уайлдер кивнул.

— Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия — десять, пятьдесят, двести лет. Так-то... У них ничуть не меньше прав... на

жизнь, чем у вас, меня, любого из нас. — Он выбил пепел из трубки. — Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится.

День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж был уже на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил:

— Уж не собираетесь ли вы сходить э-э... попрощаться с ними?

Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.

— Не ваше дело.

Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку.

Спустя минуту он бегом вернулся к ракете.

По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет; ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры — женщина, две дочери и сын — не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются.

Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя Земли, не понимая, зачем она это делает; потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.

Август 2026

БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ

В гостиной говорящие часы настойчиво пели: *тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора!* — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: *девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!*

На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.

— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы лучше запомнили. — Сегодня день

рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.

Где-то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты-памятки.

Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблучков по коврам.

На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень...» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.

Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина... Минута, другая дверь опустилась на место.

В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.

Десять пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться.

Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.

Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видимое на много миль вокруг.

Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив лаковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение... Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча; напротив

мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.

Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.

Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света...

Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня! Как бдительно он спрашивал: «Кто там? Пароль?» И не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с одержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, — если у механизмов может быть паранойя.

Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!

Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.

Двенадцать.

У парадного крыльца заскулил продрогший пес.

Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!

Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стальные панели мигом приподнимались и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.

Пес побежал вверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.

Он принялся и поскреб кухонную дверь, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.

Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.

Два часа, — пропел голос.

Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.

Два пятнадцать.

Пес исчез.

Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.

Два тридцать пять.

Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.

Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.

В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.

Половина пятого.

Стены детской комнаты засветились.

На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчанье сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.

Время детской передачи.

Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.

Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.

Девять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.

Девять поль пять. В кабине с потолка донесся голос:
— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?

Дом молчал.

Наконец голос сказал:

— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.

Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.

— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь...

Будет ласковый дождь, будет запах земли,
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах,
И цветение слив в белопенных садах;
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор,
И никто, и никто не вспомнит войну:
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если стинет с Земли человеческий род.
И Весна... и Весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.

В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немного пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.

В десять часов наступила агония.

Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!

— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горячая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил:

— Пожар! Пожар! Пожар!

Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.

Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.

Еще из стен, семена, выбегали сусливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки.

Огонь потрескивал, пожирал ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.

Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивая портьеры!

Но тут появилось подкрепление.

Из чердачных люков вниз утаивались незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии.

Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.

Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.

Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.

Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.

В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали...

Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огненной лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, металась по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-уборщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос

с полнейшим пренебрежением к происходящему громко декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.

И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.

На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!

Грохот. Чердак провалился в кухню и гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.

Дым и тишина. Огромные клубы дыма.

На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:

— Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня...

Октябрь 2026

КАНИКУЛЫ НА МАРСЕ

Эту мысль почему-то высказала мама — а не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамины. Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама.

Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трос мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке — из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму.

Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук. Вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед, под дружные крики «ура»!

Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей

маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далсковато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса и вот с места в карьер отправились — во всяком случае, так было сказано — на рыбалку.

Лодка неслась по каналу... Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, а не хмурились и не скорбели.

Новый поворот канала — и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.

— А мы далеко едем?

Роберт шлепал рукой по воде — будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади.

Отец вздохнул:

— За миллион лет.

— Ух ты! — удивился Роберт.

— Поглядите, дети. — Мама подняла длинную гибкую руку. — Мертвый город.

Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов.

У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв.

Город: хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше — опять песок, песок, миля за милей... Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним.

Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез.

Папа даже изменился в лице от испуга.

— Мне почудилось, что это ракета.

Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть Землю, и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой.

Уильямс Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки.

Он улыбнулся сыну:

— Ну, как оно, Тимми?

— Отлично, папа.

Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим, шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома, на Земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.

— Что ты так высматриваешь, пап?

— Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность.

— И как — увидел?

— Нет. Не нашел. Их больше нет на Земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.

— Это как же?

— Смотри, смотри, вон рыба, — показал отец.

Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась, так дружно они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты, вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадали съедобные крупинки.

— В точности как война, — глухо произнес отец. — Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг — и Земли нет.

— Уильям, — сказала мама.

— Извини.

Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеной стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.

— А когда мы увидим марсиан? — воскликнул Майкл.

— Скоро, — заверил его отец. — Может быть, вечером.

— Но ведь марсиане все вымерли, — сказала мама.

— Нет, не вымерли, — не сразу ответил папа. — Я покажу вам марсиан, точно.

Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые.

А его братья уже уставились из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан.

— Какие они? — допытывался Майкл.

— Узнаешь, когда увидишь. — Отец вроде усмехнулся, и Тимоти приметил, как у него подергивалась щека.

Мама была хрупкая и нежная, золотая коса лежала тигрой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах — словно рыбы, одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые, а иногда — скажем, если она глядела на небо, туда, где Земля, — в глазах ничего не было, один только цвет... Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник.

Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу; в его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость, и напряжение спало с ее лица, она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего искать.

Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые — встряхни их, загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. Сто, двести городов, видящих летнис сны — жаркие днем и прохладные ночью...

Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется поехали на каникулы! А для чего все эти продукты — хватит с лихвой не на один год, — которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы! Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, — что может занимать мальчишек в десять и восемь лет?

— Ну, где же марсиане? Дураки какие-то! — Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал.

У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке: прижми его к голове, возле уха, и радио начнет вибрировать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз

сейчас папа слушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших марсианских городов — угрюмое, изможденное, безжизненное.

Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись.

— Что... — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил.

Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два громадных друга на друга исполинских взрыва, за которыми последовало несколько толчков послабее.

Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл испуганно и восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя как мимо самого его носа летят быстрые струи.

Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал, к древнему полуразрушенному каменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась носом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся, а отец уже смотрел, обернувшись, не осталось ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрылись. По глади канала разбегались длинные волны; облизав камень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все смешалось в игре солнечных бликов, потом рябь исчезла.

Папа прислушался. Они все прислушались.

Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары кулака о холодные, влажные камни причала. Машины кошачьи глаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет.

Отец глубоко, с облегчением, вздохнул и рассмеялся сам над собой.

— Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым. Конечно, ракета.

— А что это было, пап, — спросил Майкл, — что это было?

— Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все. — Тимоти старался говорить буднично. — Что ли не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже...

— А зачем мы нашу ракету взорвали? — не унимался Майкл. — Зачем, пап?

— Так полагается по игре, дурачок! — ответил Тимоти.

— По игре?! — Майкл и Роберт очень любили это слово.

— Папа сделал так, чтобы она взорвалась, и никто не узнал, где мы сели и куда подевались! Если кто захочет нас искать, понятно?

— Ух ты, тайна!

— Собственной ракеты испугался, — признался отец маме. — Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут

появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит: если Эдвардс с женой сумеют добраться.

Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала, словно тряпичная.

— Все, конец, — сказал он маме. — Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.

— На сколько? — спросил Роберт.

— Может быть... может быть, ваши правнуки снова услышат радио, — ответил отец. Он сидел, понурившись, и детям передавалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.

Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.

Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.

Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.

— Майк, выбирай город.

— Что, папа?

— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.

— Ладно, — сказал Майкл. — А как выбирать?

— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу.

— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане, — сказал Майкл.

— Будут марсиане, — ответил отец. — Обещаю. — Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.

За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы; теперь для него как будто важнее всего на свете было поселить сыновей, чтобы им стало радостно.

Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты!» «Блеск!» «Вот это да!»

Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощеные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.

— Здесь, — дружно сказали все.

Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.

— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!

— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота?

— Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла: — Слушай.

Майкл прислушался.

— Ничего, — сказал он.

— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.

Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.

— Погоди, Майк, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!

— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.

— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.

— Мой?

— Твой, Роберта и Гимоти, ваш собственный город, на тронх.

Тимоти выпрыгнул из лодки.

— Глядите, ребята, все наше! Все-все!

Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на каникулах», и братишки должны играть.

Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.

— Берегите сестренку, — сказал папа; лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.

И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом — в мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.

— Дней через пять, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.

— Дочерьми? — повторил Тимоти. — Сколько их?

— Четыре.

— Как бы потом из-за этого неприятностей не было. — Мама медленно покачала головой.

— Девчонки. — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. — Девчонки.

— Они тоже на ракете прилетят?

— Да. Если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались.

— А откуда ты взял ракету? — шепотом спросил Тимоти; двое других мальчуганов уже убежали вперед.

— Я ее прятал. Двадцать лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, но я все время думал о Марсе...

— И о пикнике!..

— Вот-вот! Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец — я ждал до последней минуты! — то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.

— А зачем ты ее взорвал, папа?

— Чтобы мы не могли вернуться, никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут.

— Ты поэтому все время на небо глядишь?

— Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен, в этом все дело.

Прибежал обратно Майкл.

— Пап, это вправду наш город?

— Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью.

Они стояли — Король Холмов и Пригорков, Первейший из Главных, Правитель Всего Обозримого Пространства, Непогрешимые Монархи и Президенты, — пытаясь осмыслить, что это значит, владеть целым миром, и как это много — целый мир!

В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги.

На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буковки прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов.

«Государственные облигации; Коммерческая статистика 1999 года; Религиозные предрассудки, эссе; Наука о военном снабжении; Проблемы панамериканского единства; Биржевой вестник за 3 июля 1998 года; Военный сборник...»

Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь, одну за другой, и объяснял своим детям в чем дело.

— Пора вам кос-что растолковать. Наверно, я был не прав, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть.

Он уронил в огонь лист бумаги.

— Я сжигаю образ жизни — тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица Земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях, они, словно дети, чрезмерно увлеклись занятыми вещами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались: без конца придумывали все новые и новые машины — вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил... Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, — если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите...

Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги.

— Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на Земле, и идти по новому пути...

Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупички горячего пепла, который скоро развеет ветром.

Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира... Она корчилась, корежилась от жара, порх — и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.

— А теперь я покажу вам марсиан, — сказал отец. — Пойдем, вставайте. Ты тоже, Алиса.

Он взял ее за руку.

Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу.

Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока — смешливые девчонки, со своими папой и мамой.

Ночь окружила их, высыпали звезды. Но Земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься...

Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец:

— Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем... Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверно, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь, по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет сто, чтобы еще и Марс отравить. Теперь-то, конечно...

Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный, в его влажном зеркале отражалась ночь.

— Мне всегда так хотелось увидеть марсианина, — сказал Майкл. — Где же они, папа? Ты ведь обещал.

— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.

Марсиане!.. Тимоти охватила дрожь.

Марсиане. В канале. Отраженные его гладью. Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.

Долго, долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане...

*Моей жене Маргарет,
с искренней любовью*

ЗЕЛЕНОЕ УТРО





Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других: с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.

Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево, чего-чего только оно не может... Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках... Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.

Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет... Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.

Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывает над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова выбирать места, копать, сажать семена

или сажены, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче...

— Тебе нужен воздух, — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза... — Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что, и устал. Все равно что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься.

Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.

— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул. — В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!

Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»

И потерял сознание.

Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.

— Ничего, оправитесь, — сказал врач.

— А что со мной было?

— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.

— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. Я останусь здесь!

Его оставили в покое; он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух, — думал он, шумно вдыхая бесцветное ничто. — Воздух, воздух...» И на верхушках холмов, на теневых склонах, даже возле ручья — тоже ни дерева, ни травинки.

Ну конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. Деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа: бороться против того самого, что может помешать ему остаться здесь. Он объявит Марсу войну — особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва... Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья — ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве — нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения.

— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!

Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.

— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку

первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом...

— Но вы мне разрешите?

Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустые долины, оставлял машину и шел пешком, работая.

Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.

...Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.

Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью, — подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь. — Сегодня ночью».

Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.

По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.

Дождь.

Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.

Дождь.

Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча

огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода, вода...

Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.

Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда.

Бенджамен Дрисколл достал из целлофановой сумки сухую одежду, переделся, лег и, счастливый, уснул.

Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрисколла.

Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц он работал, работал и ждал... Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел.

Утро было зеленое.

Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие по ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты — подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки.

— Невероятно! — воскликнул Бенджамен Дрисколл.

Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород — свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танце.

Бенджамен Дрисколл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание.

Прежде чем он очнулся, навстречу солнцу поднялось еще пять тысяч деревьев.

СОДЕРЖАНИЕ

УЛЫБКА. Перевод Л.Жданова	7

И ГРЯНУЛ ГРОМ

Может быть, мы уже уходим. Перевод Р.Рыбкина	15
И грянул гром. Перевод Л.Жданова	18
Ветер Геттисберга. Перевод Т.Шинкарь	31
Чепушинка. Перевод Р.Рыбкина	46
Тураппосаугус Рех. Перевод Р.Рыбкина	60
Убийца. Перевод Н.Галь	74
Наказание без преступления. Перевод Я.Берлина	81
Кошки-мышки. Перевод Н.Галь	91
Лучезарный феникс. Перевод Н.Галь	106
Идеальное убийство. Перевод Р.Рыбкина	114
Жила-была старушка. Перевод Р.Облонской	122
Превращение. Перевод Н.Галь	135
Ракета. Перевод Н.Галь	157
Космонавт. Перевод Л.Жданова	167

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА

Золотые яблоки солнца. Перевод Л.Жданова	181
Нескончаемый дождь. Перевод Л.Жданова	187
Все лето в один день. Перевод Н.Галь	199
Бетономешалка. Перевод Н.Галь	205
Синяя бутылка. Перевод Р.Рыбкина	224
Разговор оплачен заранее. Перевод О.Битова	234
Земляничное окошко. Перевод Н.Галь	245
Калейдоскоп. Перевод Н.Галь	253

МАЛЬЧИК-НЕВИДИМКА

Морская раковина. Перевод Р.Рыбкина	265
В дни вечной весны. Перевод Р.Рыбкина	271
Апрельское колдовство. Перевод Л.Жданова	279
И все-таки наш... Перевод Н.Галь	288
Детская площадка. Перевод Р.Рыбкина	303
Час привидений. Перевод Р.Рыбкина	321
Мальчик-невидимка. Перевод Л.Жданова	323
Чертово колесо. Перевод Р.Рыбкина	333
Песочный человек. Перевод Р.Рыбкина	342
Вельд. Перевод Л.Жданова	351
Здравствуй и прощай. Перевод Н.Галь	364
Берег на закате. Перевод Н.Галь	372
Каникулы. Перевод Л.Жданова	381

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ. Перевод Л.Жданова	389

ЗЕЛЁНОЕ УТРО. Перевод Л.Жданова	567

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Рэй Брэдбери

УЛЫБКА

Рассказы

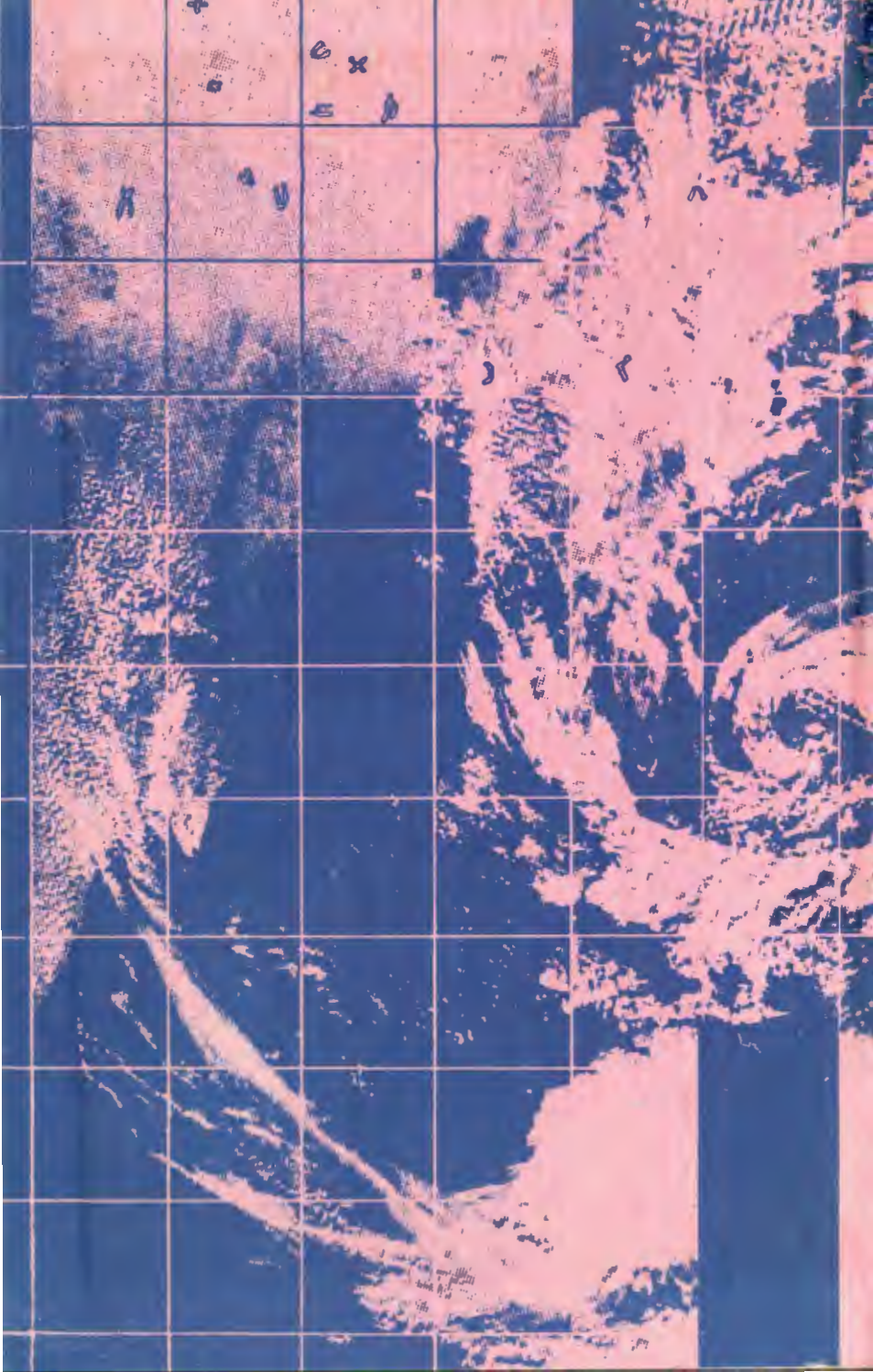
*Составитель
Евгений Александрович Лазарчук*

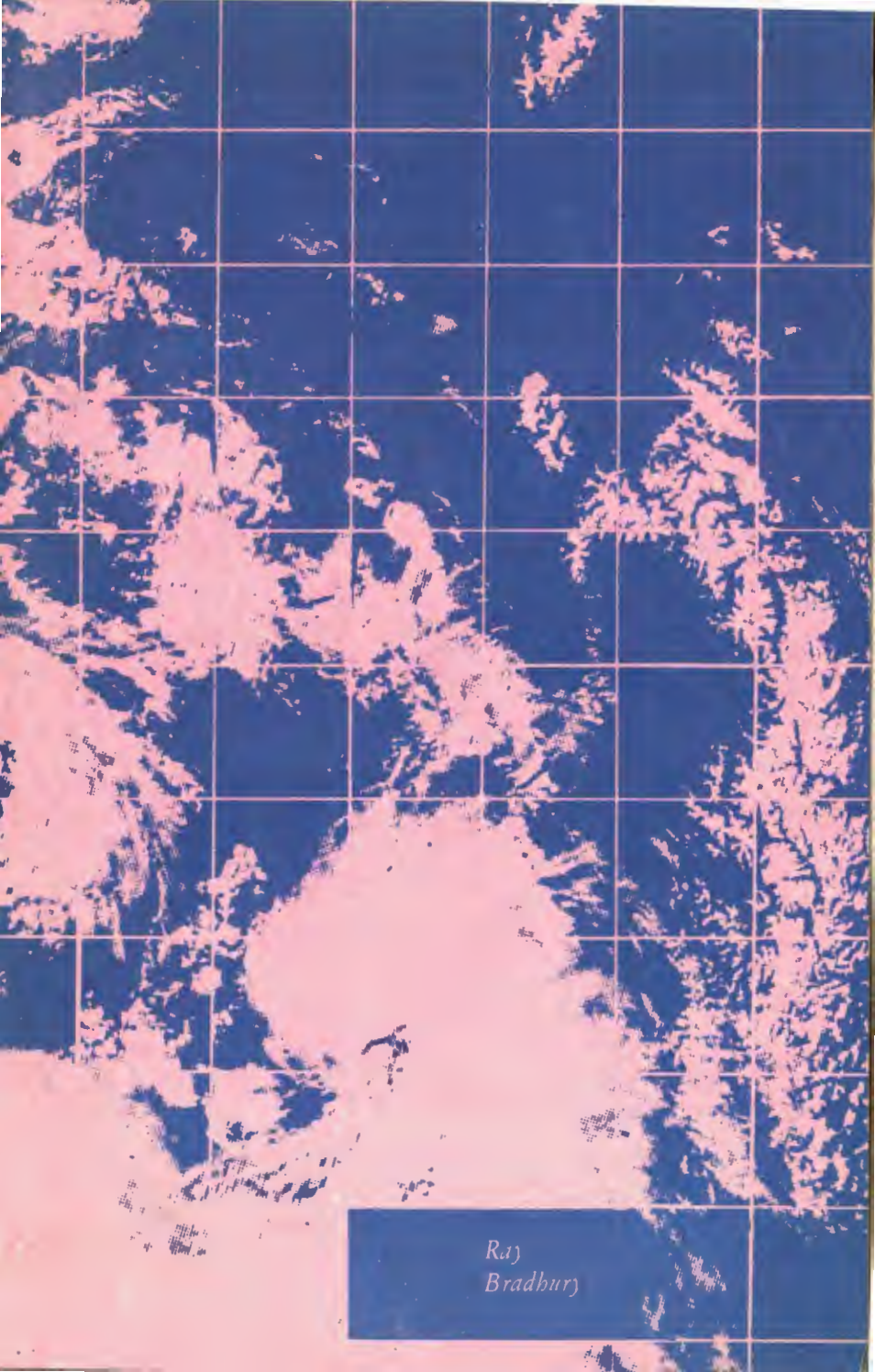
*Редактор Н.Г.Ермолина
Оформление Ю.А.Цветкова
Художественный редактор В.Н.Савин
Технический редактор А.Н.Тобух
Корректор А.И.Денисенко*

Подписано к печати 6.10.92. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл.печ.л. 30,24.
Уч.изд.л. 34,74. Усл.кр.-отт. 30,45. Тираж 100 000 экз.
Заказ 1189. «С-104»

Сибирское отделение издательства «Детская литература»
Министерства печати и массовой информации РФ.
630132, Новосибирск, Красноярская, 112.

Отпечатано с готовых диапозитивов на полиграфическом
предприятии «Современник» Министерства печати и
массовой информации РФ.
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30.





Rd
Bradbury

